

ВРЕМЯ
ИМБИ 145
1999



ЗИНОВИЙ ЗИНИК: ПИСЬМА С ТРЕТЬЕГО БЕРЕГА

ВРЕМЯ

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

И МЫ

Выходит один раз
в два месяца

ИЗДАЕТСЯ С 1975 ГОДА

145
1999

МОСКВА — НЬЮ—ЙОРК
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ»

**ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ВАГРИЧ БАХЧАНЯН	ЯСЕН ЗАСУРСКИЙ
ДМИТРИЙ БЫКОВ <i>(зам. гл. редактора)</i>	ЛЕВ НАВРОЗОВ
ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ	ВОЛЬФАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН
ДЖОН ГЛЭД	ИЛЬЯ СУСЛОВ
ВЛАДИМИР ДОБИН	МОРИС ФРИДБЕРГ
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ	ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ	ЭДУАРД ШТЕЙН
	ЕФИМ ЭТКИНД <i>(зам. гл. редактора)</i>

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ»
АДРЕС ФИЛИАЛА: 113303 МОСКВА,
УЛ. КАХОВКА, 6—26.
ТЕЛ.: (095) 318—10—46

Американское отделение журнала «Время и мы»
409 Highwood Ave, Leonia,
New Jersey 07605, USA
Тел.: (201) 592—61—55

Израильское отделение журнала «Время и мы»
Заведующий отделением Владимир Добин
Адрес отделения: Ha—avot Street 20—6,
Richon Le—Zion, 75323 ISRAEL
Tel.: 03—967—04—42

Французское отделение журнала «Время и мы»
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: Rezidence Lorilleux
Esc.U. appt 929, 15 Allee Henri Sellier,
92800 PUTEAUX, FRANCE

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА
Зиновий ЗИНИК
Письма с третьего берега.....5
Василий АГАФОНОВ
Последняя охота.....78

ПОЭЗИЯ
Товий ХАРХУР
И скучно, и грустно.....98
Ной РУДОЙ
Сжигает время корабли.....108

СОВРЕМЕННЫЙ МИР
В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
Лицемерие.....114

ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО И СВОБОДНЫЙ РЫНОК
Владимир ШЛЯПЕНТОХ
Советское прошлое и постсоветское настоящее.....134

КУЛЬТУРА И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Валентин ЛЮБАРСКИЙ
Правда хорошо, а счастье лучше.....146
Юрий ДРУЖНИКОВ
Какого роста был Пушкин,
или Александр Сергеевич по Фрейду.....164

РАССЛЕДОВАНИЕ
Игорь Ачильдиев
Трагедия Юрия Гагарина.....179

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
Виктор ПЕРЕЛЬМАН
Римские каникулы.....200
Леонид ВЛАДИМИРОВ
Жизнь номер два.....233

ПУБЛИКАЦИИ И ПЕРЕВОДЫ
Крис АДРИАН
«Тысячу лет, во всякую ночь».....269

ВЕРНИСАЖ «ВРЕМЯ И МЫ»
В. ПЕТРОВСКИЙ
Сталин и сегодня живет всех живых.....288

В издательстве «Время и мы»

принято решение преобразовать московское издание журнала «Время и мы» в московский филиал журнала, на который возложить все функции по его производству и распространению в России.



Зиновий ЗИНИК

ПИСЬМА С ТРЕТЬЕГО БЕРЕГА¹**Разбазаривание пространства**

Наша загородная резиденция — бывший средневековый амбар в поместье Филлимооров — поражает входящего прежде всего конфигурацией пространства. Меня всегда интриговали пропорции жилого помещения в отношении к размерам существа, это помещение населяющего. Например, улитка носит свой дом на спине, как эмигрант — воспоминания о своей оставленной родине. Муравей, наоборот, обратный случай: он в миллион раз меньше дома — муравейника, в котором он обитает. Слепой крот роет самые запутанные подземные ходы на свете. Птица строит гнездо, где она может лишь высидывать яйца, и при первой же возможности это гнездо покидает. Лишь человек соотносит свои пропорции с размерами своего жилья. Об этом знали древние греки и их подражатели эпохи Ренессанса.

¹ Сокращенный, журнальный вариант.

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции

© "Время и мы"

ISSN 0737—7061

«Не знаю как насчет Ренессанса», сказала моя жена Нина Петрова, «но у заурядных англичан денег мало, а при этом каждый хочет, чтобы его жилье выглядело как особняк. В результате дома состоят из одних лестниц. Дом в три этажа, но места хватает только на лестничные площадки. И еще спальни. Только и делают, что ходят по лестницам и спят».

«И еще ходят в туалет. В стандартном английском доме по меньшей мере два туалета: наверху и внизу».

«Здесь их целых три», сказала Нина.

«Не в этом ли гуманизм английского жилого помещения? По крайней мере, здесь туалет с ванной расположены рядом со спальней, в отличие от российских квартир, где сортир непременно рядом с кухней», заметил я. У русских и англичан разная логика в последовательности физиологических отправлений.

«Русские в коровниках пока не живут», сказала Нина Петрова. Название средневекового амбара Crumplehorn происходит действительно от названия бывшего коровьего стойла — у коровы, судя по всему, были кривые рога — crumplehorn — «кривой рог». Корова тут паслась в викторианскую эпоху и оставила своим потомкам эпохи холодной войны свое имя, выжженное каленым железом на перекладине стойла. Мой друг, покойный лорд Филлимор, нашел эту перекладину в крапиве у забора. Так что по-русски это место следует называть «Кривой рог». Мы живем в Криворожье. «Как этот бывший сарай-коровник ни называй, а интимности тут нет ни по-русски, ни по-английски. Тут все видно и слышно. В этом доме как на городской площади некуда пригнуться: тут ничего кроме потолка с галереями», сказала Нина.

«Зато это помещение похоже на театр», сказал я в ответ. И действительно: главный вход в дом отделен занавесом, как будто там кулисы. Слева и справа над залом перед входом — галереи: они как ложи бельэтажа. Своей театральностью помещение напоминает об эксцентричности его бывшего владельца — покойного лорда Робина: под его руководством и был возведен из

руин этот архитектурный бред. «Мы тут устроим театр. И еще это похоже на храм. Мы тут устроим ритуальные действия. Мы тут создадим целый религиозный культ». Я изо всех сил старался быть позитивным. «Мы объединим родственные души под одной крышей, под сводами нашего храма сойдутся все наши хорошие друзья, веселые соседи и добрые животные».

«Во—первых, храм этот — не наш. Не знаю как насчет друзей, но соседи, уверяю тебя, припрутся без приглашения», сказала моя жена Нина Петрова. Она у нас скептик и фаталистка. А поскольку счастливые моменты в жизни — исключение из правил, Нина в большинстве случаев оказывается правой. Соседи действительно приперлись первыми. Точнее, соседка. Не успели мы осмотреться, как за спиной раздалися шаги. Мы с Ниной обернулись. Перед нами стояла женщина. Она вошла через наши открытые двери-окна — те, что смотрят на лужайку с лошаадьми. Я подозревал, что эта соседка. Но не был уверен. А моя жена Нина Петрова никогда не уверена ни в чем. Особенно в загородной местности.

«Hola. Buenos dias», сказала соседка на каком—то латинском наречии. Потом перешла на английский, но не совсем: «Я ваша соседка. Comprendre? Yo me llamo Phinella. Hablo muy poco espanol?»

«Что за тарабарщину она несет?» спросила меня Нина по-русски. Насколько я понимаю, соседка говорила по-испански. Может быть, потому что ее зовут, как я понял, Финелла. О чем я и сказал Нине. По—русски. Потом обратился к соседке Финелле по—английски:

«А почему вы говорите с нами по—испански? Вы испанка?»

«Я думала, что вы — иностранцы», сказала соседка на чистейшем английском. Интересная логика. Даже если мы — иностранцы, почему надо автоматически делать вывод, что мы не говорим по-английски? О чем я и сказал Финелле, умолчав о том, что мы тут в Англии — двадцать с лишним лет, у нас британское гражданство и мы поклялись (на Библии, между прочим) защищать жизнь королевы и ее законных наследников.

«Все вокруг рады вам, новым владельцам этого восхитительного средневекового амбара. Welcome», и Финелла, приветствуя нас по-английски (английское слово barn — амбар — она произнесла с аристократически раскатистым и звонким «р»), уже на новых основаниях, чуть ли не сделала подобострастный книксен. Я поспешил сообщить, что мы не владельцы амбара. Мы — друзья владельцев. Владелица, моя старая подруга леди Мария — безутешная вдова лорда Робина, после смерти мужа покинула Альбион и отбыла в свои восточные земли на неопределенный срок (где она выстроила такой же амбар меньших масштабов); по условиям наследства не может ни продать этот дом, ни сдать его. Дом принадлежит поместью всего семейства Филлимо-ров. Чтобы дом не пустовал, она отдала его нам в безвозмездное и неограниченное, хотя и временное пользование. Мы присматриваем за домом. За животными — лошадьми, козой, осликом, гусями и курами — присматривает конюшенная Линда.

На остреньком личике Финеллы появилось задумчивое выражение. Она оглядела помещение придирчивым взглядом: балки, уходящие к крыше, гигантские галереи вокруг открытого пространства залы.

«И всего две маленьких спальни на такое гигантское помещение?» спросила она, как будто мы набивали цену этому жилью при продаже. Или же она прикидывала, сколько жильцов можно сюда впустить, если превратить амбар в придорожный пансион для туристов. Я промолчал. Нина тем более. «Какое разбазаривание пространства!» окинула она еще раз помещение презрительно скептическим взглядом. Так глядят на новых русских, уплетающих икру ложками.

«Но зато тут два совмещенных узла и дополнительный сортир», поспешил я сообщить ей, как бы в свое оправдание. Но упоминание сортира соседка Финелла посчитала, видимо, оскорбительным и молча удалилась. Нина была в бешенстве:

«Зачем ты ей сказал?» сказала она. Я в начале даже не понял, что она имеет в виду. «Зачем ты ей сообщил,

на каких основаниях мы здесь? Тебя никто не тянул за язык».

«Меня никто не предупреждал, что это — большой секрет. И что в этом страшного?»

«Теперь они будут считать нас какими-то скватерами, незаконными жильцами, нелегальными иммигрантами».

«Я гражданин этой страны. Я аккуратно плачу все налоги», сказал я.

«Не зли меня. Ты понимаешь, что я имею в виду. Мы больше не сможем приезжать сюда инкогнито. Мы раскрыты. Разоблачены. Теперь каждая собака знает, кто мы такие».

К вечеру у соседей действительно завyla собака. Мы тогда не знали, что дело не в нас: соседская собака воеет всякий раз, когда хозяина Питера — мужа Финеллы — нету дома.

О клевере

Как бы то ни было, а мне удалось—таки, в конце концов, оставить отпечаток своего присутствия на Альбионе. Довольно—таки большой отпечаток. Еще год назад площадка перед домом была сплошь покрыта гравием (или щебенкой), как и полагалось в оригинале для средневекового деревенского амбара. Куры и гуси свободно гуляли и гадили где попало. Сплошная помойка, короче. Но мы с Ниной Петровой насыпали земли, разбросали семян, поливали, подстригали (чем больше стрижешь, тем лучше растет), и теперь тут зеленеет газон. Газон утвердился бы еще быстрее, но помешала засуха. И, конечно, сорняки. Мята, например. Мята начинает расти маленькими кустиками, не успеешь оглянуться, а она уже распространилась по всему газону, причем корни уходят вглубь и вширь. Забивают нежную английскую молодую травку. В распространении мяты есть нечто эмигрантско-иудейское. Внутренняя чуждость мяты английскому газону не оставляет никаких сомнений. Гораздо труднее распознать врага в тузем-

ном представителе английской флоры — клевере. Клевер — такой ностальгический, казалось бы, ну прямо отрада для глаз; но и он захватывает территорию у зеленой травки, а сам к осени жухнет и оставляет гигантские желтые проплешины.

Вообще, у меня развилось, в связи с выращиванием газона, новое отношение к сорнякам. Я теперь даже на дерево гляжу как на своего рода большой сорняк. Клевер — сорняк маленький. Вот и вся разница. Все это и многое другое я извлек из книги по садоводству. Но, как оказалось, про вредные свойства клевера надо было читать в совершенно другой книге. Глаза мне открыла мать покойного лорда Робина, леди Анн Филлимор. Ей восемьдесят с лишним лет, но ее уму и проницательности остается лишь завидовать нам, пятидесятилетним подросткам. Она пригласила меня на днях на ланч в главный особняк Копит Холл (не от русского «копоть», а от английского «сорисе» — лесок). Она сказала мне по телефону: прочла только что русский роман. Мечтает его со мной обсудить. Я был в восторге. Какой роман? «Анна Каренина». Чудно.

Шагая по тенистым аллеям к особняку Филлиморов, я пытался вспомнить что-нибудь полезное и любопытное для леди Анн про Анну Каренину. Например, в самом начале романа мы слышим из кабинета Стивы Облонского, как его детишки играют в паровоз. Дети и паровоз — вы понимаете? Это в свете-то паровозного будущего Анны! Но самое любопытное: дети болтают друг с другом — по-английски! Короче, у меня накопилось много чего интригующего про эту классику русской литературы. Мы уселись (у меня виски, у леди Анн — водка с мартини) у открытого окна с видом на поля и дубы, и после первого вежливого обмена репликами о погоде она спросила, нравится ли мне роман графа Лео Толстого? Я начал было про паровоз и английский язык у дворянский детей, но леди Анн прямо перешла к делу: «Ведь главное», сказала она, «роман Толстого — это сельское хозяйство».

Я чуть не уронил свой стакан с виски. «Мне отмщение

и аз воздам», повторял я про себя толстовский эпиграф к роману. Я думал, это про семейный долг и страсть. Ну, в крайнем случае, про железнодорожный транспорт. Но сельское хозяйство?! Но если вдуматься, Лев Николаевич, наверное, с леди Анн согласился бы. Весь ланч прошел в обсуждении ностальгических, для Анн Филлимор, описаний сельскохозяйственных работ в поместье у Левина, и, в частности, клеверных полей. В Англии больше не засаживают поля клевером. «А жаль», вздохнула леди Анн. Но я, вспомнив о своем газоне, был на этот счет иного мнения.

Вернувшись в «Кривой рог», я первым делом заглянул в «Анну Каренину» из своей русской библиотеки: «Трех лучших телок окормили, потому что без водопоя выпустили на клеверную отаву, и никак не хотели верить, что их раздуло клевером», писал Лев Николаевич. Вот что надо было заучивать наизусть — а мы что вычитывали из этого романа в школе? Какой зловещий, оказывается, клевер. Мало того, что своей сорняковой сущностью забивает молодую траву на моем газоне. Этот клевер может за один заход трех телок укукошить. Этот клевер, очевидно, и повинен в смерти исторической коровы Кривой Рог: ведь в викторианскую эпоху никакой эпидемии бешеной говядины не наблюдалось? Значит, клевер виноват.

О помете

Кризис духовных традиций приводит к разгулу административного рвення. По радио сказали, что лондонские власти собираются очистить Трафальгарскую площадь от голубей. Это место, где туристы фотографируются, чтобы доказать, вернувшись на родину, что они были в Лондоне. Площадь, собственно, чистят каждое утро: выгребают десятки тонн голубиного помета. Особенно страдает адмирал Нельсон на колонне посреди площади: у голубей нет никакого уважения к героическому прошлому Англии. Некоторые вообще считают, что адмирал на колонне одноглаз, потому что это голуби

ему глаз выклевали — в отместку за поражение наполеоновских флотилий, нанесенное фрегатами адмирала Нельсона. Кто оторвал Нельсону руку — неясно, но то, что голубь — французская птица, это факт. Это ведь французы придумали считать голубя символом мира. Очень французская идея: голуби, как известно, — рассадники всяких эпидемий. То, что для одних — символ, для других — чума.

С точки зрения человека, выращивающего газон, самый страшный зверь — курица (курица, напоминая, не птица). Раньше у меня было сентиментальное отношение к курицам. Я находил трогательным их вечную озабоченность, суетливое оглядывание по сторонам, а главное, их манеру окапываться в пыли. И, конечно же, постоянно выискивать что-то в земле. Очень похоже на привычку заслуженных писак, вроде меня, копать в старых бумажках, перебирать клочки и словесный мусор. Но то, что для словесного творчества — умилительная рутина, для газона — смерть. В нашей загородной резиденции «Кривой Рог» куры первым делом выбирают на едва засеянный газон и начинают выклевывать семена, и своими цепкими лапками разрушать едва оформившийся травяной покров. Так и хочется свернуть им головы.

У меня вообще изменилось отношение к птицам. Я даже стал понимать антисемитов: если для английских противников европейского сообщества голубь — существо французское, то в курицах есть что-то еврейское. Недаром курица — украшение еврейского стола. Вообще люди отчасти похожи на местных домашних животных. Например, валлийцы похожи на овец. Лошадники — ирландцы — на лошадей. Англичане, поедатели говядины, — на коров. Я знал одного исландского поэта: он был на вид копия соленой камбалы. На кого похожи русские? На медведей? Мне скажут, что это вздорная гипотеза. Действительно, на ферме моей подруги леди Марии Филлимор в ее восточных землях водятся куры загадочной породы: у них ноги покрыты черными перьями вплоть до лап, так что они похожи на сицилийских мужиков в

черных брюках. А павлины у нее кричат, как девицы в романах маркиза де Сада.

Не знаю, к какой национальности приписать гусей. Хотя они и спасли Рим, не могу причислить их к древнеримской национальности: римляне придумали канализацию, в то время как с гусями у меня та же проблема, что и у колонны Нельсона с французскими голубями. Гуси гадят на газон с какой-то неутомимой продуктивностью. Я хотел огородить газон проволочной сеткой, но моя жена Нина Петрова сказала, что не хочет жить как в концентрационном лагере. За свободу надо расплачиваться: как только уезжаешь на пару дней в Лондон из «Кривого Рога», площадку перед входом в дом надо потом расчищать от гусяного помета лопатой. Нина говорит, что я должен утешаться огромным количеством высококачественных гусиных перьев, разбросанных по газону: на случай, если сломается мой словесный процессор.

Где кто пишет

По совету своей жены Нины Петровой я стал собирать гусиные перья. Но писать гусиным пером я так и не научился. В наше время, впрочем, важно не чем писать, а где. Недавно в «Кривой рог» приезжал продюсер из Би-би-си брать у меня, знаменитого англо-русского новеллиста, интервью для цикла «Место писателя». Имеется в виду — рабочее место. Я тут же сказал: оно, рабочее место, у меня заднее. В задней комнате то есть. С видом на стену. Я пишу эти заметки, глядя в стену. Стен в «Кривом Роге» маловато. Амбарные ворота превратились в огромные стеклянные двери с видом на лужайку с дубом посередине и с лошадьми. Шедевр реставрационного подхода в архитектуре. Но избыток пространства заставляет слоняться туда-сюда. Негде приткнуться за исключением закутка, изначально задуманного как фотолаборатория леди Марии. Леди Мария перестала увлекаться фотографией, а закуток остался. Я там и пишу. Глядя

в стену. Покойный лорд Робин, знаток английской поэзии, вообще удалялся во флигель-сарайчик на курьих ножках — от мышей: там в средние века держали зерно. Робин писал там свои поэтические трактаты. Их сейчас едят мыши.

Человек из Би-би-си не мог понять: почему я не сижу перед гигантским окном с видом на лужайку, где резвятся лошади? Именно потому, что там резвятся лошади. Это так прекрасно и так завораживает, что умственно оболванивает. Большой мастер слова Сомерсет Моэм владел одной из самых шикарных вилл Лазурного берега, но писал он в комнате, где окно глядело в боковую стену. Из крупных имен двадцатого столетия лишь Вирджиния Вулф, пожалуй, знаменита изысканным видом из окна своего писательского кабинета. Она много писала о своей комнате. С видом на сад и на море. И в конце концов в этом море, между прочим, и утопилась. Она была слабой писательницей. И вообще ландшафт всегда сильнее интеллекта, его созерцающего.

Избыток пространства, солнца и воздуха хорош для жизни, а не для творчества. Об этом знал Марсель Пруст. У него было на этот счет медицинское оправдание: астма и аллергия. Ему, мол, нужна полная изоляция. Он, как известно, даже обил стены своей комнаты пробкой для полной звуконепроницаемости. Эта обивка, как указывает нам знаток Пруста Алекс де Йонг, изготовлена из коры дерева. По-русски этот материал называется луб. Поскольку вся комната Пруста была обита лубом, она превратилась в лубяной коробок, то есть в Лубянку. Марсель Пруст превратил свое «место писателя» в Лубянку.

Это лишний раз подтверждает мысль о том, что без тюрьмы настоящего творчества не бывает. Кризис последних лет в русской литературе — лишнее тому подтверждение. Причины: отсутствие у писателей страха перед тюремным заключением и улучшение жилищных условий в целом. Если писатель не способен выстроить свою собственную тюрьму (эстеты называют ее

башней из слоновой кости), необходимо соседство какого-нибудь исторически значительного тюремного помещения. Я долго не мог понять, почему Набоков поселился в отеле в нелепом местечке Монтре на Женевском озере. Номер отеля (где соблюдался тюремный режим) еще можно воспринимать как символ эмигрантской незакрепленности вечного туриста в этом подлунном мире. Но почему Монтре? Пока не увидел странную кургузую башню недалеко от берега. И оказалось: это и есть замок Шильон, чей узник был воспет Байроном в переводе Жуковского. Ну как тут не поселиться пушкинovedу?

Что же касается тюремных потенциалов «Кривого рога», то я уже упоминал о соседстве Редингской тюрьмы. Тут Оскар Уайльд сочинил свои лучшие стихи о том, что мы убиваем именно тех, кого больше всего любим. Я не сравниваю свою судьбу с уайльдовской, но замечу, что в Рединге он сидел в камере № 33. Эта цифра для меня магическая, потому что идентична с инициалами моего имени: 3.3. Мой первый адрес вне России был: Рабинович—стрит, дом 33. А познакомился я с лордом Робинном в 1976 году, когда он жил с нами по соседству в Лондоне в доме № 33. Этот, по определению советского страноведческого словаря «богемно—фешенебельный», район Хэмстед (мы с моей женой Ниной Петровой произносим это название как «Хамстыд» — тут наша нынешняя лондонская резиденция) настолько космополитический, настолько я с ним сросся, что давно уже в уме называю его Москвой. А это, опять же, вредно для моего творчества. Ведь эмиграция для меня — литературный прием: без некоторого отчуждения от происходящего я не могу сочинять. Дом — не место для работы. Никакого «своего места» нет: его надо все время придумывать. Оно не должно одомашниваться. Если в твоей жизни нет тюрьмы, нужны посох и сума. И я уезжаю периодически в «Кривой рог», дом покойного Робина, как за границу. Через цифру-инициалы 33 моя лондонская эмигрантская судьба связалась с камерой английской тюрьмы.

Удостоверение личности

Наивные люди тащатся в сельскую местность в поисках уединения и покоя, когда ты один на один с природой, без докучливых посредников — собратьев по роду человеческому. Эти люди не понимают, что в городе можно скрыться, просто поселившись за углом на соседней улице. Сколько ни повторяй цитату из Джона Дона насчет людей и островов², все мы тут на Альбионе — островитяне, и отделены друг от друга Ламаншами приватности. Собственно, стивенсоновская легенда о мистере Джекиле и докторе Хайде тоже могла возникнуть лишь на британских островах, где нет паспортной системы — я имею в виду удостоверения личности. Тут вместо этого пользуются водительскими правами или кредитной карточкой. Но если ты обходишься и без машины, и без банка, то, будь ты кто угодно, даже принц Уэльский, можешь назвать себя хоть Зиновием Зиником и жить при этом неплохо, хотя и в полной неизвестности.

Вся эта сладкая жизнь, вся эта, как говорили в Москве 60-х годов, лафа (от английского слова «лайф», то есть жизнь) скоро закончится вместе с окончательной победой Европейского Союза во всем мире. Мало кто отдает себе отчет в том, что все остальные страны Союза — от Франции до Германии, кроме Англии, обязывают своих граждан носить при себе это самое удостоверение личности и при перемене адреса регистрироваться в полиции. И этот полицейский режим пытаются навязать нам, свободным альбионцам. Но энтузиастов европейского сообщества ничем не смудишь: они думают, что без монархии с палатой лордов у нас будет больше свободы и политической корректности. Они не понимают, что усложненная бюрократия и запутанная иерархия позволяет больше ходов и выходов, то есть свободы от тирании, чем народная демократия, равенство и братство. Точно так же они наивно полагают, что среди полей и рек они обретут покой и волю, не понимая, что в **грязных шумных городах с лабиринтом улочек больше а**

² «No man is an island» John Donne

возможностей для уединения, чем среди широкого поля с дубом посреди.

В нашей загородной резиденции на хуторе «Кривой Рог» и шагу не ступишь незамеченным. Гигантский средневековый амбар резонирует с каждым твоим шагом. А в полях звук распространяется беспрепятственно. Стоит звякнуть чайной чашкой, включить радио или даже открыть дверь платяного шкафа в спальне — все это тут же отзывается: криком всполошившихся гусей, шорохом птиц, кукареканьем, блеяньем козы или беспокойным окликом нашей лошадилицы Линды из конюшен. Если даже тебя не слышно, тебя видно — вся твоя жизнь просвечивается в гигантских окнах и стеклянных дверях: о хождении голышом, как это полагается у поклонников Жан Жака Руссо, и думать не приходится. Тем более, при виде меня в голом виде лошади начнут тут же бить копытами и разнесут конюшни в пух и прах. Собственно, жизнь в средневековом амбаре, реставрированном по всем законам модернизма, ничем не отличается от жизни под дубом посреди пустого поля: все простреливается насквозь, каждый дюйм твоей интимной экзистенции.

Я знаю, что когда я утром выхожу, чтобы ради развлечения сорвать одну—две фиги со смоквицы у каменного забора, сосед Питер выглядывает из окна спальни на втором этаже своего особняка: он следит, когда же я наконец начну стричь газон — нестриженный газон портит вид, когда сворачиваешь с дороги к нашему хутору. Я знаю, что когда я иду к пабу через поле, чтобы выпить там в уединении кружку эля, за мной наблюдает тракторист Дэвид (муж нашей лошадилицы Линды), распыляющий пестициды. Я знаю, что в пустом пабе (около пяти вечера тут никого нет), где я сижу, уютно устроившись в углу с газетой, каждый мой жест и количество выпитого берется на заметку, и завтра утром конюшенная Линда непременно спросит меня, как мне понравилась жареная рыба с картошкой. И даже в соседнем леске, где мы бродим иногда, обирая дикую ежевику, с моей женой Ниной Петровой, за каждым твоим шагом следит

местный егерь: в этом подлеске разводят фазанов, и егерь торчит тут целые сутки, оберегая их от лисиц и браконьеров. С точки зрения егеря мы тут — не лучше браконьеров. Один ложный шаг с нашей стороны, и он разрядит двустволку.

Я знаю, что вы скажете. Вы скажете, что это — не дикая природа, а просто-напросто загородная местность, что-то вроде дачных участков в Кратово: тут забор, там забор, некуда деваться. В двух шагах — мрачный Рединг, где отбывал тюремный срок Оскар Уайльд (за свои «двуствольные» наклонности). Мол, уж если бежать от городской клоаки, то прямо как отцы-пустынники. Но отцам-пустынникам был знаком парадокс человека наедине с природой. Вокруг никого нет, кроме тебя самого. То есть, ты и есть — все человечество. А значит, за тобой наблюдает все человечество — в твоём собственном лице. А если ты не атеист, то дело обстоит еще хуже: за тобой наблюдают еще и сверху. И все при этом записывают. Можно, конечно, сомневаться в существовании Бога. Но сомневаться в существовании самого себя невозможно: само твое сомнение доказывает, что ты существуешь. А если сомневаешься даже в том, что сомневаешься, можешь себя ущипнуть за нос. От себя некуда, короче говоря, деться: ни в городе, ни в деревне.

Московский гость

В спорах вокруг английских купат на гриле посреди свежесозданного газона наша приятельница из Москвы не поняла ни слова. Общение с гостями из России всегда травматично. Особенно когда гость не русский, а иностранец, вроде нашей подруги Клио, проживающей уже который год в России. «Ну здарсьте—пожалуйста!» сказала она, переступив порог. (Она хотела сказать: «Ну вот и я!») Ее прадеды пересекали рубежи, строя британскую империю. То, что было для них бременем белого человека, в наши дни называется якобы культурным обменом. По-моему, Россия для иностран-

ца — это не культурный обмен, а эпидемическое заболевание. Одурев от скуки и разобщенности у себя где-нибудь в Рединге (см. «Балладу Редингской тюрьмы» Оскара Уайльда), иностранец отправляется в Россию, как в детстве в цирк, а заканчивает психиатрической больницей. Год в России — это как прививка: закаляет организм. Два года — это заразная болезнь. Три года — это смертельный случай: наступают необратимые изменения в организме, и прежний милый приятель—англичанин перестает существовать. Вместо ироничного и эксцентричного позитивиста (или позитивистки) перед вами возникает эгоцентричный демагог: хлещет водку, изъясняется исключительно монологами—идеологемами и с ражем рассуждает про какого-нибудь Собчака с таким же фанатизмом, с каким Поприщин рассуждал о собаках. Главное, он уверен, что все на свете знают, кто такой Собчак. Его английский собеседник обычно не слишком уверен, Пастернак ли написал роман «Доктор Живаго», или же это доктор Живаго написал роман «Солженицын».

Для меня с моей женой Ниной Петровой подобные визиты вдвойне травматичны. Ты прожил в России тридцать драматических годин, в состоянии подвижнического отчаяния эмигрировал, еще двадцать лет героически приучал себя к другой жизни вне России, а тут тебе три часа без перерыва долдонят о том, что вне России жизни вообще нет: там из ихнего окна площадь Красная видна. А из нашего окошка зато виден дуб, уже зеленый, под голубым небом с белыми облаками, и гнедая Мэри флиртует с осликом Нэдди, а Руфус с Демьяном как будто для них организовали на лужайке с гусями кордебалет. Взгляни, Клио, какая неподражаемая красота, какой созидательный покой разлит вокруг! Но Клио не глядит в окно. Она рассуждает про Собчака или про Лебеда. Почему не про наших гусей и фазанов? Получается, все наши усилия тут — коту под хвост. Кому такое, интересно, понравится?

Но еще хуже, когда иностранец свободно говорит по-русски. Три часа он будет тебе, коренному москвичу

родом из Марьиной Рощи, объяснять, что Новый Арбат это и есть Калининский проспект. Когда же ты пытаешься намекнуть ему ненавязчиво, что курятник — это не курительный вагон, он дает тебе понять, что ты за годы тягостной разлуки с родиной подзабыл русский язык.

В таких случаях я предпринимаю жестокие карательные меры. Дело в том, что иностранец свободно понимает чужую речь, если она обращена именно к нему, на него. (Прошло лет десять прежде чем я, скажем, стал фиксировать случайный разговор соседей по лондонскому автобусу.) Я начинаю изъясняться скороговоркой, слегка иронично, скатываясь на интонацию, как сейчас говорят, стёба. У приятеля-иностранца в глазах начинается паника. Он перестает понимать вообще. Потому что на всякого иностранца, знающего русский язык, найдется такой русский человек, которого не только иностранец, но даже соотечественник никогда не поймет.

И все же, если ты свободно говоришь на иностранном языке, некоторые люди с готовностью принимают тебя за своего. Пока не узнают, что ты иностранец. Тогда с тобой начинают говорить как с психически неполноценным: выкрикивают тебе в ухо громким голосом набор слов без падежей. Такие люди не могут поверить, что чужак—иностранец может понять их язык в принципе, поскольку сами они уже давно не могут понять собственной супруги.

У подобной реакции есть свои плюсы. Например, однажды, во время первого Международного фестиваля молодежи в Москве пятьдесят седьмого (если не ошибаюсь) года, в мою родную Марьину Рощу забрел негр. Он стоял на углу Октябрьской улицы и Институтского переулка. Он заблудился. Он выглядел ужасно несчастным и подошел к газировщице на углу. До него негров в Марьиной Роще в жизни не видали. Собралась толпа. Каждый брал его за пуговицу и кричал ему в ухо что-то про светлое будущее и братство народов. Газировщица решила продемонстрировать негру преимущество социалистического мира над капиталистическим—

ким и дала ему стакан газировки с вишневым сиропом бесплатно. Я тоже потянулся за стаканом. После публичных лозунгов о светлом будущем и братстве народов газировщице отступить было некуда. Так я получил первый в своей жизни бесплатный стакан газировки.

Школа верховой езды

В прошлую субботу наша конюшенная Линда наряжала лошадь Ольгу на праздничное шоу. Это кропотливая и сложная работа, Линде помогала в этом вся конюшня. Так наряжали невесту в прошлом веке: корсеты, букли, кринолины. Грива кобылы Ольги была расчесана на отдельные хвостики, эти хвостики заплетены в косички, а потом эти косички забраны вверх и затянуты в одну узорную фигурную линию — барельефом от челки до крупа, как выпуклая кромка на фигурном батоне хлеба. На ноги и на копыта были натянуты изящные гетры, как будто это были чулки до колен на сильных женских ногах, и лошадиные бока стали похожи на тугие женские бедра. Ее хвост расчесывали больше часа, а потом завернули с цветной ленточкой в пучок: так викторианские дамы затягивали волосы на голове. Я стоял несколько в стороне, сзади, и вдруг увидел, что этот затянутый пучок хвоста превратил впечатляющий зад Ольги в голову: это был человеческий зад вместо лица с женской прической. В этом была гипнотизирующая эротическая амбивалентность.

Этот лошадиный зад стал еще более соблазнительным и двусмысленным, когда на Ольгу уселась наездница Таша. В натянутых рейтузах наездницы ее зад повторял контуры лошадиного зада. Повтор в природе вообще прекрасен — как рифма в поэзии: указывает на будущие связи с неизвестным. В кентавре — продолжение животной породы в человеческую. Ягодицы девицы повторяются ягодицами коня и наоборот, невозможно сказать, кем больше восхищаешься — девицей или конем? Это их слияние. Выделили ли вы, как сливаются в повторном движении зад наездника и гарцующей лошади—

ди — в одно тело, повторенное дважды: не это ли оргазм, завершение любовного акта? Не так ли выглядят любовники, скачущие друг на друге, изображая кентавра?

С этого момента, когда мне открылась эротическая сущность верховой езды, я стал по другому смотреть на наездниц из лошадиной школы Линды. Я знал, что дурно испытывать похоть в отношении тех, кто совершенно невинно занимается любимым спортом. Впрочем, насколько невинны для женщины поездки на удобном седле велосипеда в обтягивающих рейтузах? Например, дочь Питера, Тина. Тина — полная противоположность Таше: в ней — подростковая изможденность девушки из буржуазной семьи, но темные кельтские глаза горят ярче, чем мощный ручной фонарь самого Питера, выгуливающего в ночи свою собаку. Поскольку у Питера сложные отношения с Линдой, Тина на лошадях не катается. Вместо этого она с рвением объезжает многочисленные велосипеды из гаража—стойла Питера. Что ни день, то новое седло. И новые рейтузы. И я понял, насколько идея велосипеда — это механическое воплощение идеи лошади, с задними и передними колесами вместо лошадиных ног.

Но самое поразительное, я перестал воспринимать внешность наездниц вне зависимости от лошади. Меня стали возбуждать лишь те, кто хорошо смотрится верхом. Я понимаю, почему я другим взглядом стал смотреть на Линду или Ташу: они всегда вызывали у меня теплые чувства. Но и другие наездницы стали смотреться по-другому. Возможностей для сравнений тут навалом: кроме семейства Питера, школу верховой езды нашей Линды посещает вся округа. Но кто бы мог подумать, что я стал обращать похотливый взор и на Финеллу, супругу занудного соседа? Ее постное дебелое лицо, если и мелькало у меня в памяти, то вызывало лишь образ стиранного белья на веревке ее тонкой шеи. Но вот я увидел ее покачивающейся на крупе лошади и вдруг осознал, как много таится в этих цепких ногах, дугой обхвативших круп коня. Мне захотелось быть этим

конем, на котором она гарцевала. Или шла трусцой. Или неслась галопом. Ее рот был приоткрыт, и когда наши взгляды встретились, она смущенно отвернулась и, хлестнув лошадь, ускакала в темную аллею.

Вспоминая эту мимолетную встречу, я понял, что на коне сидела не она, супруга занудного продавца компьютеров: на коне сидела наездница — иной потайной жизни. Это был ее двойник, ее подпольная сущность. И она — не единственная в этой метаморфозе, связанной с домашними животными. Стоит какому—нибудь невзрачному существу неопределенного пола сесть на лошадь, погладить собаку или начать доить корову — и человек преобразается: в нем проявляется тяжеловатая мощь эротики. Раскрываются иные стороны души. Недаром любимых женщин называют кличками любимых животных: лошадка моя, киска, овечка. Или коровушка. Я даже не вижу ничего предосудительного в свинье: поросенок ты мой. Любимые женщины вообще похожи на животных в своем роде: у одних овечья наивность в глазах, у других коровья тяжеловатость вымени, а у третьих — кошачья изворотливость в позах. Да и мужчины тоже в общем-то различаются по этому бестиальному признаку: одного называют львом, другой в глазах любимого существа — гарцующий конь, а третьего называют старым козлом. Или ослом. Или крысой. Все мы, короче, нуждаемся в компании иной породы, чтобы выявить свои скрытые природные качества.

Вобла и террор

Были ли вы когда-нибудь свидетелем того, как при скоплении респектабельной публики раздирают на части засохший труп животного и при этом запах трупной гнили распространяется на всю окрестность? Значит вы не присутствовали при поедании русской воблы на английской лужайке. У каждого народа есть такой продукт в меню, вроде воблы: некая кулинарная дрянь — публично все над этим продуктом питания издеваются, но периодически каждый тайком, с ностальгической

дрожью и жадностью, этот продукт пожирает. Все телесные наслаждения в жизни, не исключая желудочных утех, связаны с некой грязнотой и неприличием. Мы все помним историю о том, как англичанин вез французский сыр в набитом битком поезде, и как его купе постепенно освобождалось из-за соответствующего запаха этого изысканного продукта. Но у всякого подобного деликатеса — вроде рокфора, с тухлецей и червячком, — всегда есть его близнец-двойник, рожденный обычно в годы испытаний. Английские дети военных лет никогда не видели настоящего банана, а когда увидели, не знали, что его надо чистить, а очистив и попробовав, все-таки предпочитали привычную «замазку» детских лет — из муки с добавлением искусственного сиропа с банановым экстрактом. Привычная фикция гораздо милей самой соблазнительной экзотики в натуре. Идея важнее ее реального воплощения. Потребление подобных продуктов — это причащение к героике прошлого, когда англичане, скажем, с тайным садизмом стойков перепыхали все лондонские парки с отманикюренными газонами и лужайками (включая Гайд-парк) под картофельные поля, и все одной семьей, за одним столом, у одного костра, под коллективное пение делили краюху хлеба с кружкой эля.

«Мы будем бить Гитлера, пока у нас не кончатся пули», говорил Черчилль в своем обращении к британскому народу. «А когда у нас кончатся пули, мы будем бить нацистов пивными бутылками». В этой речи как-то автоматически подразумевается, что у британцев в критической ситуации могут кончиться пули, но не пиво. Пивом нередко запивают сэндвичи, и с эпохи Второй мировой хлеб часто намазывали тогдашним кулинарным изобретением под названием «spam», солоноватым на вкус — нечто вроде колбасного фарша промышленного производства, куда через мясорубку загонялось все, от кишок до свиных копыт. Этот ностальгический продукт, как и все подобные изыски эпохи тотального дефицита, можно употреблять не обязательно с кулинарными целями: этот самый «спам» засыхает и тверде-

ет не хуже цемента, так что его можно использовать в строительном деле. (Как, например, осадок в бутылке неизвестного портвейна «Солнцедар» брежневской эпохи можно было использовать в качестве столярного клея.)

Русский человек к пиву предпочитает воблу. Русской воблой можно не только топить печь в случае дефицита дров, но и использовать ее в качестве теплоизоляции, законопатить, скажем, щели в избе. Об этом я давно догадывался. Знал я и то, что вобла — это находка для шпиона; точнее — против шпиона. Потому что иностранец может идеально походить на русского человека во всем — в речи, в манерах, во внешности. В ЦРУ готовят в этом смысле прекрасные кадры, особенно по части сибирских мужиков. Иногда, конечно, бывают накладки, вроде по-волжски окающего негра в телогрейке. Но это — исключения, подтверждающие правило. Однако, предложите такому вот идеальному русскому мужичку выпить пива, разделав при этом воблу. Маска шпиона будет сорвана в два счета: иностранец разделать и съесть воблу просто не в состоянии. Соленая вяленая рыба есть и у итальянцев, и у датчан, и у китайцев. Но все они пользуются ею в размоченном виде, в качестве добавки к рыбному супу. И только русские пожирают воблу всухую, так сказать, под пиво.

Об этом я тоже догадывался. Но я не знал, что у воблы есть еще одно стратегическое назначение — в качестве оружия массового уничтожения. Это открытие имело место во время самого мирного из общественных мероприятий — королевской регаты в городке Хенли на реке Темзе. Тут проплывали в одной лодке не только трое незабвенных друзей (не считая собаки) из комического романа Джерома. Во время регаты тут проплывают много друзей и не в одной только лодке: тут проплывают байдарки, каноэ, боты и разные другие весельные суда. На мосту и по берегам реки приветствует их разодетая толпа — мужчины в разноцветных полосатых пиджаках и соломенных котелках — с бока-

лами шампанского, клубникой и корзинками с семейным пикником. Это — одно из главных светских мероприятий года в Англии, и сюда собираются со всей страны. Были тут и мы со своим пикником. Наш пикник состоял собственно из пива с воблой. Ее прислали по случаю нарочным из Москвы. Четыре воблы, завернутые в газету «Известия». Мы долго бродили вдоль берега, выбирая местечко поукромнее. Нашли наконец кусты, но при этом с видом на реку. Устроились, разложили газету, открыли по бутылке пива. Приступили к разделке воблы.

Когда перед моим глазами, прямо в бреши меж кустов, возникло лицо капитана команды гребцов узкой длинной многовесельной лодки, моя жена Нина Петрова умело раздирала воблу на две половины. Серебром отливали широкие клочья чешуи, хребет светился в лучах солнца тусклым янтарным отблеском, аромат вяленой рыбы наполнял знойный воздух и щекотал мои ноздри, дразнил пересохшее небо, и я сделал большой глоток пива перед тем, как вгрызться зубами в воблину голову, отрывая холку, отдирая жабры. Я урчал, с наслаждением обсасывая и выплевывая всю подноготную лаковых кусочков.

Нетрудно вообразить, что представилось взору этого самого лидера английских гребцов. И что уловил его нос. Я упоминал уже образ разодранного на части гниющего трупа. Я могу лишь сказать, что его лицо напугало меня. Он застыл, как парализованный, на корме: его рука была вздернута вверх, все еще отмахивая ритм вздымающихся весел, но выпученные глаза уже остекленели. Рот был тоже открыт от изумления. Следуя его обезумевшему взгляду, в нашу сторону повернулся кое-кто из гребцов. Их весла застопорились в воздухе, столкнулись с веслами других, и через мгновение, с паническим воплем, вся команда посыпалась в воду, а их многовесельное судно опрокинулось вверх дном, перегородив водные пути всем тем, кто следовал за ними — всем байдаркам, каноэ, ботам и т.д. Слышались крики, треск и гам, всплески, ругань. Мы быстро свер-

нули газету с остатками воблы и тихонько ретировались.

Надеюсь, никто не утонул. Сообщений в газетах на этот счет не последовало. Так или иначе, королевская регата в тот день была сорвана. «По мистическим» (согласно очевидцам) обстоятельствам. Но мы-то знаем: благодаря вобле. Можно представить себе, что начнется, если начать разделять воблу, скажем, на тротуаре главной торговой улице Лондона, Оксфорд-стрит, где автомобили едва умудряются маневрировать между автобусами, а пешеходы — между автомобилями. Или, еще лучше, начать чистить воблу на взлетной площадке британского аэропорта. Вобла, короче, вполне может заменить по своей эффективности бомбу террориста. Надо поговорить с ирландцами.

Звуки за стеной

Территория нашего амбара просматривается и простреливается (если только не спрятаться за дубом) насквозь, как Манежная площадь; звук же тут распространяется, как будто никаких стен нет. Да их, собственно, и немного тут, этих стен. Как я уже объяснял, тут всего две спальни, хотя народу можно вместить — хоть двадцать человек. Но тогда начинаются проблемы со звуками. Деревянная коробка резонирует, как мембрана. А по ночам, как известно, звуки слышнее — то ли на фоне ночной тишины, то ли потому что воображение начинает работать.

Шумит ли это дубравушка, или кто-то спускает воду в сортире (а их, сортиров, тут три)? Скрипят ли переборки крыши или кровать под игом бессонницы? Шуршит ли крыльями птица под крышей или же это шелестит чей-то халатик? Хрустнула ветка под лапой зверя или чья-то кость? Вскрикнула ли сова или застонала женщина? Я однажды ночевал в нью-йоркском отеле: батарееи, как всегда в Нью-Йорке, были довольно шумные — из-за запутанной системы центрального отопления в трубах создаются воздушные пробки. Я этого не знал. Я лишь

слушал всю ночь, как за стенами перешептывались, сипели, как старый легочник-алкоголик, откашливались и отплевывались, чего-то бормотали. Лишь на утро выяснилось, что дело не в звукоизоляции между номерами.

А в одном венском пансионе мне не давала заснуть одна пара за стеной: слышимость была такая, что каждое их прикосновение, каждый вздох был слышен, как будто я был третьим в их постели. Потом она стала стонать. Она пела и стонала всю ночь. Наутро я спустился к завтраку — в общую столовую — и долго пытался угадать: кто же из них эта ночная певунья? Ни одно из рыбьих лиц не соответствовало звуку. Звук вызывал одни эмоции, вид — совершенно иные. Лишь случайно выяснилось, что за стеной были вовсе не соседи, а чулан, где забыли закрыть окно и его раскачивало со стоном ночным ветром. Вот именно: чего только не нагородит воображение во тьме, в полусне. Тебе снится гром и молния, а это на самом деле сосед по утрам решил вбить в стену гвоздь. Если жизнь — это сон, что же происходит на самом деле, вне сна, когда нам кажется, что в мире присутствует бог?

У нас — у моего поколения — в этом смысле большой опыт интерпретаций. Мои родители делили двухкомнатную квартиру моего деда с братом мамы и его семьей. Так что я, с моей сводной сестрой, жили с родителями в двенадцати (слава богу что квадратных) метрах жилого пространства. Спали на раскладушках и диванакроватях. Они потом складывались и убирались, а вместо них раскладывались предметы дневного обихода — от стола до фотоувеличителя отца (он увлекался фотографией). При этом влезало еще и пианино, хотя и не раскладное. По ночам раскладывались еще и звуки. Можете себе представить: все эти софы, диваны, раскладушки и на каждой — свой темперамент, свой возраст, не забывая возраст моей сводной сестры в период раннего полового созревания. Ночь оживала скрипом пружин, стонами, вздохами, сдавленным покашливанием, мычанием и подростковым скрежетом зубным. Я, короче, как и большинство нашего послевоенного поко-

ления, вырос посреди оргии. Если не образов оргии, то ее звуков.

Неудивительно, что по ночам в «Кривом роге» в присутствии гостей мне мерещится бог знает что. Точнее, известно что. И не потому что я вслушиваюсь, а потому что звуки приходят автоматически, возвращаясь звуковым кошмаром детства. Но в одну из прошлых встреч Нового года это наваждение случилось со всеми. Народу было много, потому что праздник устраивала сама леди Мария и поэтому проблемы, кого приглашать, не стояло. Стояло нечто другое.

Под утро, когда вроде бы все утихомирились, начались такие эротические стоны, шепот, вскрики и всхлипы, чмоканье и похлопыванье, что к полудню, когда все собрались за завтраком, на уме у каждого был один вопрос: кто? Постепенно, со смешками, аллюзиями и реминисценциями на эротическую тему, под водку в опохмелку с английским завтраком из яичницы с беконом, стали говорить в открытую, каким таким сексом этот «некто» занимался, и вообще сколько раз они в ту ночь кончали?

И тут выяснилась удивительная вещь: всем было любопытно и недоумевали все без исключения. Причем совершенно искренне: в таких случаях легко различить и уличить смущающихся любовников. А если все недоумевают, значит это были не эротические звуки, а что-то

еще, игра природы. Или это были эротические игры животных на скотном дворе? Если крик павлина можно спутать со звуками садо-мазохистского секса, то петух есть петух. И лошадь тоже в акте близости с конем звучит совершенно по-иному. Не говоря уже о кошках, козе и осле. Конюшенная Линда это подтвердила: с человеком не спутаешь. Соседи в округе уже давно не занимаются любовью. Остается предположить, что среди нас была еще одна пара — он и она — и они удалились незаметно, пока еще никто не встал. Но никто никакой пары не мог вспомнить. Как могли затесаться среди нас малознакомые люди? Кто это был? Кто всем нам чудился? Ангелы, что ли?

О коммуникабельности

На днях, возвращаясь из Лондона в «Кривой Рог», я мирно стоял перед расписанием на вокзале Паддингтон в ожидании поезда. Час был внеурочный, толкучки вокруг особой не было, и поэтому я страшно удивился, когда меня довольно сильно толкнул в плечо прохожий. Странно. Даже в набитом битком поезде метро англичане умудряются стоять так, что практически не касаются друг друга и, естественно, не смотрят друг другу в глаза: каждый делает вид, что едет один в совершенно пустом вагоне. Я оглянулся на гражданина, толкнувшего меня в плечо, — спешит, наверное, куда-то. Но он никуда не спешил. Ходил кругами по залу ожидания. И потом — раз: с разбега натолкнулся еще на кого-то. И отбежал. Через минуту — новая жертва. И я понял: сумасшедший. Ищет контакта с действительностью. Это для него возможность почувствовать теплоту человеческого общения. Может, он вовсе не сумасшедший, просто борется с одиночеством?

В сельской местности, как вы себе представляете, возможностей у него было бы еще меньше. Не пойдешь же, в самом деле, в открытое поле — сталкиваться с трактором. Можно, конечно, торчать в пабе, но там сразу определяют сумасшедших и отводят им особый угол, вроде карантина. Что же касается обычных нормальных англичан, они на первом этапе общения стараются избегать физического контакта: боятся оскорбить твои чувства приватности, вторгнуться непрошеным в твой интим.

Все это крайне усложняет отношения с соседями. Многие иностранцы, особенно русские, вроде моей жены Нины Петровой, считают англичан нацией доносчиков. Если ты, скажем, регулярно не стрижешь газон, нормальный сосед в любой другой стране или не обратит внимание, или поинтересуется: может быть, у тебя артрит или какая-нибудь подагра? Английский сосед тут же строчит донос в местный совет. Когда он в результате узнает, что у тебя приступ подагры или артрита, он

тут же вызовется помочь со своей газонокосилкой. Но сначала все же напишет донос.

Я могу возразить Нине Петровой: нечего тут преувеличивать зловещую сущность англичан и зловредность доносительства. Эти органы — вроде полиции или местного совета — вовсе не такие уж угрожающие. Он пишет письмо в эти вышестоящие инстанции просто потому, что не хочет смущать тебя своими упреками лицом к лицу. Именно поэтому английская культура предпочитает письменное общение устному. «Но почему сосед в таком случае не напишет письмо—жалобу прямо мне?» — не может успокоиться Нина, хотя прекрасно знает ответ: сосед использует вышестоящие органы в качестве промежуточной инстанции, чтобы избежать прямой конфронтации. Это не доносительство, а стеснительность.

«Взгляни, к примеру, на нашего соседа Питера», говорю я Нине. «Нелюдим. Закомплексован. Некоммуникабелен».

«Никому не кабель он?» Причем, с ударением на «е» в слове «кабель». Когда Нина Петрова не желает что-либо понять, она делает вид, что плохо слышит. Впрочем, в случае нашего соседа ее ирония оправдана: наш сосед — исключение из правил. Он вообще не англичанин, а шотландец. Мы держали его не за стеснительного, а, наоборот, за страшно агрессивного соседа. Он явно пытался захватить все свободные помещения в нашем «Кривом роге». У него гигантский каменный дом в двадцать комнат с подсобными помещениями, но однажды утром он возник у нас в дверях с просьбой: нельзя ли к нам в садовую сторожку поставить на зиму велосипед? Это было почти сразу после нашего прибытия в «Кривой рог». Его просьба нас страшно смутила, сарайчик действительно стоял пустой, и у нас не хватило силы воли отказать.

На следующее утро я заглянул в сторожку и увидел, что там не один соседский велосипед, а целых четыре. С какой стати?! Мы с Ниной Петровой были в бешенстве. Пока мне не пришла в голову гениальная идея:

заказать дрова на зиму. Дрова сгружались именно в этой сторожке, и поэтому велосипеды придется убрать. Но не тут-то было. Сосед сказал, что дрова сгружают как попало, и он готов сложить их в поленницу так, что при этом остается место и для его велосипедов. На следующей неделе мы смотрели из окна, как он ловко управляется с кучей дров перед сторожкой. К вечеру усталый, но довольный он стоял у нас в дверях. Он предложил нам сделать дополнительную пару ключей для сторожки, поскольку участились случаи грабежей в округе, а дрова на дороге не валяются, и велосипеды тоже, добавил он. Это было уже слишком. И тут меня осенило:

«Леди Мария Филлимор запретила нам передавать ключи кому бы то ни было», сказал я и понял, что открыл в отношениях с нашим соседом Питером универсальный ключ к свободе: я во всех неприятных положениях могу сослаться на вздорные желания зловредной леди Марии. И обретя эту свободу, я успокоился и задумался о незавидном темпераменте соседа Питера. И тут же вспомнил о нелепом гражданине на вокзале, толкающем других, чтобы не чувствовать себя в одиночестве. Может быть, вся эта история с велосипедом — тенденция со стороны соседа к экспансии, а просто-напросто единственный доступный его разумению способ завязать с нами отношения?

Что же касается мистического гражданина с вокзала Паддингтон, якобы от тоски наталкивающегося на случайных прохожих, то загадка разъяснилась на следующий день: когда мне пришлось расплачиваться в пабе, я обнаружил, что у меня исчез кошелек. Это расплата за тесноту общения.

Кровь и почва

К нам в окно залетела оса. Осенняя оса. Она спаслась у нас от первого осеннего дождя. Меня уже кусала оса в этот сезон. Летняя оса. По-моему, хватит. Но осы, мухи, комары и всяческие мотыльки как будто сошли с ума, никак не могут успокоиться, и даже те, кто устроил-

ся на зимнюю спячку, успел проснуться и снова кусается. И не удивительно: над туманным Альбионом дождя не было с начала сентября. Стояло бабье лето: безоблачные небеса и температура под двадцать градусов. Говорят, хорошо для урожая зерновых. Может быть. Фиги, во всяком случае, были в этом году удачные. Но щуки и карпы дохли на берегах пересохших рек, а это только увеличивает количество мух, мошкары и вообще всякой летающей гадости.

Почему в одних странах водятся комары, а в других нет? Я слышал мнение, что комары там, где стоячая вода. А в этом году в Англии было тропическое лето: жара сменялась проливным дождем. Сырость как в джунглях. Вот они, говорят, и расплодились. До этого, за все мои два десятка лет на британских островах, я сталкивался с комарами только в Шотландии, откуда родом наш назойливый сосед по загородному дому, Питер (муж Финеллы). Он, по общему мнению, назойлив, как муха, и поэтому знает, что говорит, когда речь идет о мошкаре. С августа месяца мошкара двигалась в нашей округе облаками по полям и весям и оседала гроздьями на потолке и окнах. Моя жена Нина Петрова была уверена, что это — мушки из конюшни. Но сосед Питер твердо заявил, что эти облака мошкары — из стерни и колосьев в сезон сбора урожая и молотьбы, а вовсе не от лошадей. Лошади страдают от мух точно так же, как и человек. Блох у нас в доме я пока не заметил. Впрочем, от блох страдает, вроде бы, не человек и не лошадь, а собаки. И еще ослы.

Это не всегда было так. Многие находили в блохе нечто человеческое, слишком человеческое. Об этом пел Шаляпин на слова Гёте. А английский поэт Джон Донн три с половиной столетия назад сочинил о блохе любовные стихи, где, цитирую, блоха, «сначала сосет мою кровь, потом твою, и поэтому в этой блохе — смесь твоей и моей крови. Эта блоха — ты и я, она — наша брачная постель, храм нашей любви». В свете этой любви — предостерегает поэт — прихлопнуть блоху, значит «совершить не только тройное убийство, но и

надругательство над святынями». Толстой был тоже против убийства насекомых.

От блох мы избавились (а в России с помощью Лескова блох подковали и они теперь не скачут), и роль аналогичного посредника между влюбленными в наше время можно считать комаров-кровопийц. Комары восстанавливают кровную общность между людьми. Я уже давно слышу от Нины Петровой жалобы на атмосферу разобщенности среди англичан. (Джон Донн знал, что говорил о блохе: он тоже страдал от разобщенности, поскольку отрекся от своего католичества и перешел в англиканство, но так и не обрел духовной родины, даже в священничестве). Мы добились на Альбионе полной свободы и независимости друг от друга, но потеряли клановое чувство локтя, кровного родства. Детей тут отправляют с малых лет в частные гимназии-интернаты, чего тут удивляться, если дети, повзрослев, отправляют немощных родителей в дома для престарелых? Общность крови и почвы может нести в себе угрозу фашизма, но без этой общности не бывает ощущения братства, кровного родства.

Этим летом, однако, ситуация изменилась, благодаря нашествию комаров. Комар, перелетая с одного англичанина на другого, смешивает в себе кровь нации. И не следует пугать нас заразой и инфекцией; любовь, если хотите, это тоже зараза и инфекция, только против этого инфекционного заболевания нет лекарств. Даже покрасневшие и вспухшие места комариных укусов на теле напоминают следы любовных забав. Этим летом, благодаря комарам, что-то изменилось в британской нации. Облако комаров над Альбионом, впитавшее в себе кровь разных классов и сословий, стало нечто вроде библейской шехины — аурой над ковчегом завета — национальным самосознанием, окончательно захиревшим, казалось бы, в эпоху индивидуализма под игмом консерваторов. Если бы я был параноиком в политике, я бы усмотрел в налете комаров на Великобританию — трюк Тони Блэра: недаром в его речах с призывами к братству слышатся библейские пророки.

Не следует забывать и роли мух в этой трансформации английской нации. Поглядите на южные страны — от Италии до Израиля: как живо реагируют люди друг на друга, как подвижны их лица и экспрессивны их жесты. Но присмотревшись, порой замечаешь: собеседники размахивают руками и мотают головами не от энергичности в общении — они просто отмахиваются от роя мух, облепивших и стол, и разговорчивых гостей. Никогда, однако, невозможно утверждать с точностью, что изначально: размахивают ли люди руками из-за мух, или же мухи летят к людям, потому что их привлекает их общительный темперамент, обильное застолье? Как утверждал Михаил Чехов, кузен писателя, жест продолжается в человеческой психике, формирует темперамент. Я наблюдал Нину Петрову этим летом: обычно сдержанная, она, размахавшись из-за мух руками, краснела и становилась еще красивее. А к осени стала крайне общительной. Осы, однако, в отличии от мух этом смысле все же опасны: если слишком много разговариваешь, оса может залететь в рот, укусить в язык, язык распухает и человек задыхается у тебя на глазах. Конец общению.

Вместе и порознь

Шотландия отпала от Англии. Это называется: деволуция. Не следует путать с феноменом, связанным с половым созреванием у подростков. Хотя в этом рвении к независимости есть нечто подростковое. У них теперь свой парламент. Потому что хотят свободы и независимости, но кто за эту самостоятельность будет расплачиваться? Вся Шотландия — несмотря на массовое потребление британцами шотландского виски и новогодних елок-палок — на субсидиях из общего кармана британского налогоплательщика. Исторически, шотландцы пролезли на все ключевые посты в государстве и правительстве. И тем не менее, они постоянно намекают на то, что их дискриминируют, не принимают на равных основаниях. Хотят быть как все, но на особом

при этом положении. Они, мол, избранные. В этом смысле шотландцы — это своего рода британские евреи.

Или, точнее, как наш сосед, шотландец Питер со своей женой Финеллой. Все его хитрости по проникновению в наш домашний быт направлены исключительно на то, чтобы увидеть в нас (как русская революция в зеркале сочинений Льва Толстого) собственную исключительность. В той же степени Шотландия нуждается и в Англии: чтобы было кому доказывать, на кого они не похожи. Все мужчины цивилизованного мира — в портках, а они в своих шотландских юбках. Пытаются привлечь внимание любыми способами — особенно в ветреную погоду. Именно в этом юбочном виде Питер и явился к нам однажды в новогоднюю ночь. Его никто не приглашал. Но он воспользовался шотландским обычаем: правом соседа на первый шаг через порог — в новом, так сказать, году. При этом он, по обычаю, держал в руках кусок угля и монету — символы домашнего уюта и семейного благополучия. Лучше бы принес бутылку виски. Уселся и затеял разговор про шотландскую историю в связи со слухами о предстоящей деволуции.

Произошел этот визит в ту эпоху, когда лорд Робин был еще жив и в «Кривом Роге» царила леди Мария. Была куча друзей. Все ждали, когда Питер уйдет. Но он не уходил и рассуждал про деволуцию. Все были страшно голодные, но фазаны сохли в духовке: никто не хотел садиться за ужин вместе с Питером. Коза Каламити (calamity означает «стихийное бедствие», то есть называть ее следует «Бедовой»), тогда еще юная и розовая, проживавшая у леди Марии в сенях, приступила к пожиранию обивки со второй софы у камина. Мы же пили водку натошак: в этом и состоял стратегический план леди Марии — спить соседа Питера, пока тот не упадет со стула. Тот в конце концов и упал. Под стол. И тогда завyla собака Питера. Эта соседская собака воеет, напомним, всегда, когда Питер уезжает в Лондон. Как я понимаю, в смертельно пьяном состоянии он перестал

быть узнаваем даже собакой: с собачьей точки зрения он как бы отбыл в иные миры. Вот она и завyla. Пришла его жена Финелла и с общей помощью оттащила Питера домой. Собака перестала выть. Мы приступили к фазанам.

С тех пор Питер не появлялся у леди Марии. Он снова возник на горизонте только тогда, когда в «Кривой Рог» вселились мы с Ниной Петровой. Мы с ужасом ждем, что он снова появится у нас на встрече Нового года с углем и монетой. И будет долдонить про деволуцию. Любопытно, что от лондонского Парламента шотландцы отделились (за наш счет). Но от британской короны не откалываются. Потому что твердо до сих пор верят, что истинная королевская кровь — шотландская. Это твердое убеждение им дорого обошлось, когда британский народ решил завязать с династией Стюартов — родом из Шотландии. Тут и начались заговоры якобитов — сторонников низвергнутого Якова. И пошли заговоры вокруг претендентов на престол — Старший Претендент, Младший узурпатор. А поскольку все Яковы склонялись к католицизму, то тут такие пироги начались, что у людей животы вспарывали во время публичных казней. Все это Питер периодически излагает нам со всеми подробностями и повторами с интонацией «а знаете ли вы?», попивая, при этом, наше шотландское виски (или «наши шотландские виски»? — во всяком случае одной бутылкой дело не ограничилось).

С каждой бутылкой виски нам все яснее становится, что все эти разговоры про старших и младших узурпаторов, они — не про шотландскую историю: это Питер намекает, что мы тут с моей женой Ниной Петровой — узурпаторы, живем тут на полузаконных основаниях, пробрались сюда благодаря русскому происхождению леди Марии, вдовы лорда Робина. Когда эти грязные инсинуации стали нам совершенно ясны — как глаза нашей козы Каламити: ну точь-в-точь голубизна неба над Англией прошлым знойным летом — мы решили с конюшенной Линдой объявить ультиматум Питеру. Нам от Шотландии и драма виски (виски меряется не на

граммы, а на шотландские драммы) даром не надо, но нашей криворожской земли мы и дюйма не отдадим. Мы долго молчали насчет того, что собака Питера, когда ей надо справить нужду, использует соседние выпасы и в частности наш газон. Но больше мы этого не потерпим. Конюшенная Линда сказала, что если Питер не приструнит свою собаку, она эту собаку пристрелит, потому что собачьи экскременты мешаются с травой и могут отравить лошадей на выпасе.

Питер все еще продолжает совать нос в нашу деволюцию. Но теперь изгородь между амбаром «Кривой Рог» и домом Питера затянута колючей проволокой, как хорошая советская граница. К этому, собственно, и поощряют малые государства бюрократы из Брюсселя. Они подзуживают всех на самостоятельность. Чем все это закончится? Закончится это все тем, что малые нации британских островов будут подчиняться не королю и парламентскому жезлу в Лондоне, а резиновой печати и факсу из Брюсселя. Мы знаем крайний случай такого проявления полной самостоятельности, когда один такой француз заявил прямо, без обвиняков: «Франция — это я!» Звали его, если не ошибаюсь, Людовик IV, и он был известным тираном. В наше время каждый гражданин в тайне мечтает стать независимым государством. С паспортом собственного изготовления. Это еще советский диссидент Буковский любил повторять: «У меня в душе такие государственные границы за колючей проволокой: если кто туда без паспорта сунется, я в него — прямо из пулеметов!». Вот и малые нации тоже скоро начнут из пулеметов строчить друг в друга.

Что же касается собаки, то она уже границу не пересекает. Но продолжает выть. На собственной территории. Из своего угла. После скандала с Линдой, Питер перепугался и стал держать ее на цепи. Не Линду, а собаку. Как только он в отъезде, его дог, как я уже сказал, начинает выть. Мы ему говорим: «Когда вас нет, собака воет». Он удивляется: «Странно», говорит, «никогда не слышал, чтоб она выла». Мы говорим: «В том-

то и дело: она воет, когда вас тут нет». Он этого понять не в состоянии. И нам не верит: ведь когда он возвращается, она уже не воет. Трудно с шотландцами.

Шум жизни

Мне всегда необходим был для работы некий шум. Иначе трудно сосредоточиться: я не могу работать в полной тишине, как невозможно дышать в чистом кислороде. Но шум этот должен быть лишен всяких сюрпризов. Оптимистический грохот отбойного молотка или перестук колес вагона метро, ровный гул транспорта или скрежет тормозов за окном, птичье щебетанье уличной толпы или пьяное пение из соседнего паба — этот городской шум и гам, умноженный эхом каменных стен, в обрамлении палисадников и деревьев по краям тротуаров, — все это внушает чувство уверенности в будущем: так было, есть и будет; ни тональность, ни хоровая мелодия этого человеческого муравейника не меняется, по существу, веками.

Те из нас, кто называет этот городской уют (крепость, выстроенную в борьбе с дикой природой) «городской клоакой», бегут в поисках благодатной тишины в сельскую идиллию. Но мы-то знаем, что эта идиллия вовсе не сельская, а литературная — из области чистого вымысла. За несколько лет пребывания в загородном доме я понял, что покоя там не найти. Часов с четырех утра начинает кричать петух. Стоит ему успокоиться, концертную площадку перехватывают гуси. Периодически, то петуха, то гуся загрызает лисица и появляется надежда на тишину и покой. Но каким-то чудом число петухов и гусей не уменьшается. Часов с шести гуси отзываются на любой шорох гортанными сквалыжными воплями ворчливости и недовольства окружающей действительностью. К ним чуть позже присоединяется осел Нэд, ему вторят ржанием лошади, потом начинается рычание моторов — конюшенная Линда привезла силос или новую сбрую жеребенку. Причем все это по расписанию, но без всякого при этом предупреждения: каждый звук

— как фугасная бомба, потрясающая все твоё существование до мозга костей.

Однако все эти кукареку и га-га-га — фортепьянный концерт Рахманинова по сравнению с павлиньим гарканьем. Не знаю, с чем сравнить этот ужас: так, наверное, кричат мартовские кошки, когда их насилюют бритоголовые лондонские панки из футбольных болельщиков. Противоречие между внешностью павлина и его дикими воплями столь же кричащее (извиняюсь за каламбур), что и у цыган — между личностью и творчеством: все обожают цыганские песни, но от самих цыган пытаются избавиться всеми доступными способами — от депортации до газовых камер.

Собственно, фазаны в своем поведении похожи на цыган: если им не подрезать крылья, они начинают расселяться где ни попадя. Перепархивают с одного дерева на другое, и в конце концов оказываются у тебя под окнами. Можно умиляться во время бессонницы петухам на заре, можно смириться с ворчливым гоготом гусей по всякому поводу, вспоминать пустыню при криках осла; но вопли фазанов ничего, кроме тошнотворного позыва зарычать монструозно в ответ, не вызывают.

Поэтому очередная доносительская акция нашего соседа Питера вызвала у меня первоначально некоторое чувство симпатии. Питер, как оказалось, борется с соседями по другую сторону дороги, в конце оврага, засаженного ежевикой и жимолостью. Это семейство мелкого адвоката из Лондона. Они перекупили небольшой дом, но, по словам Питера, разыгрывают из себя местную аристократию. Устроили перед домом небольшое озерцо с рыбками. А года три назад завели павлинов. Завели, и глядят, как они распускают хвосты, узнавая в этом распускании хвостов самих себя. И не удосужились при этом подрезать павлинам крылья, чтобы предотвратить их эмиграцию в чужую географию — скажем, на шелковичное дерево Питера.

Год назад он написал в местный совет доклад на своих соседей: их павлины, мол, поселились на моем дереве и своими воплями круглую ночь мешают моей трудовой

деятельности и выполнению супружеских обязанностей (он действительно включил в свою жалобу—доклад пункт о разрушении семейного счастья.) Недавно Питер стал обходить всю округу с письмом протеста против павлинов и их владельцев. В этом письме он приводил статистику, собранную на протяжении месяца, об уровне шума на его участке без павлиньих воплей и с присутствием таковых.

Эта статистика была собрана им во время ночных дежурств в садовой сторожке с двумя включенными магнитофонами. Эти два магнитофона были выданы ему отделом по охране окружающей среды местного райсовета. На один магнитофон он записывал ночные звуки в нормальном режиме — без павлинов. А второй магнитофон запускала его жена Финелла, когда павлины начинали орать своим благим матом. Если этот благий мат превышает на десять децибел обычный шумовой уровень этой местности, значит соседские павлины нарушили закон. Именно это Питер и доказал своей статистикой.

Однако снобы—соседи тоже не дураки. Они хоть и наплевательски относились к своим павлиньим обязанностям, разузнали, что павлины издают свои жуткие вопли лишь во время брачного сезона с целью спаривания, как тетерев на току. А год назад они еще не дозрели до брачного возраста. А значит Питер клеветал на павлинов и их владельцев. Никому, мол, павлины спать не мешали и существовали лишь у Питера в его больном и завистливом воображении. А значит и сейчас ему не должно быть никакой веры. И поэтому соседи подали на Питера в суд за клевету и сутяжничество.

Но Питер совершенно искренне уверен, что павлины орал у него над ухом год назад тоже. В этом он и пытался убедить нас и других окружающих жителей. Окружающие жители, включая меня с моей женой Ниной Петровой, совершенно не уверены, кто и когда кричал в этом сельском аду: гуси, осел, коза, петух, фазаны или просто озверевший от одиночества и собственной супруги местный какой-нибудь резидент, вроде самого

Питера? Может быть, у него эти звуки действительно в голове? Ведь голова — это тоже вроде магнитофона и периодически прокручивает звуки непонятно какой давности, как будто их слышишь прямо сейчас. И, если уж речь зашла о голосах, и кто их слышит, я вспомнил голоса зарубежного радио в семидесятые годы, и понял, что многие из тех, кого стали впоследствии называть диссидентами, занимались письмами протеста, потому что иначе сдохли бы от одиночества.

Питер, во всяком случае, в последние недели преобразился. Может быть, потому что он не спал несколько месяцев, записывая по ночам на два магнитофона разнообразие звуки. Так или иначе: я наблюдал его недавно, стоящим у калитки, с его статистикой и письмами протеста, и что-то в нем появилось вдохновенно-поэтическое — горящий взгляд, приподнятость, просветленность. «Кто бы мог подумать, что у нас в округе живут такие замечательные люди», сказал он мне вчера, показывая очередную подпись под своим антипавлиньим воззванием. И понимаешь, что ты сам ставил подписи под письмами протеста в московские семидесятые годы не столько из-за сочувствия к тем, кого защищало письмо, а главное чтобы не разочаровать того, кто в тот момент протягивал тебе письмо на подпись.

Об отсчете времени и бензина

В юности каждая минута растягивалась на целую жизнь, а с возрастом кажется, что целая жизнь проносится в одну минуту. Не успели опохмелиться после празднования Нового года, глядь — а Рождество уже на носу. И снова начинает маячить вечный предрождественский вопрос: кого пригласить? Начинаешь, прежде всего, перебирать близких друзей. Диана, конечно. Лондонская confidentка Иосифа Бродского. Как сказал ее confident в своем стихотворении о Лондоне: «Город Лондон прекрасен, тут всюду идут часы». Часы, действительно, висят повсюду. И напоминают, что вре-

мени не хватает: хотя событий в жизни с возрастом становится все меньше, каждый шаг отнимает все больше и больше времени. О каждом событии думаешь все больше и больше. В остросюжетном романе проживаешь за раз десять жизней. А бессобытийность старости приводит к тому, что дни мелькают, как станции в железнодорожном экспрессе от Лондона до Рединга: не успеваешь их читать, и страница книги на коленях остается не перевернутой. Все думаешь о чем-то, думаешь, но если вспомнить: о чем ты, собственно, все это время думал? И не знаешь, что и сказать. Езды-то всего минут двадцать. А привык к тому, что путешествие от Лондона до Рединга занимает добрые час—полтора. Впрочем, может быть, поезда стали ходить быстрее?

Англичане помешаны на часах не только потому, что с нулевого Гринвического меридиана идет отчет времени во всем мире. Часы нужны еще и потому, что все аспекты английской жизни связаны с какими-нибудь лицензиями. Например, на продажу алкоголя. Еще не так давно, в пабах нельзя было продавать спиртное с трех до шести (закон эпохи Первой мировой войны — чтобы народ не спивался в трудную для нации минуту). И до сих пор продажа прекращается ровно в одиннадцать ночи. Поэтому во всех пабах, куда ни глянь — в каждом углу часы: чтобы не опоздать за последней кружкой пива. Однако от всех этих лондонских часов Диане мало толку.

Дело в том, что у Дианы проблемы еще и с отсчетом времени как таковым. Время тут разное: у Дианы одно, а у всего остального человечества — другое. Точнее, у человечества одно время, а Диана существует в трех временах: по Гринвичу, по-летнему времени и по московскому времени — в тех случаях, когда ей надо записать какой-нибудь фильм по русскому телевидению или московскую радиопередачу. Причем, она забывает переводить разные будильники с одного времени на другое. В России на три часа позже, чем по Гринвичу, летнее время — на час вперед. И звенят эти будильники в самые странные и непредсказуемые моменты.

При всем при этом, представьте себе, из радио несется речь по-русски (с опережением событий на три часа), на столе письма из Москвы, где описываются события месячной давности, а воспринимаешь их — как всякие эпистолярные сведения — как будто эти события произошли только что. Но и это не совсем верно, потому что время в Москве для нас тут останавливается, как для всякого эмигранта, на моменте отъезда из России. Жизнь там, конечно, бурлит, но это некое броуновское движение в химической колбе: мы наблюдаем эту жизнь сквозь прозрачное стекло извне. То есть, время может быть там и не стоит, но крутится по своему циферблату, в своих песочных часах. Это такая теория относительности, как полет со скоростью света в другие галактики. Однако по возвращении, согласно той же теории, ты снова стареешь. Поэтому эмигрантам так вредно возвращаться в Россию. Но улетев из России обратно в Англию, снова впадаешь в эмигрантское детство. Все, что происходило в России кажется сном, кошмаром чей-то чужой, взрослой жизни, где звенят не будильники, а колокола — и звонят они по трупу тебя самого в предыдущей инкарнации (это мысль, заметьте, не принадлежит буддийскому профессору Пятигорскому).

От этих постоянных перезвонов и голосов Диана плохо спит и поэтому глотает разные снотворные препараты. От этих таблеток у нее начинается головная боль, и тогда она пьет разные болеутоляющие пилюли, которые, в свою очередь, вызывают сонливость и головокружение. У нее начинаются странные видения: то ли она в Москве, то ли в Лондоне. Собственно, Диана большую часть своей российской жизни провела не в Москве, а в Ленинграде, знаменитом своими белыми ночами, когда непонятно, то ли это — пасмурный день, то ли это белая ночь. Вполне в духе того, что происходит с Дианой в Лондоне. Зимой, когда светает поздно, а темнеет рано, она просыпается в кресле с книгой в руках и не знает: то ли это перед рассветом, то ли после заката. Однажды она проснулась в четыре утра и поду-

мала, что опаздывает к пяти часам на свой семинар по славистике в Лондонском университете. Выйдя на улицу, она удивилась, почему в четыре дня на улице так мало народу. Она решила, что из-за плохой погоды люди сидят дома. И действительно, шел дождь. А может быть, всеобщая забастовка. Или какой-нибудь христианский праздник, вроде Рождества. Это и подтвердилось, когда она обнаружила, что двери Университета были заперты на замок.

В Лондоне все это усугубляется тем, что вид из окна совершенно не говорит о том, какое время года на дворе. Это еще Тернер сказал, что в Лондоне в одно мгновение можно пережить четыре времени года. В прошлом году перед Рождеством, вместо снега из песни «I am dreaming of a white Christmas», все забелело в глазах от обезумевших вишен: они зацвели, что неудивительно при десяти градусах тепла. Выглянув в окно, Диана решила было, что проспала все Рождество и пора праздновать Первомай. Короче говоря, приглашать Диану совершенно бесполезно: она или вообще не приедет, решив, что ей все эти приглашения приснились, или может приехать на следующий день. Дело в том, что она вообще не спешит в принципе. Спешить может человек, который живет в одном времени, по одним часам, с одним звонком. Но если ты живешь по трем будильникам, можно вообще не просыпаться: опоздал в одном времени, слишком рано появился в другом. Можно, например, кончить самоубийством на день раньше твоего вылета, если лететь из Лондона в Сидней через Пекин (или что-то в этом роде). Только целеустремленным людям — людям линейного времени — кажется, что они опаздывают, что у них постоянно чего-то не хватает.

Например, конфидент Дианы, поэт Бродский, человек целеустремленный, довел свое сердце до такого плачевного состояния, потому что переживал за каждый свой шаг. Однажды моя жена Нина Петрова подвозила Иосифа к Диане (мы соседи по району) и они пришли к выводу, что оба, как водители, в постоянном

мандраже: а вдруг в баке кончится бензин? Сидят за рулем и трясутся: а вдруг машина встанет посреди автострады? Постоянно смотрят на стрелку указателя, выискивают глазами ближайшую бензоколонку. И все, в конечном счете, кончается хорошо. Бензина хватает до следующей бензоколонки. Но может кончиться и инфарктом.

А вот Диана не волнуется. Едет спокойно, думает о чем-то своем. Обычно, о чем-то даже не другом, а третьем. В том-то и дело. Диана производит впечатлительные медлительности, потому что тело ее в одном времени, а мысль в другом. Поглядите, как она ловко готовит какое-нибудь фрикасе (она у нас великая кулинарка): каждое движение рассчитано — с железной логикой и одновременно грацией. Она не медлительна: это мы видим ее как бы в замедленной съемке из другой точки отсчета. Так, глядя на задумчиво склоненную над книгой голову пассажира в окне поезда, мы забываем, что поезд несется со страшной скоростью в туннеле под Ламаншем. Стоит, кроме всего прочего, вспомнить парадокс Эвклида, если не ошибаюсь: про черепаху и зайца, и как они друг друга не могут ни догнать, ни перегнать, потому что каждый делает свой шаг в собственных масштабах. Если по-настоящему внимательно относиться к шагам другого существа, дробя каждый жест до малейшего нюанса, резона и эксцьюза, выяснится, что все мы, в сущности, стоим на месте, глубоко задумавшись. Каждый сам по себе — в своей точке отсчета.

Бензина, однако, на эти мысли не всегда хватает. Диана никогда на этот счет не волнуется, но именно с ней и случается этот кошмар автомобилиста: однажды она встала посреди Трафальгарской площади — ни тпру, ни ну; так она и не попала в тот раз на вечер поэзии своего конфидента Бродского. Опоздала она, много лет спустя, и на его похороны в Нью-Йорке. Тут не помогут ни парадоксы теории относительности, ни идеи солипсизма: тут кончается бензин.

О внутренней и внешней свободе

Периодически до нас доходят слухи, что леди Мария, владелица «Кривого Рога» собирается с визитом в Англию: закупить фазанов или лошадиную сбрую для своих российских угодий. Я тут же извещаю об этом челядь и тут же об этом жалею. Слухи в большинстве случаев оказываются ложными. Я звоню в Москву и выясняется, что леди Мария не может выехать в Англию по той причине, что ее русская лошадь должна рожать или нужно срочно устанавливать новый сортир с канализацией, потому что рабочие в свое время проложили трубы недостаточно глубоко и с первыми же морозами трубы прорвало и дерьмо пошло обратно прямо через унитаза. Линда (наша лошадица со скотного двора) с ее мужем Дэвидом, тем временем, из кожи вон лезли, чтобы придать «Кривому Рогу» благопристойный вид.

Собственно, все их усилия заключаются в том, чтобы скосить сорняки на лошадином выпасе напротив дома. Нужно сказать, этот выпас в безобразном состоянии, поскольку его давно нужно было перепахать и заново засеять травой. Но для этого надо попридержать месяца три лошадей в конюшне (а не на выпасе), а это требует большего труда и затрат (вычищать лошадиный навоз и выдавать сено-корм лошадям). Пока этого никто не требует, никто этого и не делает. И вообще, когда нас не бывает неделю, тут же выпускают гусей гулять, где придется. Гуси загаживают все вокруг своими испражнениями и гусиными перьями с такой систематичностью и изощренностью, что можно подумать: рисунок их дерьма на лужайке и вокруг — это сложнейшая рукопись, иероглифы, изображенные на лоне природы гусиными перьями, валяющимися то тут, то там. Вообще простолюдины (я имею в виду и гусей тоже) без господ ведут себя разнузданно. Их надо держать в ежовых рукавицах, или, как говорят лошадики, в узде. Я предлагал обить изгородь проволочной сеткой, но моя жена Нина Петрова сказала, что не хочет жить в концентрационном лагере. В обращении с гусями и курами остается прибе-

гать к тактике шока и запугивания — гонять их что есть сил с газона. То же можно сказать по поводу челяди в «Кривом Роге».

Паника (обычно ложная), связанная с возможным приездом леди Марии, заставляет Дэвида подстригать не только лошадиный выпас, но и наш запущенный газон. Я бы мог и сам его постричь, но у меня нет газонокосилки (мы не покупали газонокосилки, поскольку не знали, что останемся в «Кривом Роге» надолго и станем разводить газон). Газонокосилку можно одолжить у соседа Питера. Собственно, Питер только и делает, что навязывает нам газонокосилку. У него их много. Но я подозреваю, что в обмен на эту услугу, он попросит разрешения держать все свои газонокосилки у нас в гараже. У Дэвида одалживать газонокосилку бессмысленно, поскольку только Дэвид знает, как обращаться с этим первобытным монстром — там надо дергать за шнур, как будто взнуздываешь лошадь, но при этом еще и как бы пришпоривать ее, прибавляя газу. От этого газонокосилка начинает брыкаться и рваться из рук, как необъезженный жеребец.

Короче, возвратясь после Лондона в «Кривой Рог», мы иногда видим газон подстриженным. И если леди Мария так и не приехала с визитом из Москвы, получается, что газон был подстрижен Дэвидом ради нас. Его надо как-то благодарить. Денег он не берет: это ниже достоинства простого человека брать деньги за услугу, которую он оказал по собственной инициативе. Значит, надо отблагодарить. С Линдой я знаю, как поступать в таких случаях: она обожает «перно», то есть анисовую водку. Покупаешь бутылку «перно» и первый стаканчик распиваешь с ней. Вот и весь ритуал. Дэвид курит самокрутки, и рад любой сигарете. Так что блок сигарет — идеальный для него подарок. Но не будешь же раскуривать с ним блок сигарет, это же не бутылка водки на троих с Ниной Петровой. Впрямую он подарка не принял. В конце концов я оставил блок сигарет на столбе забора. Они там пролежали до заката солнца. Наутро сигарет не было. Я боялся, что их сжевал осел. Но на

утро я увидел Дэвида с сигаретой в зубах. Он подобрал сигаретный блок ночью в темноте. Стеснительный народ. Но курить любит.

Разница между Дэвидом и Линдой поразительная именно в том смысле, что Дэвид на дух не выносит спиртного, а Линда не берет в рот табак. Дэвид любит сидеть перед закатом солнца на завалинке у конюшен и смотреть на горизонт. Линда же постоянно в движении и если не чистит лошадь, то ездит на ней верхом. Разницу эту обсуждал еще американский писатель Дос—Пасос («Доспасется этот писатель!» — была такая острота у послевоенного поколения). Там приводится диалог человека Востока с человеком Запада о том, кто что делает, чтобы расслабиться. Человек Запада говорит, что он для этого пьет спиртное. Он испытывает при этом радость, возбуждение, ощущение силы. Человек Востока ответил на это, что аналогичные чувства он испытывает только тогда, когда он пытается загнать осла в стойло. Когда он сам хочет расслабиться, он закуривает кальян с гашишем. И что же? На этот вопрос человека Запада не последовало ответа: человек Востока, сделав большую затяжку из кальяна, устремил свои глаза на горизонт в состоянии транса.

В этом и состоит разница между внутренней и внешней свободой: в обретении истины в движении или в созерцании. В этом смысле, куренье табака — занятие восточное — есть исповедание свободы внутренней. Спиртное же, приводящее к энергичным движениям, это — символ внешней свободы западного образца. Тут есть некое семантическое противоречие, поскольку спиртное принимается вовнутрь, в то время как табак — он выдыхается наружу. Но такова противоречивая природа языка вообще. Классический пример — сосульки и леденец: сосулька — из льда, а леденец — это то, что сосут.

Все это я пытался изложить Дэвиду, выпив с Линдой «перно». Но он остекленело глядел на горизонт, наслаждаясь своей внутренней свободой курильщика. Из состояния транса его вывела Линда, когда пришло вре-

мя загонять в стойло осла Нэда. Осел Нэд (что по-английски означает «осел») — единственный, кто остался в живых из первого состава домашних животных, закупленных в свое время покойным лордом Робиним. Он — существо не творческое и казалось бы бессмысленное, потому что его не используют даже в качестве средства транспортировки, как на Ближнем Востоке. Есть два отношения к действительности: можно бегать кругами вокруг одного места, добиваясь того, чтобы тебя заметили; а можно, наоборот, усесться на одном месте и заставить весь мир крутиться вокруг тебя, поскольку знаменит ты сам. Осел Нэд придерживается именно этой методы. Он практически неподвижно стоит на одном месте и жует траву. Но зато его обожают жеребята. Они ходят за ним, как за наставником. Они в нем угадывают отеческий авторитет. Он им заменяет отца. И мать. И сестру. Может быть еще кого. Иногда какой-нибудь конь пытается заигрывать с ослом Нэдом, подбираясь к нему сзади. Тогда он брыкается. Глуп ли осел или же, наоборот, мудр, сказать трудно. Он, во всяком случае, никогда не суетится, а стоит и жует траву, наслаждаясь каждым мгновением. Суетящиеся уходят первыми. Ослы продолжают жить.

Жизнь как психическое заболевание

«Ты, конечно, очень хорошо говоришь по-английски», заметила Нина Петрова. «Но обрати внимание, кто хорошо говорит по-английски с тобой? Все англичане, которые общаются с нами, русскими эмигрантами, все они — несколько ущербные. какой-то дефект, душевную неполноценность в них всегда можно отыскать». И она стала развивать эту теорию: мол, какой нормальный человек будет общаться с нами, изгоями? — только те, кто не может найти себе достойного места в его собственном обществе. В компании нас, дефективных экспатриантов, подобные личности испытывают редкое для них чувство собственной полноценности и превосходства.

Эта мысль на меня подействовала. Я задумался. Действительно: покойного лорда Робина, с его защитой прав фазанов от расстрела, нормальным не назовешь. Кроме того, во время запоев он считал себя Спасителем: не тем, которого распяли, а его вторым пришествием, так сказать. Да что и говорить: даже английские друзья с Би-би-си — тоже люди не совсем заурядные: некоторые из них вообще из радиоэфира не выходят — эфирные, так сказать, существа. Куда ни глянь — все знакомые несколько трехнутые. Но с другой стороны, российские друзья — тоже несколько, мягко говоря, одержимые.

Например, Вера — сестра леди Марии. Она считает, что мы живем в мире стяжательства, где царит мещанство. По этой причине она, например, долгие годы отказывалась работать переводчицей: чтобы не выставлять напоказ свое идеальное знание двух языков. Долгие годы она предпочитала зарабатывать деньги в качестве уборщицы, а по совместительству — кухаркой. Имелась в виду готовка исконно русских блюд для местного лондонского ресторана — борщ, грибной суп, и так далее. Поскольку после уборки чужих квартир времени и сил на рынки и супермаркеты с дешевыми продуктами времени не оставалось, сестра Вера заходила в соседний итальянский деликатесный магазин, где закупала все необходимые ингредиенты. Вы знаете, сколько стоит в итальянском магазине в Лондоне пакетик сушеных белых? Не знаете. А борщ, если его варить с говяжьей вырезкой, по себестоимости тарелки супа будет превосходить все мыслимое и немислимое в меню парижского ресторана «Максим». Вера, короче, субсидировала этот самый ресторан из собственного кармана. У нее не было выхода. Она же не могла подвести ресторатора, не выполнив пионерского обещания. Конечно в конце месяца пришлось голодать, несмотря на готовку кастрюлей с борщом, но это ее устраивало: лучше быть жертвой, чем стяжателем. Это как-то духовней, хотя и пахивает грибным супом.

Да что люди! Взгляните на окружающий нас животный

мир. Например, бедовая коза Каламити: она воспитывалась леди Марией прямо в доме, где она затачивала зубы, пожирая обивку с диванов и кресел, а также обгрызая шторы. Она научилась жевать так ловко, что не могла остановиться в пожирании травы лужаек вокруг ни днем, ни ночью. Не надо было никакой газонокосилки. Но от бесконечной жвачки она так растолстела, что уже не могла вставать на передние ноги. Всю остальную жизнь она провела на коленях, как в восточной молитве (конюшенная Линда называла ее поэтому «мусульманкой»). Или, скажем, собака Тетка: у нее вообще началась агорафобия — боязнь открытого пространства: забивалась в угол и скулила, если ее тянули на прогулку. В этом страхе многие усматривали ее российское происхождение. Потом стали усматривать некий собачий вариант коровьего бешенства. Собственно, если говядина может быть бешеной, нет никаких оснований считать, что гуси совершенно у нас нормальные. Или куры. Все мы немножко бешеные. Мозги у всех слегка губчатые. Если у всех — мозги губчатые, кто может сказать, губчатые мозги у всех или нет?

Примеров можно привести уйму. И все они сводятся к одной мысли: каковы мы, таков и мир вокруг нас. Шекспир сказал: «Весь мир — театр, и все мы в нем — актеры». Это говорит Шекспир — человек театра. Психиатр, не сомневаюсь, рассматривает весь мир как большой сумасшедший дом. Точно так же как философы-идеалисты, вроде Беркли, готовы были считать, что вся жизнь — это сон. И опровергнуть их не мог даже такой гений математической логики как сэр Бертран Рассел. Но тот же Бертран Рассел указал нам на один парадоксальный аспект подобной картинке мира: если весь мир — театр (сон, сумасшедший дом), то какая разница, является ли он театром, сном или психбольницей? Он такой какой он есть — со своими законами, своими победами и поражениями. И если ты в этом мире, где все — актеры (лунатики, психи), то ты уже не актер, не лунатик и не псих, а просто обитатель этого мира.

Трагедия, собственно, начинается тогда, когда ты

знаешь, что мир, в котором ты обитаешь — он не весь такой: скажем, за границей этого твоего мира начинается театр, сон, сумасшедший дом. Или, наоборот, за границей твоей психушки, ночного кошмара и водевиля есть нечто нормальное. Сестра Вера страдает, потому что делит мир на духовный и материальный. При этом все духовное она уважает, а все материальное — презирает. Но есть ли, в действительности, жесткая граница между духовным и материальным? Не форма ли — душа вещей? А сон — ключ к пониманию бодрствующего ума?

А литература — суфлер жизни. Мы ей верим больше, чем собственным глазам, чувству и уму. И до такой степени, что я долго, глядя на наш дуб перед домом, ждал, как Андрей Болконский: вот-вот, думаю, этот корявый старик распустится молодыми зелеными листочками, как на страницах «Войны и мира», на зависть молодым и здоровым сорнякам газона. Но корявый дуб все не распускался. А я все ждал, веря Льву Толстому. Пока к декабрю месяцу конюшенная Линда не объяснила мне, что кони с ослом объели всю кору и поэтому дуб практически засох окончательно и бесповоротно.

Католическая месса

Мне больше не с кем обсуждать «Анну Каренину» как роман о сельском хозяйстве. Скончался мой единственный собеседник на эту тему — леди Анн Филлимор (мать Робина). Она единственная, если помните, кто заметил в свое время, что в поместье у Левина поля покрыты клевером. В Англии клевера в полях больше не найти, все засажено какой-то сурепкой (на субсидии Европейского сообщества), ярко-желтой белибердой, точное название которой знала только леди Анн: она в свои 90 лет помнила все имена и прозвища. Может быть, поэтому главным мотивом мессы-реквиема над гробом покойной было поименное призвание Богом усопших душ.

Леди Анн была по отцу португальских кровей и по религии — католичка. Католическая месса — целый спектакль, с перезвоном колокольчиков, воскурениями,

пением гимнов, проповедью, шутивными воспоминаниями друзей и близких, чтением из Библии. На этот раз — из Исайи (43. 1—7): «И назвал тебя по имени твоему...» и дальше: «Северу скажу: отдай; и югу: не удерживай», — что, как я понимаю, отчасти отражало интерес Анн к обычаям разных народов в зависимости от климатических условий. Она, скажем, довольно долго придерживалась теории, что ирландцы ленивы, а шотландцы работают потому, что в Шотландии климат холодней, чем в Ирландии. Мой пример леденящей кожу России, где не все при этом прилежно трудятся, особенно в зоне вечной мерзлоты, заставил ее пересмотреть свою этнографическую гипотезу.

В английской Англии быть католиком означает быть в меньшинстве, в диссидентах. С тех пор как Генрих Восьмой решил отколоться от Рима, на католиков в Англии посматривали косо. В конформистском XVIII веке в связи с придворными католическими интригами даже поэт Александр Поп чуть не угодил в тюрьму по доносам и серьезно подумывал об эмиграции. В «левые» же, фрондерские, 30-е годы нашего века среди интеллектуалов считалось дурным тоном не быть кем-нибудь из трех типов отверженного: коммунистом, евреем или хотя бы католиком.

Разводы в католической церкви запрещены (отсюда распря между Генрихом Восьмым и Папой Римским, не давшим английскому королю разрешения на развод), но Анн никогда не отличалась особыми предрассудками, лицемерием и строгостью на этот счет, хотя сама и прожила одна, вдовой, со второй мировой войны, где и погиб ее муж. Она лишь удивлялась: отчего это ее внучатые племянницы так легко расходятся со своими мужьями, и главная при этом причина развода: муж просто-напросто надоел, скучно. «А что они раньше думали? Скучно тебе с мужчиной или весело будет всю последующую жизнь, это ведь ясно в первые полчаса общения, разве не так?» Ей, по ее словам, из-за этого совершенно неинтересно читать современные романы. Роман ведь — это драма про невозможность любви.

Например, как у Джордж Элиот. Или у той же Анны Карениной. Если женщина неправильно вышла замуж или совершила какую-нибудь оплошность в браке — ей конец, она обречена на тюремное одиночество. А в наше время — какая уж тут драма, когда все дозволено?

Я в разговорах с ней периодически пробовал возразить — насчет, скажем, влюбленных, разлученных «железным занавесом». Но Анн смеялась и говорила, что это все — готический роман, махинации высших сил, в то время как самое страшное — это леденящий сердце, собственными руками созданный ад, как в викторианской Англии. Впрочем, она ни на чем особенно не настаивала и соглашалась, что современная свобода — вещь иллюзорная: что, скажем, делать замужней женщине с детьми в Москве, если у нее роман с женатым иностранцем? А некоторые, при полной свободе, практически вообще не выходят из дома, просиживают всю жизнь у телевизора и умирают в одиночестве.

С годами у Анн становилось все хуже со зрением и читать она уже не могла. Так что телевизор, кстати сказать, стал одним из ее немногих развлечений. Перед Новым годом мы с моей женой Ниной Петровой подарили ей видео с «Доктором Живаго» (где Омар Шариф в главной роли). Чуть ли не на следующий день мы получили от нее трогательную записку дрожащим почерком: «Это такая душераздирающая история — просто не могла от волнения смотреть всего этого в одиночестве. Но откуда они взяли на сибирской лужайке желтые нарциссы?» Знание сельского хозяйства не подвело ее и на этот раз.

Даже в вечных вопросах она была конкретна и чужда аффектации. В последний вечер (она скончалась во сне, после нескольких дней недомогания) Анн еще раз повторила свою собственную молитву об уходе в мир иной: «Я никуда не исчезла. Я просто ускользнула в другую комнату. Я это я. Ты это ты. Мы остались сами собой. Ничего не изменилось. Поговори со мной нежно, как прежде, я все слышу, я рядом, погоди немного, и мы встретимся вновь».

Любовь к фауне и флоре

Я опять заходил на конюшню. Я понял, что меня тянет туда еще и запах навоза — запах урожая. Всякий запах разложения — залог созидания. Возьмем, к примеру сыр как продукт гниения. Круговорот воды в природе, буддийский цикл превращения человека в животное и обратно. Я снова наблюдал слияние женщин с природой и снова возжелал наездницу на коне. Если женщины в состоянии аффектации так становятся похожи на любимое домашнее животное — от лошади до поросенка, может быть и в постели они проявляют соответствующие качества? Ржут как лошади? Визжат как поросята? Кричат как кошки и стонут как совы? А мужчины рычат, как разные дикие звери. Это было бы очень кстати, потому что всякий раз, когда я приглашаю даму в наш средневековый амбар, главный страх — соседи услышат. Я имею в виду, звуки в спальне. Но кто заметит, блеет ли еще одна овечка или запел не вовремя петух? До этих звуков, однако, дело не доходит. Какую даму ни заманишь с конюшни в сарай, разговор начинается и заканчивается одним и теми же вопросами: «Когда Вы уехали из России?» — «Нравится ли Вам Англия?» — «Как Вы сумели так хорошо выучить английский?» — «Когда Вы собираетесь возвращаться в Россию?» Тебя всегда воспринимают тут, как будто ты прибыл в Англию вчера. И собираешься отбыть на следующий день. На первые три вопроса уходит по крайней мере пару часов свидания. Если дама задает четвертый вопрос, я ее отсылаю обратно на конюшню.

Не я один испытываю подобные трудности в общении с женщиной как некой инкарнацией домашнего животного. Неудивительно, что некоторые люди вообще предпочитают иметь дело непосредственно с животными, напрямую, так сказать. Возьмем, к примеру, Льва Николаевича Толстого.

«Ей отворили дверь, я не узнал ее, как она помолодела и похорошела. Она обнюхала меня, фыркнула и

начала гоготать. По всему выражению ее, я видел, что она меня не любила».

Это он про общение кобылы с Холстомером. Тем, кто считает, что классик преувеличивал, стоило бы поглядеть, как флиртуют и резвятся друг с другом лошади у нас на лужайке перед сараем. Я наблюдал, как они заигрывают друг с другом по разные стороны изгороди. Часть изгороди заросла высокими кустами. Они разгонялись, специально начиная там, где им друг друга не видно из-за кустов, чтобы выскочить на открытое пространство, гарцуя и вставая на дыбы, вертя задом и хвастаясь друг перед другом своими вокальными способностями в заливиستم ржании. Вдруг оба замолкали, застывали, встав вплотную по разные стороны изгороди, и через мгновение начинали бешено тереться мордами, шеями на перекрест. Могу поручиться, что в этот момент глаза кобылы начинали светиться странным блеском, как будто смеясь. А у коня тут же между ног вырастал и тянулся к земле гигантский залог лошадиной любви. В такие моменты легче понять склонность императрицы Екатерины Великой к эквестрианальным утехам.

Наша коза Каламити, в малолетнем возрасте была вся розовая, с нежнейшем пушком и изящной шеей. Леди Филлимор позволяла ей ночевать прямо на софе перед камином. Ее бедра настолько приближались к женским (я имею в виду еврейских женщин с широкими бедрами и тонкими лодыжками; у англичанок лодыжки наоборот делают их ноги похожими на коровьи), что однажды, после новогодней попойки, я решил пристроиться на софе и в пьяном состоянии стал машинально ласкать эти ноги, не разглядев рогов на голове, пока меня не пнули копытом куда следует. История, вроде эпизода с пьяным пейзажником из шекспировского «Сна в летнюю ночь», когда он, проснувшись, понял, что у него голова осла.

Уж если речь зашла об искусстве, возьмем сурка. «И мой сурок со мною». Помните? «Давно по свету я брожу, и мой сурок со мною». Это песня савояра. Такого саво-

яра можно увидеть на картине Ватто. Стоит савояр с шарманкой и на плече у него сурок. Сурок на плече у шарманщика, как комментируют историки, вытягивал наугад своей лапкой бумажки-индульгенции с разными прочерствами для развлечения публики. Но специалисты по Ватто утверждают нечто большее: в мифологии той эпохи сурок — это сексуальный символ, вагина; обратите внимание на фаллический символ — посох в руках савояра, призывают эти хитроумные комментаторы. Особой фантазии тут не требуется: поглядите, чем занимаются ослы и обезьяны на картинах Иеронима Босха. А что выделявали с сурками во время гомосексуальных оргий древнего Вавилона? Слава богу у этого животного есть хвост, чтобы вытащить его обратно на белый свет. И мой сурок со мною.

Никаких песенок в этом роде насчет турнепса мне неизвестно, но аналогичная история с этим овощем произошла в Лондоне. Хирург, извлекая турнепс из недра наслаждений одного бисексуального индивида, посоветовал изобретательному молодому человеку в следующий раз не отрывать от овоща ботву. Уверен, что наш барон Джулиан продает свои натурально возвращенные турнепсы непременно с ботвой. Еще один аргумент в пользу органического земледелия. В сравнении с этими готическими ужасами классические развлечения женщин с миром овощей — сама невинность. Мы все улыбаемся, когда женщина берет в руки огурец, банан или заурядную морковь. В этот момент мы хотели бы быть этим бананом, огурцом, заурядной морковью. Но я, разгуливая по полям и конюшням вокруг амбара «Кривой Рог», хочу быть еще и козой, и конем, и собакой и ослом: я хочу быть частью этого мира, и если сами люди меня не принимают, я готов слиться с ним, став фауной и флорой.

Далекие и близкие

Безумие англосаксонской цивилизации — в маниакальной попытке добиться минимума зависимости от соседа при максимуме возможных контактов. Вот этим

все и кончается: думаешь, надо бы пригласить, давно не виделись. Но тут же мысль: ну придет, выпьем, а дальше что? Кого, собственно, звать в гости? Все это закончилось Интернетом: каждый сидит у себя в четырех стенах, как сыч, и нажатием кнопки может общаться со всем миром. Это общение взаимозаменяемо всяким другим. Мы все превращаемся в фикцию. И эта фикция отражается в ежедневном быту. Когда мы видим наших бывших соседей по Южному Лондону на другой стороне Темзы (Анну и Мартина), мы бросаемся друг другу в объятия, как будто мы ближайшие родственники. Но как только закрывается дверь, они перестают для нас существовать. А мы — для них. Чтобы снова возникнуть еще через год, как ни в чем не бывало. Сегодня ты — любимый человек, а завтра о тебе ни слуху, ни духу. Куда они деваются в промежутке? В каком интернете проживают? Или вообще нигде? То есть, Интернет — это и есть по сути своей интер-НЕТ, т.е., когда никого нет в международном масштабе.

Может быть, в этой прерывистости общения — залог вечной дружбы? Если это так, подобная любовь и дружба не нужна моей жене Нине Петровой:

«Зачем все эти коктейли и партии-компании? Чтобы еще раз объяснять совершенно незнакомому человеку, когда и почему я уехала из России? Чтобы он потом пригласил тебя в едва знакомую компанию, где полузнакомый человек будет спрашивать меня, когда и почему я приехала в Англию?»

«Но это не вопрос», защищаю я англичан. «Это приглашение к разговору. А ты не хочешь делать второго шага. Если у тебя никто не вызывает любопытства, ты не вызываешь любопытства у других. Если ты никого не хочешь впускать в свою жизнь, с какой стати другие будут делиться своей жизнью с тобой?»

«Откуда они знают, что я не хочу? Как можно почувствовать эротическое возбуждение, когда тебя ничто и никто не возбуждает?»

«Можно любить того, кто тебя не любит, и даже не знает, что ты любишь его. Чего в этом необычного?»

«Но тогда мое общение по-английски ничем не отличается от моих мыслей о московских знакомых: они исчезают, как только я перестаю о них думать», говорит Нина.

«Чего же ты хочешь?» спрашиваю я Нину Петрову. «Ты хочешь чтобы как в России? Непрерывно разговаривать по телефону, проверять каждый шаг близкого человека, непрерывно дышать ему в затылок, теревить ему сердце, терзать душу — этого ты хочешь?» Нет, Нина Петрова этого не хочет. Она от такой тесной духовки отвыкла. Она хочет говорить со мной в пабе по-русски, но при этом чтобы ее считали за свою. Она, как Шотландия, хочет жить совершенно сепаратно, но при этом чтобы быть в центре событий. Все мы немножко шотландцы, они же — Scots. Все мы, то есть, немножко скоты. Но при этом скот скоту рознь. Например, что такого привлекательного в нашем осле? Почему ему хочется совать в рот морковку? И жует все время, эгоист. Почему молодые лошадки ходят за этим старым седым ушастым четвероногим? Физиономия у него — сплошной, можно сказать, длинный нос, точь-в-точь — восточный еврей. Упорный, несговорчивый, углубленный лишь в самого себя. Меланхолик. Может быть, в этой семитоподобной меланхоличности и одновременно индифферентности — залог его успеха? Недаром ослы по своей породе — животные ближневосточные. Как и в случае с иудеями, его внешность — это целый миф: как если бы премудрость сотен поколений — или их тупоумие — воплотились именно в нем.

Осел Нэд поселился в «Кривом Роге» одним из первых, и когда глядишь на него, перед глазами неизменно встают образы милых близких тебе существ. Многих уже нет на свете, но я вспоминаю о них постоянно именно тогда, когда смотрю на осла Нэда, обгрызающего вместе с лошадьми кору дуба. Ничего оскорбительного или неожиданного в этой ассоциации теплых чувств с ослом я не вижу. Вспомним, в конце концов, Апулея — о метаморфозах осла и эротических последствиях такого рода перевоплощений. Наша память о любимых близ-

ких воплощается в самых неожиданных предметах. Недаром Титания, обрызганная Обероном в спящем состоянии любовным эликсиром в шекспировском «Сне в летнюю ночь», пробудившись, влюбляется в осла. А смерть — не более, чем затянувшийся сон.

Не следует думать, что во внешности тех, о ком мы вспоминаем, глядя на осла, есть нечто ослиное — нет, это вовсе не так. Осел не похож ни на одного из них. Но в осле проявляются черты тех, кого мы любим. Даже такая безупречная по своей внешности и грациозности женщина как моя жена Нина Петрова — и та каким-то образом проглядывается в неопрятной ослиной физиономии. Это не они похожи на осла — это мы в осле видим тех, кого связываем по своему бытийному опыту с этим животным. На осла похож философ Александр Моисеевич Пятигорский — как и осел Нэд, он исповедует не субъективный идеализм, а субъективный эгоцентризм: «Твои друзья — мои друзья, а мои друзья — это мои друзья», — как сформулировал эту философскую позицию заклятый друг профессора Пятигорского, Игорь Наумович Голомшток. И его умудренные черты тоже можно разглядеть в ослиной физиономии. На осла похожа конюшенная Линда и ее муж Дэвид, наш сосед шотландец Питер-компьютерщик и его супруга Финелла, и друг Иосифа Бродского, Диана, и сестра леди Марии, Вера. Даже диссидент Буковский, хотя он в «Кривом Роге» не был уже лет десять. И лошади и куры и гуси и коза. И лорд Робин, и его пес Попик, и его мать — покойная леди Анн. Все. Когда я изложил эту свою концепцию перевоплощений, моя жена Нина Петрова сказала:

«Ну вот и пригласим на Новый год осла. Больше никого, получается, и не надо?»

Кошки-мышки

Есть такой анекдотический эпизод из жизни Льва Толстого и его личного секретаря Черткова. Сидели они в саду и обедали, рассуждали о пацифизме, и вдруг

Чертков ни с того, ни с сего как шлепнет Льва Николаевича по лбу — тот чуть под стол не упал. Челядь решила, что сейчас драка будет: до чего только не доводят мирных интеллектуалов споры о пацифизме. Но Лев Николаевич, посмотрев на Черткова укоризненно, сказал: «Зачем же живое существо убивать?» — и стряхнул со лба расплющенного комара.

Я вспомнил эту апокрифическую историю в связи с тем, что один из гостей в нашей загородной резиденции стал утверждать, что святых и отшельников даже комары не кусают. Они как бы даже и не пахнут, и кровь их настолько безвкусная, невинная и, можно сказать, вегетарианская, что совершенно не привлекает комаров. То есть святому человеку не приходится сталкиваться с толстовской дилеммой: убивать или не убивать летающего кровососа? Про комаров и отшельников мы в свою очередь заговорили в связи с конфронтацией кошек и мышей. В тот день мы все проснулись от ужасающего вопля. Кричал с утра наш гость Саймон Уолдрон. Он требовал, чтобы его жена Ира немедленно вернула ему туфлю. Ира эту тяжелую туфлю вырвала у него из рук, когда Саймон хотел прикончить этим предметом полевою мышью.

Мышь лежала, полудохлая, у дверей с видом на лужайку. Ее там аккуратно положила кошка Линды из конюшни: кошки любят продемонстрировать людям свои боевые трофеи. Мышка еще шевелилась, и Саймон страшным голосом орал, что ее надо немедленно прикончить туфлей. Мы с моей женой Ниной Петровой были против: у мира животных свои законы, у людей — свои. Пусть животные сами разбираются. «Но больных лошадей тоже убивают, не правда ли?» сказал Саймон. Я возразил на это, что лошадь — моя, я за нее отвечаю. Мы в ответе за прирученных. А кошка живет, где хочет, и гуляет сама по себе. Нечего брать на себя роль Бога и распространять свою власть на мир, где ты лишен права прописки и права на участие в выборах. Пусть кошка сама решает, кого убивать, а кого оставлять в живых. Саймон сказал, что его не интересует иерархия ответ-

ственности между Богом, человеком и кошкой с мышью. «Мышь все равно обречена. Я вижу ее страдание и я хочу этому страданию положить конец».

Я обвинил Саймона в эмоционализме. Его действия диктуются не моральными постулатами, а эмоциями. Откуда он знает, кто страдает, а кто вообще нет, кто больше, а кто меньше? После войны одни считали, что страдали евреи, а другие, что страдать приходилось простому честному немцу. Как можно определить, руководствуясь этими эмоциями, кто жертва, а кто — мучитель? В конечном счете, все друг друга переубивают, потому что страдание — относительно. Саймон ответил на это довольно воинственно, что всем прекрасно известно, кто жертва, а кто мучитель, и что страдание относительно лишь для тех, кто верит в библейскую теологию, согласно которой одних надо убивать, а других не надо, у одних вырывать глаз, а у других — зуб.

«В моей теологии», сказал он, закутываясь еще плотнее в махровый халат, «страдание — абсолютно, как и сочувствие к страданию, и от этого страдания надо избавляться, вне зависимости от того, кто страдает и почему. Я просто не могу вынести зрелища самого страдания», заключил он, поглядывая на мышку в предсмертных судорогах. Тогда я взял лопату, подгрел мышью и выбросил ее в кусты за изгородью, избавив, таким образом, Саймона от страдания лицезрения страдания. «Но ведь твои действия ничем не отличаются от моих: ты же вмешался в судьбу мыши. Ты выбросил ее через забор. Но выбросил ты ее снова в лапы кошке!» грустно констатировал Саймон. Все это время Ира, жена Саймона, молчала. Она при этом, не отрываясь, смотрела на мужа широко открытыми глазами. В них читался ужас. Наконец она сказала:

«Ты осознаешь, что ты несешь? Ты перетрогал руками эту полудохлую мышью. Сегодня ночью кошка прыгнет на тебя во сне и перегрызет тебе горло, решив по запаху, что ты и есть мышью. Наутро мы соберемся вокруг тебя и будем решать: добить ли тебя или выбросить за забор полудохлого?»

Ира Уолдрон — художник-концептуалист и увлекается стилистикой больничных стендов. Она знает, что говорит. Не успели мы заснуть в ту ночь, как нас снова разбудил вопль. Мы думали, что Саймона действительно загрызла кошка. Выяснилось, что Ира увидела в ванной огромного паука. Убивать пауков, как известно, дурная примета. Тем более они поедают мух и комаров. Но жить с ними — тоже ведь страшно. Что делать? Может, кошка поможет?

О фазанах и диссидентах

Новый год в «Кривом Роге», когда там царила леди Мария, мы привыкли справлять в русско-шотландском духе — с виски, но при этом со «столичным» салатом. А главное блюдо на Рождество — фазаны. Из всех возможных видов дичи, английские трудящиеся на Рождество предпочитают индейку. Может быть потому, что массы всегда гонятся за всем новым, а индейка — это американский экспорт, как-никак из Нового Света. Старосветские же английские помещики и вообще традиционалисты-англофилы предпочитают рождественского гуся. Его, якобы, ели еще до норманнского нашествия, то есть, как бы в параллель русской истории, в допетровскую эпоху. Есть такие, кто даже утку предпочитает индейке, но таких мало: утка — не столь внушительна как гусь, и вообще слишком заурядна; там, где утка, там и курица, а курица — как известно, не птица, то есть не дичь. Фазанов же в Англии едят эксцентрики, причем не бедные, потому что фазан — дичь, как известно, не самая дешевая.

Мы приучились к фазанам, поскольку в поместье покойного лорда Робина дичь поставлялись к столу прямо из семейных лесных угодий Филлиморов. Их отстреливали в массовом порядке во время охотничьих сезонов. Сам Робин уничтожал фазанов на тарелке с ненавистью, я бы сказал, расиста: он презирал их в живом виде — не как кулинарное блюдо, а за их породу, их происхождение и образ жизни. Он однажды провел

меня по фазаньим загонам. Фазанов разводят за колючей проволокой, как в концентрационном лагере. Причем проволока под электрическим напряжением, и затеяна эта электрификация фазаньего концлагеря — против собак, кошек и других бродячих животных, чтобы они туда не лезли. Эти наивные английские домашние существа гибнут ради летающих тварей довольно-таки сомнительного происхождения. Фазаны, как известно, были завезены на Альбион бог знает откуда — из Цейлона или Таиланда, короче, из тех псевдонародных республик, где царствует жесточайшая азиатчина и тирания.

Чем южнее страна, тем хуже там обращаются с кошками и собаками. Нигде я не видел такого количества ободранных бродячих кошек, как в Португалии. Я видел, как жутко выглядят бродячие собаки на Мальте. С другой стороны, там совершенно не найти диких птиц разумных размеров. Мужчины бродят с двустолками и ищут, в кого бы пальнуть. От отсутствия подходящей мишени они отстреливают миниатюрных птичек, что-то вроде колибри, похожих, скорее, на бабочек, чем на птиц. Робин одно время сотрудничал с обществом «Друзей земли» и боролся за гармонию в отношениях между людьми и животными. У него возникла даже идея обменивать английских фазанов на мальтийских собак — по крайней мере тамошним мужчинам будет в кого стрелять безнаказанно.

Это от меня он узнал, что эпидемия бешенства среди собак в Советском Союзе всегда совпадала с очередной сталинской компанией борьбы с внутренним врагом. Именно поэтому он увлекся борьбой за права российских диссидентов: чем больше диссидентов попадет в тюрьму, тем больше домашних животных — собак и кошек — лишаются хозяина, становятся бездомными, бродячими и подозреваются в бешенстве. У него даже возникла идея обмена советских диссидентов на английских фазанов. (Вот почему он, в конце концов, и женился на леди Марии — родом из России.) Эта программа гуманитарной помощи так и осталась неосуше-

ствленной. Лорд Робин скончался около десяти лет назад: одновременно с развалом советской системы.

Советские обвинения в бешенстве среди собак сменились домыслами о бешенстве английских коров со стороны лидеров Европейского Союза. Как будто коммунизм, по закону сообщающихся сосудов, уйдя из одной части света, переместился в другую. Теперь враги британской говядины взяли под крыло фазанов. В свое время именно противники охоты на фазанов и пальцем не пошевельнули ради спасения бродячих собак и диссидентов. Сейчас они выступают против так называемого «кровавого спорта» — охоты на обитателей лесного царства. Это те, кто готов убить половину человечества во имя торжества вегетарианства во всем мире.

Именно они и были яростными сторонниками нового лейбористского режима в Великобритании. И неудивительно: фазанья охота считается эксцентрической прихотью аристократии. При этом забывается, что семьи сотен егерей, лесников и фермеров, лишившихся работы, останутся на Рождество не только без фазана, гуся или демократической индейки — но даже без курицы. Затем компания перекинется на куропаток, вальдшнепов, перепелок, диких голубей, в конце концов. Затем на рыб. Русский экстремист Лев Толстой был против убийства мух и комаров.

Пробовали ли вы крысу на Рождество?

Категорический императив

Мы уже знали, что леди Мария решила избавиться от амбара: поместье Филлимооров согласилось выкупить у нее «Кривой Рог», как бы по его рыночной цене, чтобы сдавать нуворишам за дикие деньги, выплачивая леди Марии соответствующий процент. Так или иначе, мы уже давно знали, что нас тут скоро не будет; и, тем не менее, мы продолжали вести себя так, как будто остаемся в «Кривом Роге» до конца дней. Мы с Ниной Петровой все так же безжалостно расправлялись с

вездесущей мятой у забора — она распространяет свои корни с каким-то эмигрантским рвением на несколько десятков метров вокруг. Обжигали руки, выдирая крапиву. Обрызгивали сорняки, пробивающиеся сквозь гравий. Обрезали розы. Поливали газон. Очищали лиловые цветы ломоноса от вьюна. И вообще занимались хозяйством: чинили капающий кран, закрепляли черепицу крыши, смазывали дверные петли, чтоб не скрипели. Зная при этом, что все это уйдет из наших рук не сегодня-завтра. Откуда у нас такая забота о тех, кто придет на наше место в «Кривом Роге»? Не думаю, что мы проявляем такую щедрость и благородство просто по доброте души. Мы вообще не думаем, что тут будет жить после нас. Во всяком случае, это будут люди с состоянием. У них найдутся деньги и на садовника, и на кусты роз. Может быть даже посадят пальму. Нам нечего беспокоиться.

Но, может быть, мы хотим выглядеть безупречными собственниками загородного особняка в глазах соседей? Боимся, что подумает о нас Питер, то и дело подглядывающий из-за забора: подстригли мы газон или нет? Существует ли объект сам по себе, или же он существует лишь в определенном окружении людей, лужаек и домашних животных? В наших или в чьих-то еще глазах?

Но нам вроде бы наплевать на соседей. Внушена ли эта страсть к наведению порядка в саду свыше, или же это просто механический — муравьиный — рефлекс выживания? Небесный ли это долг или же общественная обязанность? На эти вопросы у нас с Ниной Петровой пока нет ответов. А у вас?

«Англичанин живет, чтобы постоянно перестраивать быт», сказала Нина. «А русский человек перестраивает быт, чтобы жить. В результате русские люди живут в свое удовольствие, а англичане чего-то все время перестраивают, перекрашивают, окучивают, выпалывают, ремонтируют».

«Не все, однако, англичане такие рабы добропорядочности, конформизма и общественного инстинкта»,

сказал я, имея в виду в первую очередь еще одного соседа — Джека. Джек снимал у Филлиморов огромный дом по соседству — через поле, по дороге к пабу. Его дом постепенно зарастал разным барахлом. В конце концов весь дом и даже участок вокруг него превратились в одну гигантскую кучу хлама. Он начал с того, что собирал на всех помойках и нес к себе домой пустые бутылки разных размеров и форм — от обычных пивных, до бутылей из-под краски или гигантских канистр с химикалиями. В этих бутылках он варил самогон собственного рецепта.

Спирт и самогон были его страстью: он сделал деньги на том, что в свингующие шестидесятые занимался контрабандой виски из Шотландии в Алжир, откуда — из Алжира — он контрабандой ввозил в Европу дешевые сигареты. Запасы самогона росли со скоростью дрожжей, из которых этот самогон изготавливался. А из чего он изготавливался никто не знал: из плодов и ягод, собранных с окрестных кустов вдоль дороги? Или из опилок, свезенных из местной фанерной фабрики близ Рединга? Из лошадиного навоза? Этого сказать никто не мог, даже сам Джек. Он был постоянно нетрезв. Более того, самогон производил удивительный эффект на мозги. Этот эффект можно было сравнить лишь с действием алжирского вина «Солнцедар» (в Москве лет тридцать тому назад): это вино отправлялось в Россию в цистернах из-под алжирской нефти. Ощущение от глотка «Солнцедара» — как будто сунул два пальца в электрическую розетку. Именно в этом — в полной отключке мозгов — и состояла главная цель покойного лорда Робина в период его перевоплощений во Второе пришествие Спасителя. В такие периоды он любил, чтобы его называли Лорд, что по-английски означает и «лорд» и «Господь Бог». С отключенными мозгами вторая интерпретация воспринималась им как более убедительная.

Мы поэтому часто навещали все вместе Джека и его жену филиппинку. Он ее тоже ввез контрабандой в Англию, и сражался за нее в судах с английскими эмиграционными властями. Денег на это и на другие развле-

чения у Джека не хватало. Поэтому он приторговывал запчастями и подержанными автомобилями. Точнее, у него на этот счет были обширные планы. С этой целью он свозил к себе на участок — заодно с пустыми бутылками — старые машины и запчасти. В конце концов вся территория вокруг превратилась в свалку автомобилей.

Это не прошло незамеченным для управляющих помещьем Филлиморов. Сначала они пытались увещевать Джека. Бесполезно. Потом решили расторгнуть с Джеком контракт на долгосрочный съем дома. Контракт кончался через три года и помещье угрожало этот контракт не продлить. Джек решил провести эти оставшиеся три года с максимальной эффективностью. Он завез на свою территорию свиней. Свины питались самогоном, а Джек и его филиппинка питались свиньями. Навоз не убирался: чтобы удобрять землю под культивирование неких плодов для производства самогона и прокорма свиней. Запах стал распространяться на многие мили вокруг — по всему помещью Филлиморов и за его пределами. Никакие адвокатские угрозы не помогали: всё происходило в рамках законности, без нарушения условий контракта по съему дома. В конце концов семейству Филлиморов ничего не оставалось как откупиться от Джека и его самогонных свиней. Джек получил — можете себе представить? — два миллиона в качестве компенсации! При условии, что он оставит дом, возьмет с собой свиней и бутылки с самогоном, и больше никогда в жизни не поселится на территории помещья. И Джек согласился. На два миллиона можно целый ликеро-водочный завод купить.

Так что не все англичане только и делают, что подрезают розы, чьим запахом будет наслаждаться кто-то другой.

О субъективном идеализме

Перемена географического местоположения придает ежедневной рутине новую перспективу и приводит к метафизическому пересмотру собственного положения

в жизни. Перед Рождеством мне приснилось, что я сижу рядом с отцом на лужайке перед нашим загородным амбаром в солнечный летний день.

«Зачем все это?» спрашивает отец, сидя в удобном кресле и меланхолично глядя на подстриженный газон.

«Зачем — что?» Я делаю вид, во сне, что ничего не понимаю. На самом деле я сразу все понял. Даже во сне.

«Зачем все это», повторил отец, «вся эта жизнь, зачем она?»

«Отец», сказал я с умудренной укоризной в голосе. «Ты жутко счастливый человек, если впервые за свои восемьдесят с лишним лет догадался, что это занятие под названием жизнь лишено какого-либо разумного смысла. Ты должен радоваться, что твоя четвертая жена — красивее и умнее всех предыдущих, что ты пережил советскую власть в конце концов! Кто бы мог подумать, что в один прекрасный день ты будешь сидеть в комфортабельном кресле посреди английского газона?»

«Да, но все это иллюзорно,» вздохнул отец скептически. «Все это временно, преходяще, все это исчезнет, потому что скоро меня не будет».

«Во-первых, может быть, скоро не будет меня», сказал я (я во всем любил быть первым), «а во-вторых, почему ты считаешь, что все это исчезнет? В том-то и трагедия, что ты уйдешь из этой жизни, а газон останется. И это кресло, на котором ты сидишь, тоже останется. И на нем будет сидеть кто-то другой».

«Вот-вот. Это и ужасно. Я уйду, а все останется. Какой же в этом смысл?»

«Ты знаешь», осенило меня, «бывают материалисты, бывают идеалисты, объективные или субъективные. Ты же, по-моему, материалистический эгоист: ты хочешь забрать весь мир с собой на тот свет».

«Наше поколение никогда не интересовало материальная сторона вещей. Мы были поколением идеалистов. Совершенно объективных. Мы всегда думали только о светлом будущем», возразил отец. «А кто такие субъективные идеалисты?»

«Это те, кто считает, что мир существует лишь в нашем воображении».

«То есть и газон, и кресло — это все в нашем воображении?»

«И дом, и дорога, и небо — все в твоём лишь воображении».

«То есть, когда я умираю, все это исчезает вместе со мной?» оживился отец.

«Да. Весь мир. Абсолютно все», подтвердил я.

«И это кресло?» уточнил отец.

«И кресло», кивнул я утвердительно.

«Удобное, между прочим, кресло», задумчиво сказал отец, поглаживая подлокотники. «Ты знаешь, пожалуй, я — субъективный идеалист». Лицо его разгладилось в удовлетворенной улыбке. «Жизнь, ты знаешь, не такая глупая штука. А не прогуляться ли нам до паба через поле?»

Ничто так не уводит прочь от России (из собственного прошлого), как дорога через английское поле к деревенскому пабу. Это дистанция: от родного языка до непереводаемого иностранного оригинала. Слово *pub*, транскрибированное по-русски, тут же превращает то, что видит глаз, в некую переводную литературу. Я пишу на языке, который непонятен в стране, где я живу. Я пишу о том, что до конца непонятно в стране языка, на котором я пишу. Я всегда не совсем там, где мой читатель. Мое сердце всегда не совсем там, где моя тема. Моя душа отделена от тела, от места жительства. Глядя на меня со стороны, люди из России думают, что я — в Англии. Так воспринимается актер на фоне декораций березового леса. Из зала кажется, что он — среди берез. Но актер знает, что между ним и холстиной задника — непреодолимая пустота, дистанция между иллюзией и реальностью, между переводом и оригиналом. Я существую в Англии лишь в воображении тех, кто в Англии не находится.

Я проснулся. Отца рядом не было. Осознав это, я взглянул на собственную тень на лужайке, и вдруг понял, насколько она похожа в профиль на моего отца.

Может быть, это была вовсе не моя тень. Это была тень отца Зиновия Зиника. Она двигалась следом за мной к пабу. В моем воображении.

Безналичный расчет

Всему на свете приходит конец — даже нашему пребыванию в чужом загородном доме. А мы-то думали, что будем вечно встречать Рождество и Новый (включая русский Старый Новый) год в средневековом амбаре в аристократическом поместье. Однако в этом году леди Мария, проживающая в России, воспользовалась хитроумной возможностью избавиться от этого загородного дома (который она не могла ни продать, ни сдать в наем): «Кривой Рог» будет возвращен поместью Филлимооров за определенную мзду. Поместье как бы выкупает у нее этот амбар по рыночной стоимости. Но самих денег не выплачивает, а выплачивает процент с этой теоретической суммы, как если бы деньги от продажи были вложены в акции. В общем, как вы поняли, речь идет если не о фиктивных, то явно совершенно гипотетических суммах, хотя и реальных при этом выгодах.

Это всегда так у людей по-настоящему богатых: наличных денег они, по сути дела, никогда не видят — деньги у них перемещаются с одного невидимого счета на другой. Деньги существуют и одновременно как бы и не существуют, вроде кварков из ядерной физики. Кому кварки, а кому шкварки. Но шкварки по безналичному расчету не купишь. Они вроде жареной, по-английски, рыбы с жареной картошкой «фиш-энд-чипс» продаются в таких заведениях, где кредитные карточки не принимаются, а только башли, баксы, стерлинги — наличность, короче. по-настоящему богатые люди даже кредитные карточки не признают. Зачем им кредитная карточка, когда кредит и так существует за красивые глаза? А у леди Марии глаза очень красивые. И у лорда Робина были тоже очень красивые глаза. Но даже за такие красивые глаза не получишь ни шкварков, ни пива

с виски в пабе. Тут поможет только приятель. Собственно, приятели всегда выручают, и у богатых людей приятелей гораздо больше, чем у бедных. У бедных людей зато вместо кредитных карточек есть наличные.

За лорда Робина приходилось периодически платить в пабе его собутыльникам, хотя он был прямым наследником грандиозного состояния семейства Филлимооров. А от пабов его невозможно было оттащить, особенно когда он входил в очередной «мессианский» период. В такие дни он воображал себя Спасителем. Не тем, которого распяли, а его будущим воплощением, вторым пришествием. Чтобы ускорить перевоплощение, он переставал есть и начинал пить и курить гашиш. Эти средства перевоплощения можно было легче всего приобрести в подозрительных пабах западного Лондона, в районе Notting Hill. Там есть улица и переулки Филлимооров, и поэтому местные негры, торгующие гашишом, называли Робина «наш лорд». В свои «мессианские» периоды лорда Робина устраивала, естественно, именно вторая интерпретация «нашего лорда», особенно под Рождество. В клубах марихуаны он зачитывал наизусть ошарашенным неграм религиозные откровения Джона Донна и Джерарда Мэнли Хопкинса. В такие минуты ты сразу понимал, что деньги не имеют никакого значения — лишь слова.

В такие периоды Робин способен был (ради красного словца) промотать все семейное состояние. Именно поэтому его и лишили права самолично распоряжаться наследством. Он был под опекой. Опекунский совет практически не ограничивал его в количестве лошадей, автомобилей, костюмов или загородных домов. Но с наличными дело было хуже. Наличные выдавались еженедельно. Этой еженедельной суммы никогда, естественно, не хватало. Опекунский совет возглавлял дядюшка Робина. После смерти Робина выяснилось, что дядя позволял себе разные крупномасштабные финансовые вольности, субсидируя свои германские любовные увлечения. Он, можно сказать, на деньги Робина субсидировал германский бюджет, то есть воссоедине—

ние двух Германий. То есть в конечном счете — германский реваншизм.

Германский бюджет — еще один пример манипулирования цифрами на бумаге. Но в некоторых обстоятельствах не поможет даже дядюшка Робина. Если у тебя бюджетный дефицит превышает определенный минимум (утвержденный, кстати, самой Германией), то тебя не возьмут в монетарный Европейский союз, пусть ты — европейская сверхдержава, которая этот самый союз и выдумала. Немцев губит собственная дотошность в документации (как в случае с геноцидом евреев: кто их просил все записывать?). Чтобы обмануть самих себя — собственный бюджет, — Германия решила устроить переоценку национальному золотому запасу. За долгие годы цена золота на международном рынке поднялась, и германский канцлер решил, что разница в цене и покроет бюджетный дефицит. При этом ни золото, ни бюджет никуда не деваются: национальный золотой запас никто продавать не собирался, просто происходит переоценка ценностей в глазах германского населения и всего остального мира. Этот еще один пример субъективного шарлатанства — как ты выглядишь в чужих глазах. Все делают вид, что они тебе верят — твоей финансовой непогрешимости и солидности — во имя фиктивного европейского единства.

Хотя все это — лишь плод финансового воображения, количество золота в марке, как объясняют нам финансисты, формально уменьшается. Но это лишь формально. Символически. Чтобы показать миру, что Германия ради европейского единства готова пожертвовать символической стоимостью своей сверхтвердой немецкой марки. Этому европейскому единству в качестве валюты и навязывается, по сути дела, все та же немецкая марка. Только называться она будет евро. То есть скрывается за этим якобы европейским символом все тот же посконный германский реваншизм. Для англичан даже самое название новой валюты неприемлемо: на слух это самое евро звучит по-английски как все слова, связанные с иго, то есть с урологией. Европейский союз

воспринимается англосаксонским сознанием как урологическое заболевание. Но мы-то, люди России, знаем, что скрывается в звучании будущей европейской валюты — евро: евреи то есть. Это все было предсказано в «Протоколах сионских мудрецов», между прочим. И содержится в пророчествах Апокалипсиса: о пришествии не Мессии, а Сатаны. Одно из свидетельств подобного оборота событий — наличие у каждого человека номера. Но только этот номер — не как в немецком концлагере: это просто-напросто номер твоей кредитной карточки. Недаром кредитную карточку не принимают в английском пабе — последнем оплоте в нашей вечной войне с безналичным расчетом.

Куча барахла

Перед отъездом из «Кривого Рога» мы разбирали барахло. Шкаф со старыми вещами. В какой-нибудь сломанной пуговице, в стертой монетке, в каком-нибудь завалющем ремешке, в пылинке дальних стран на карманном ноже вдруг угадываешь великие встречи прошлого, слышишь прежние споры. Вещи обрастают аурой воспоминаний, потому что воспоминаниям некуда деться, им надо за что-нибудь зацепиться. Со смелыми чувствами входил я во флигель (этакая избушка на курьих ножках, где в древние времена хранилическое убежище хронического алкоголика. Сюда он тайно сносил пустые бутылки выпитого виски. После его смерти сюда стали складывать всякое барахло — старые картинные рамки, битую посуду, сломанные кофеварки и электроприборы, носильные вещи.

Эту гору барахла мне предстояло разобрать перед отъездом. Я думал выбросить все одним махом. Но вытянул из горы хлама маленькую подставку для вареных яиц — замызганную, в слое пыли и жира. До нее противно было дотрагиваться. Но я с невероятным чувством пустоты, как будто сосет под ложечкой, — вот именно: под ложечкой! — вспомнил, что из этой самой

подставки ел ложечкой вареное яйцо по утрам Робин. Это от него я научился не разбивать — по-русски — яйцо, а срезать сверху, надколов его вокруг. И все прошлые праздники всплыли перед моим повлажневшим взором. В горле запершило. Я протер эту подставку тряпкой, вымыл, она засияла прежней фарфоровой ясностью, как глаза Робина — до того, как он стал окончательным алкоголиком. В куче хлама она была ничем. Отдельно взятый, этот предмет вновь обрел душу — душу Робина? Или его отца, который тоже ел яйца из этой самой подставки?

В шкафу обнаружили и старый пиджак Робина. На меня особенно действуют старые пиджаки. Они с годами как будто раздуваются изнутри памятью о человеке, который этот пиджак носил. Я уверен, что именно это ощущение было на уме у Герберта Уэллса, когда он описывал движение человека-невидимки по улицам — бестелесный пиджак, повторяющий каждым жестом и формой своих вмятин и вздутий тело своего хозяина. Они становятся такими же живыми, как и люди, с ними связанные. Когда умирает близкий человек, главный шок — не от того, что ты не можешь смириться с тем, что его нет. Наоборот: ужас как раз в том, что умерла часть тебя, твоей жизни, а ты продолжаешь ходить и разговаривать. Продолжаешь жить, хотя должен был бы сдохнуть от тоски. Человек ушел из жизни, а у тебя ничего не меняется. Ни у кого ничего не меняется. Разве это справедливо?

Действительно, не меняется ничего, если в уме приписать ушедшего к куче человеческого хлама нашего блистательного прошлого. Но если все время вытаскивать память о человеке из хаоса теней с того света, то понимаешь, что ничего, действительно, не изменилось в общении с ним, кроме системы отсчета — мер и весов этого общения. Точно так же, как англичанин-традиционалист видит в каждом сантиметре свои три дюйма и в каждом кило — свои фунты, так и мы в разных окружающих предметах расселяем ушедшего человека. Не память о нем, а его самого, физически. Это теория

сообщающихся сосудов, или водяного матраса: ты надавливаешь на один угол — другая сторона вспучивается. В России коммунизм кончился, в Европе только начинается. Призрак бродит по Европе. Человек уходит, а кресло остается. И мы, усевшись в это кресло, чувствуем теплоту близкого нам тела, близкой нам задницы, близкой души.

Мы стояли посреди опустевшего помещения, где мы провели столько лет. Оценщики оценивали старую мебель, антиквариат: леди Мария решила все пустить с молотка. Первым загрузили в пикап мое любимое садовое кресло. Сидя в этом кресле, я когда-то рассуждал о солипсизме. Собственно, кресло и воспоминания остаются для тех, кто не уходит, кто продолжает стоять здесь, на земле, перед кучей хлама из нашего прошлого. А для тех, кто уходит, вроде нас, ничего не остается. Что нас ждет на том свете — там, где нет «Кривого Рога» с дубом, лошадьми и удобным садовым креслом?

«Это все сентиментальная белиберда», сказала моя жена Нина Петрова. «Все совершенно наоборот: что бы ни происходило с вещами вокруг нас, остаемся именно мы. Человек никуда не девается. Сейчас увезут все: мебель, посуду, книги. Но, мы останемся. Кресло исчезает. Человек остается».

Все зависит, естественно, от одушевленности предмета. Если верить в категорию одушевленности. И в бессмертие души. Исчезнет ли наш сосед Питер, когда нас тут не будет? Пока мы выясняли этот животрепещущий вопрос, Питер возник собственной персоной у нас на пороге. В качестве прощального подарка он преподнес нам газонокосилку. Мы будем стричь газонокосилкой серый ковер нашей лондонской квартиры, воображая, что это — зеленый газон «Кривого Рога».

*Зиновий Зиник.
Лондон. 1999*



Василий АГАФОНОВ

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА

Вагон болтало. Пассажиры разбрелись по местам. Мы двинули к нижним полкам. Распахнули короба. Зашвырнули в них лодки. Лелик вынул кружки. Евгений бережно опрокинул бутылку.

— За наше счастливое детство.

Клюковка была хороша, но что-то никто не радовался. Соседи, в пузырями надувшихся шароварах, колупали яйца.

— Покурим, — сказал Евгений...

* * *

Черный хлеб, вот чего не хватало. Накануне обшарил я местные ларьки и те вдруг приоткрывшиеся щели, так вкусно дышавшие выпечкой. Что меня подвело, так это пятница. Народ рвался за город. Припасть к земле и картошке. И вымел ларьки подчистую.

Да, черный хлеб. Его подвезли прямо к поезду. В БМВ. Молодой Василек, огромный, с небрежно откинутым воротом черной рубахи, весело раздвинул толпу.

На пшеничной его груди желтела цепь толщиной в пулеметную ленту. Я помнил его пухлым, шкодливым ребенком, а нынче...

— Счастливого пути, — вручая теплые кирпичи «Орловского», сказал пулеметчик. Иронически оглядев наши старые ватники, Василек отмахнул рукой...

* * *

В тамбуре наконец-то мы были одни. Потолочная лампа тусклым светом мазала болотные стены. На поворотах гармонь перехода скрипела как голенище старого сапога. Бренчала дверь в железных сумерках. Под унылую ее песню бороздилось невнятное Подмосковье. Я оглядел товарищей, запятнавшее их время. Седины, морщины. Александр флегматично ковырял ногти. Женя задумчиво оглаживал фасонистую бородку. Лелик курил устало и равнодушно. Никакого воодушевления не выражали их потертые лица...

* * *

Накануне собирались. У Женечки. Простор, годами выверенное гостеприимство, кулинарные способности тещи делали встречу приятной во всех отношениях. Идти я решил пешком. На Садовом Кольце вместе с толпой ожидал перехода. Серый терьер бежал за каждой блестящей машиной. Бежал вплоть, рыча, кусая, почти ложась под колеса. Он истово делал то, чему его обучили. Как умудрялся он выворачиваться из-под колес? Всякий раз это было чудо. Тяжелой, рабочей походкой терьер возвращался к многоногой толпе. Морда его задиралась, выискивая в угрюмых лицах толику одобрения. Толпа равнодушно перетекала Кольцо. Пес уныло шагал вместе с ней. На другой стороне вновь начинал он свою безнадежную службу. Я завернул к Американскому посольству. Миновал оползающий домик Шаляпина, тяжкошинельных топтунов. Проследовав боковыми посольскими службами, внове отстроенной гостиницей и остатками недоломанных переулков, вышел к гранитным редутам «Белого Дома». Строение

это, одолжившее идею архитектурного величия у свадебного торта, несколько протяженно. Расстрельный мост, глухие воды Москвы-реки, гостиница «Украина». Квасная готика пополам с барокко. Почему-то сродная русским правителям. Завитушки и пампушки, но в вознесении. Кутузовский. Имперская тяжесть. Казенные цветы у профилей Брежнева-Андропова. Мебель из Фламандии... Смешение знаков и положений...

* * *

С Александром мы встретились у подъезда.

— Здорово, Влад, — только и сказал Шурик.

Бог знает сколько лет мы не виделись. Новые времена и здесь вполне себя заявили. Дверь подъезда, устроенная из нержавеющей стали, сидела намертво. Шурик позабыл отворотное слово. Шарили по стене, надеясь на каракули столь же беспамятной старушки. Шурик задумался. Отстучал код. Мы протянулись к лифту. Лифт заурчал. Двинулся на шестой этаж. Товарищи уже присутствовали. И все с дочерьми. Задымил застолье. Вспомнились потаенные годы. Дочери зарумянились...

— Нет, — принимая стопку, сказал Шурик, — мы тогда с Леликом поотстали. Продирались лесами. Без хлеба. Без денег. В Дивееве крали картошку. В Осинках — меняли хлеб на очки. За лук добавляли цветной гребешок...

— Что же ты так долго не ехал к нам? Снять с души американский свой камень?...

— Крест иерусалимский. От Ефимия на подворье. Собрались крестить урожденную Ленку... ну и сами заодно... обратились. Ленку в купель, нас из той же купели побрызгали...

— А в рубаше, что ты мне прислал, я пять месяцев работал. У татар. Столяром...

— Раньше как? Задвигали в пасть сырок плавленый, заливали портвейном, и PEOPLE крутил гайки. Куклы наверху махали руками, а PEOPLE внизу делал самолеты. Самолет полетел, упал. Все заняты...

— Дом он купил, у казаков. Ну, там где шапки и сало.

И закрутился. А ведь упреждали его: как можно меньше собственности...

— И холод, и голод все пережил. Но я еще молод и... (девочки, закройте ушки) положил...

— У самого синего моря сидел на песке дядя Толя...

— Знаем мы как он не пьет: ему вечером что ни позвони, в трубке одно бульканье...

— Иногда мне кажется, что пью я почти мало...

— Он теперь в Орехово-Зуево подался. На коньках, говорит, сквозит на работу...

— Сидит, загривок как у осетра, и сам жрет осетрину...

— Вот именно...

— С вновь обретенным попутчиком Колькой совершили наезд в старые места. Как всегда отмокали в Песча—хе, у Михаила Ивановича. Плыли в озеро, Волкотой. Жили на острове там...

И слезы, слезы у старого Евгения капали, капали! Почему Колька? А не Влад?!...

— Да, жизнь наша безвидна и пуста...

— Ну что, Влад? Едем на охоту? Последнюю, — грустно сказал Евгений...

* * *

В тамбур вошел проводник. Растворил дверь, двинул во тьму фонарем.

— До Мостовой? — Никто ему не ответил.

— Чего не весел? — Влад приобнял Лелика.

— Холодно, — возразил Лелик.

— На просторах нашей Родины.

— Моя Родина — Смерть.

Мы вернулись в купе, глянули друг на друга.

— Залегаете? — лениво предложил Шурик и полез на верхнюю полку.

* * *

Ночью жесткая рука потрянула меня за плечо.

— Мостовая.

— Снег, — удивился Евгений. Действительно, кто его ждал первого мая? Ночь пропитана креозотом. Снег

скрипит под резиновым сапогом. Валится под откос перемерзшая галька...

— Дрова можете взять у водокачки.

Дрова. Помещение станции сумрачно и пустынно. Черная колонна выставшей печки, треснувшее окно.

— Сиротство. — Лелик подходит к стене.

— «Я хочу промокнуть, продрогнуть и чтоб голова у меня сильно болела».

— Далеко задвинулся местный народ.

— А нет никакого народа. На место сели и сидят... На-се-ле-ни-е...

Надо досыпать. Вынимаем мешки. Оборачиваем ноги газетой.

Утро. Темные кучи мужиков у платформы. Лица их, как полоса отчуждения.

— Невозможно выдержать этот ужас, — говорит Шурик.

— Особенно с утра, — соглашается Женя.

— Так что, в ларек.

И Лелик сутуло шагает в ларек...

* * *

В два тела Женя и Лелик легли на путях. кое-как мы ковыляем к реке. Я и Александр.

— Влад, откати их. Поезд тронулся.

Я сбрасываю лодку. Берусь за хмельное туловище. Пячусь к насыпи. Колеса лениво стучат у виска. Евгений, не открывая глаз, сползает боком. Груда вещей наконец у реки. Тело там же. Снег. Деревья призрачны. Дали пусты.

— Влад, — замогильно говорит Лелик, — ты у нас теперь состоятельный. Зайди в ларек. Ведь нынче Пасха. Восславим... и соберем лодки.

* * *

Снег все идет. Лодки белы. Вода черна. Топляки кивают у поворота.

— Только ради тебя пошел, — скрипит Лелик. — Все-таки столько лет.

— Как день един.

— Кому день, а кому и ночь. Стой, опять топляк...

Лелик возится у костра. Крушит валежник. Я затеваю суп. Александр развязывает рюкзак. Вынимает тощие луковицы, морковь.

— Со своего огорода, — флегматично поясняет Шурик.

Мой рюкзак свеж, распираем иным товаром. Достаяю из глубин жестянку оливкового масла. Следом сыпятся расписные банки китайского чая.

— Итальянцы?

— Греки.

— А в этих банках чай?

— Чай.

— Когда пропьем — не выкидывай. Возьму дочке. Играть.

Лелик аккуратно расправляет и складывает яркие пакеты.

Ночь. Костер едва тлеет. И все молчат. Я разгребаю угли, бреду к палатке. Река тоже молчит. И звери. И прослезившиеся деревья.

* * *

Солнце встает веселее. Даже греет. Бревна кивают реке. Черные ветви завалов ходят в потоках воды. Поворот за поворотом наплывает прошлое. Затон. Здесь всегда брали щуку. Евгений ударяет веслом. Лодка раздвигает палый лист, утыкается в берег. Мокрый брезент ее дымится...

На затоне мы постоим дня два. Дальше пойдут обглоданные деревеньки, низкая вода, пороги.

— Вечером сходим на тягу, — выгружая ружья, роняет Женя. Лелик тычет сапогом кроткую землю. Выбирает место. Шурик вздыхает, садится на пеня, закуривает. Губы его вытягиваются, морщины забегают во впадины щек, темная ладонь мнет шершавую челюсть.

— Такие дела, Влад, — произносит он медленно. И я чувствую тяжесть ушедшего, отстоявшегося в простой этой фразе.

* * *

Вечер. Стараниями Лелика костер горит ровно и мощно. Чайник уставлен по третьему разу. Кружки полны, лица задумчивы.

— Пора, — говорит Евгений. Я поднимаю ружье. Небо в багрово-лимонном разливе.

Мы разошлись у края ольховника. Сумерки сплотились. Я едва различаю штормовку Евгения. Время опрокинулось. Лес недвижим. Резче тянет настой болотной прели. Чью-то судьбу выкликает печальная птица. Холод встает от земли. Сердце мое замирает...

Полная тьма. Гул выстрела долго ходит над лесом. Евгений. Он приближается, заминая ржавые травы.

— Что ж, не стрелял? — Он не ожидает ответа. Молча идем мы на пламя костра.

— Влад, — трогает вдруг он мою руку. — Влад. — И мы опять идем молча.

* * *

Тверда еще рука. Сегодня взял и крикву, и чирка. На постое принялся сочинять жаркое. Туман.

— Мужики, разрешите у костра посушиться. — И из тумана выплывают две фигуры. Рыбаки. С брезентовых плащей льет вода. Тот, что помоложе, вынимает бутыл мутного самопала.

— Мы с подогревом.

— Садитесь. — Александр сдвигает рюкзаки в сторону.

— Тесть вот провалился на острову. Ну и я, когда тянул его, маленько.

Тесть сидит бревном. Ни слова не выходит из его мятого лица. Но пьет исправно.

— Из Кувшинова мы, — предлагает беседу молодой, разливая самогон в кружки. Никто его не поддерживает.

— Ну, я пойду, — говорит он неуверенно. — У нас здесь мотоцикл недалеко. А тестя вскорости заберу.

Тесть то ли спит, то ли пьян. Темнеет. Лелик берет фонарь, собирает посуду.

— Погаси фонарь, падла.

— Что?

— Гаси фонарь, фраер нерезанный.

Нож. Грубый, кухонный, источенный и потому особенно страшный. У самой груди остановленный Александром. Лелик схватил топор. Тесть уже скис.

— Ребята, ребята, — жалко бормочет он под железными пальцами Шурика.

Лелик все еще держит топор. Долго смотрит на тестя.

— П-падла, — шипит он черными губами и с хрястом вонзает топор в бревно.

* * *

Ночью нас заливают дождь. Женя колдует над промокнутой сигаретой. Шурико откинул полог. Подобрал сапоги. Долго смотрит в шуршащую тьму.

— Пора возвращаться на Родину.

— Моя Родина — Смерть, — шепчет Лелик, закрывая глаза.

Синельга

«Милый Ваня, уж извини ты меня, старую дуру, а только последнее время что-то немоготу. Дом наш, сам знаешь, как батюшка поставил так и стоит, нигде порухи нет. Но как уехал Колянька, так сама я не своя, из рук все валится. А народ как назло валом идет: Кузьмичу руку покалечило, Гринька Сиротин опился до черноты, а Костылева увезли в город — от пояса сгорел. Приезжай, голубчик, хоть на неделю. Устрою я тебе баню, да и матушку с батюшкой попроведать пора. Ведь когда и был раз последний. И заборчик справить бы надо. Что я своими вдовыми руками сделаю?»

Приезжай, Ванюша, да дай наперед знать, я и лошадику на станцию выпрошу...»

Иван Алексеевич отложил письмо. Крепкие руки его стянули халат, отбросили в сторону. Белой птицей взлетел он на ветхое кресло. Влажным крашеным полом доктор прошел к окну. Сквозь казенные в полуприхват занавески тянуло холодом, дождями, сиротской печалью. Ветер гонял жухлые листья по сырой бугристой

дороге. У круглой площади привычно завивались автомобили, семенили прохожие, тусклым багровым пунктиром мигал «Гастроном». Так-так, привычно отбивала тяжелая, как медвежья лапа круглая ладонь, и то же самое выделял необъятный, с двумя жаркими заклепками ботинок. Означало это, что завтра, тугим наполненным завтра, непременно нужно достать билет. А там мчаться все на север, все на север, пока не выстелят сплошняком болота, не вывалят угрюмым боком чугунные боры, да вдруг, вперебор, из поворота зачастит медоносный ворошиловский сосняк. И уж тут надобно встать и выстыть в скрипучем прокуренном тамбуре, снаряжая вперед щекастый, с вытертыми железными углами чемодан. И враз по гулким, сивой сыпью вспухшим ступеням, заскользить к скатному гравию, кислому запаху шпал, острой и хрустящей свежести тонкого воздуха.

* * *

Как-то всякий раз подвертывалось, что в родной угол наезжал Иван Алексеевич осенью. А Киселевка точно был угол, притиснутый моховиками и хмурыми лохматыми лесами к печальной Синельге. Широко, в свинцом запавшие сумерки, отбегали озерные берега, уже здесь и там схваченные льдом. Горбились покинутые, очерненные кучи бревен, сухо крикали под каблуком насквозь замороженные лужи. Иван Алексеевич медленно ступил на резное крыльцо, снял шапку, пригладил седые волосы. Держась за затейливые перильца, он обернулся. Взгляд его ушел за Синельгу, за Викуловский заказник, где дальними голубыми годами брал отец кедровые слезы, тесал из них вот эти самые перильца. Иван Алексеевич улыбнулся, покачал головой, подошел к двери и дверь, будто ожидая его, распахнулась.

— Ваня, я вот так и чуяла, что это ты. Уж знаю наперед твои фокусы: ни телеграммы, ни писульки какой. Погоди, дай же я тебя вперед поцелую.

И Вера, клюнув брата куда-то в подбородок, быстро посторонилась. В сенях все гляделось округлым доб-

рым порядком: бидоны, кувшины, бочки, бочонки весело вышагивали вдоль ясных душистых стен с косицами лука, чеснока, пучками мяты, брусничного листа, ромашки и невесть каких еще травок и прикладок, до которых Вера была великая охотница и знатница. Иван Алексеевич вспомнил о «слабых вдовьих руках», хотел что-то сказать, усмехнулся, но увидев печальные глаза, молча притянул сестру и долго гладил пушистые, светлым облаком разлетавшиеся волосы.

— Что ж это я стою, разнюнилась и на стол не собираю.

— Я, вообще-то, не очень. Разве чаю.

— Ну вот еще, чаю. Такой путь отдал. Сейчас перекусим слегка, потом затоплю баню, а там и ужинать.

— Да ты, верно, не больно хлопочи. Вот от бани не откажусь. Баня это замечательно. Да, пожалуй, я ее сам...

— Ну и хорошо, ну и хорошо. А вот с дороги вина. Помнишь лафитничек синий, батюшкин? В него тебе налью. Вот капуста, грибочки, сальце, хлебушко теплый...

— Все такая же прыткая, — улыбался Иван Алексеевич, принимая стопку. — Вино-то свое, что ли?

— Нет, это я у Опалихи брала. Самое у нее оно важное. Секрет знает.

— А что, в больнице спирта нет?

— Есть. Да мне, Ваня, зачем?

— Ну, Веруня, за встречу. Э—м. Ничего Опалиха варит, духовито.

— А теперь за родителей, Ваня. Пусть земляца им пухом будет. И хватит мне, более не подливай.

Вера прикрыла стопку темной сухой ладошкой.

— Я ведь, знаешь, совсем как-то и не умею.

Она сидела маленькая, прямая, неожиданно строгая.

— Что ж, и вправду хочешь сам топить баню-то? Там дровишки уже уложены. Запалить только, да и подбрасывай. — Она слегка неодобрительно поджала полные, неудержимо добрые губы. — А лучше б самой мне управиться.

Иван Алексеевич поднес лафитничек к свету, заплескал голубым всполохом.

— Конечно, Веруша, делай как знаешь. Вот, отец из него пил. Теперь я, да небось и Коля прикладывался. От деда к внуку, от деда к внуку дорожка огненная тянется. Неистребима русская эта дорожка-то, — не то с удовольствием, не то с сожалением добавил он.

— Белье-то есть переменить? — Спросила Вера, все также строго глядя на брата.

— Да, да, там, — прикусив грибок, неопределенно махнул Иван Алексеевич. Он глубоко вздохнул, вольнее раскинулся на лавке. Лицо его распустилось, в нем объявилась тишина, блаженный покой. Ни единый звук не заходил в темные окна, только ровным домашним огнем гудела широкая печь, да тик-так, тик-так пилили васильковые ходики, укладывая время в золотистые сумерки.

* * *

Поначалу в свежем предбаннике он раз и другой прошелся пестрой домотканной рядниной. Шевеля пальцами, ерзая пяткой, он тешил голые ступни прохладной шершавую тканью. С тем же забытым родным ощущением Иван Алексеевич заступил на толстую лавку, выбирая подходящий, в мелкий лист осыпанный веник. У стены стоял слабый запах березовой почки и сквозь невидимую щель бежал пронзительный, до сладкой боли холодный воздух. Когда он с маху отворил дверь, его обдало сухим жаром, на руках высыпала гусиная кожа и живот выжидающе поджался. Он опустил руку в бочку, крикнул, алым вареным раком потянул ее обратно. Хсс, хсс шипели пузатые голыши, припавшие к бочке калеными лбами. Он нашарил ковшик с мятной водой, кинул ее в жадные булыжные щеки. Тут же соленые ручьи забежали в углы рта, набухли в подмышках, покатались ложбиной матерой спины.

— Ох, хо, хо, — выдохнул Иван Алексеевич, медленно пробираясь к полку, весь истекая скользким горячим потом. А там, откинув голову на липовый брус, уже

невесомый, огненно—попынный заскользил в прожигающий туман...

* * *

— Вера, — с порога закричал Иван Алексеевич, — а ну зажигай огни во всем доме. Нечего вороной сидеть.

Полный сухой воздушной благодати, с румяным жаром, легко отлетавшим от широкого лица, он неслышным развалистым шагом заспешил к лавке.

— Отец что приговаривал, когда дом ставил? Не только для укрыва он, а для Светлости, для Веселия. Потому и отмахал во все стороны, сил не жалеючи. Потому и окна вырубил шириной: не в слепую темь, в красно солнышко. Венцы-то вязал из ворошиловской сосны. Тронешь ее — поет. Вот и стоит он до сей поры, землю радует, а ты куксишься.

Иван Алексеевич сел на дубовую лавку, прогладил ее рукой.

— Помнишь нас после бани-то все на лавке вытягивал? Потягушки с матушкой устраивал? А потом сядут этот рядком да и запоют «Не велят Маше за реченьку ходить».

Вера прикрыла глаза, улыбаясь из елового, озерного своего детства.

— Тебя-то вытянул, а меня... видишь, в него ростоком пошла.

— А ты, Вера Алексеевна, не расстраивайся. Женщине от роста одни неприятности. Тряхони-ка лучше вещички мои: колбаса там, балык и запить кой чего, на рябине...

— Да зачем, Ваня, балуешь? Своего нешто нет?

— Сапоги еще, — допевал Иван Алексеевич. — Не знаю, не высок ли каблук тебе будет?

Он вдруг подобрался, с той же чистою легкою силой, которая все несла его куда-то, схватил пудовую скамью, счастливо засмеялся.

— Вот, говорят, сердце. Да я, с моей-то лапой, весь дом подниму. Ладно, продышусь-ка морозцем пока ты тут...

* * *

Он все сидел и сидел на изъеденной, изверченной, двумя стволами сбегавшейся колодине. Остеклевший заберег шелестел у черного края воды.

— Ааааа, — обронив лунные крылья, вскрикнула ночь. Грустна, ох грустна родная сторонущка! Синельга! Что же ходишь ты сырим берегом!? Что шуршишь отжитой осокой!?

Иван Алексеевич все сжимался, сутулился, напряженно вслушивался в глухое бормотанье обламывающегося льда.

— В-аняня, иди домой. Простынееешь.

Что же это? Он тяжело поднялся, уже не чувствуя ни бодрости, ни умиления, ни летящей раскидистой силы. Темная равнодушная усталость оковала его. И пока он, вдруг ощутив все свои нелегкие годы, медленно брел к зовущим огням, одна неотвязная мысль бередила душу.

Отзвенела жизнь.

Праздник

Жили в снегах. Валили лиственницу. Брали в топоры звонкие сучья.

Солнце гуляло низко. День замирал. Тени садились у тесных стволов.

До избы мялись след в след. Колотили рукавицы о косяк дверей. Жарили на печи скисшие чуни. Говорить было нечего.

Иногда брали лося. Ели жадно. Рвали мясо в четыре руки. Была у Павла где-то жена, были дети. Он, впрочем, об этом помалкивал. Когда хлебали крошево, шея его, с засевающим рыжим волосом, багровела, плоское лицо раздувалось и к бровям выходила сизая жила. Чобот выбирал навар резной ложкой. Ложка была с затеями. От скуки много наковырял он всякой деревянной работы. От скуки же и рубил ее, прошибая столешницу. Немеренную силу имел он в обезьяньих руках, одним ударом топора относя голову зверя.

После еды Павел улезал на нары. Спать он мог сутками. Чобот томился. Бил кулаком в стену. Тягал паклю. Вдруг бросался в лес. Возвращался красный, запаренный, с кривым глазом полным крови.

* * *

Под седьмой ноябрь заиграли моторы. Приехал ларек и с ним Валя-охотник. Два дня галдели, бегали в лес, усидели ящик водки. Поутру, схватившись, уехали. Павел отмокал в бане. Чобот гулял один. И было ему тепло. Было весело.

Когда заявился Павел, Чобот все улыбался, играл кружкой, возил по столешнице корявой ладонью.

— Ну что? Просвистел башку? Садись. Возбодрился.

Павел сел. Притянулся к кружке. Засутулил плечи в загривке.

— В бане жар от хорош. Поскоблится бы.

— У меня шкура железная. Ее снутри скоблить надо. Пей веселей. Рассказывай.

— Да об чем это?

— Пей веселей, — настаивал Чобот, заливая кружку. — Тебя кто вербовал?

— Ну, Веселов.

— Вот. А понимаешь кто таков Веселов?

— А чего мне об нем понимать? Такой же, вроде нас сторонник.

— А вот и нет. Местный он. Червонец откатал. За насилие.

— Ну? По лохматому делу?

— Да нет. Кузьму-лесовоза пришиб. За бабу правда.

— Эк, эт. За бабу! Да мне они, что тьфу! Глядеть б не хотел.

— Не-ет, — окривился Чобот, — бабы они сла-адкие. А ты — Вымя. Тебе чего: пожрал да на полку. Ладно, не косись, а то навек косым сделаю. Братанами будем. Ха-ха-ха, — запрыгал Чобот круглыми плечами. Павел поднялся.

— Сиди, — глухо сказал Чобот, — делай кумпанию.

Павел сырым тестом опал на скамью. Руки его повис-

ли. Даже щетина у вялых щек отускнела и полегла без привычного медного блеску. Он знал, что на Чобота «накапило». Теперь, пока не повалятся они в полном бесчувствии, нечего и думать противиться. Так уж скорей бы. И он не отмахивался, когда завинтили по полной, и опять, и в другой раз...

Уже мало чего соображала толстая голова. Вышла вдруг в багровую недоумь младшая Люська. Вертелись перед ним ее смешные растопыренные косички.

— Па-ап, — тянула она звонким настырным голосом, — па—ап, ты гостинцы привез?

Вдруг он почувствовал железный ухват плеча.

— Эй, Сидорыч, ты чего, сомлел? А ну разгонную. Кусани колбасу конную.

И к самому его носу протянулась кружка с бруском черного мяса.

— Пей! Гуляй веселей! Гуляй, наяривай!

Чобот выбил скамью, избоченился, зачесал кренделя. Павел повалился на пол, но тут же брошенный в середину избы не в лад затопал.

Э—эх, гул-ляй, подавай, — рычал Чобот, бешено крутясь у печи.

— Что обмяк, Рыжий армяк? Крути, стучи, калачи в печи...

Павел потихоньку заполз на лавку. Чобот забежал в присядку. Чуни его свалились с отпотевших задорных ног. Он сгреб бутылки, грохнул об пол. Рожа его полыхала восторгом и злобой. Вышибив дверь, черный косматый бросился он в припоржний снег.

— Э-эх! — яростно орал Чобот секшим лицо белым иглам.

— Э-эх! — месил он запекшимися пятками ледяную тропу...

* * *

Павел лежал на лавке. В голове уже не было места звону. Черная кровь тяжело била в затылок. Сквозь провальный ватный раздер скалилась рожа Чобота. Кривой глаз его угрожал и смеялся. Дверь отскочила. Пар пова-

лил в избу. Чобот, с обметами снега на черных треснувших пятках, прошел к ящику, выдернул бутылку, смял зубами кислую пробку. Кадык его почти не двигался.

— Пал Сидорыч, оживай. Оживай, Пал Сидорыч, — со сдержанной злобой запел Чобот. — Не хрена пузырем лежать.

Павел не шевелился. Чобот медленно подошел к лавке.

— Ну, чего сказано? Вставай, гулять будем. Э-эй! Оживай что ли.

Он потрянул тяжелую тушу, прислонил к стене. Павел, не открывая глаз, валился на лавку.

— Эй, Вымя, впослед тебе говорю, — разъярился Чобот, — делай кумпанию.

Но никакой «кумпании» Сидорыч уже сделать не мог. Чобот отшвырнул его прочь, схватил другую бутылку, вмял пробку. Долго сидел он не шевелясь. Вдруг тихий смешок вышел из щелястых зубов.

— Ах ты, Вымя, Пал ты Сидорыч. Не хочишь гулять добром, я тя слажу топором.

Чобот не глядя пошарил рукой у кучи дров. Ноги держали его некрепко. Он долго искал равновесия. Павел лежал на спине. Рот черной дырой смотрел в потолок. Чобот качался над ним с мутной улыбкой. Вдруг он подобрался.

— Хек, — рухнул топор.

Отлетела душа от тесного тела. Отлетела голова. Ухнув гулко, покатила к двери. Чобот подхватил ее, усадил на столешницу, полез кровавыми руками к бутылке.

— Пей теперь. Небось не отвертишься, — стучал он кружкой в скорбный лоб.

— Во си-ни-гах га-лу-бы-ых... — затеял Чобот песню.

Но путного ничего не выходило из сиплого горла. Ноги его разъезжались, тянули вниз. Медленно съехал он на пол, в липкую лужу и захрапел...

Тьма отлегла.

Ветер вызвонил белые паруса.

Дрогнула жестяная стынь.

Захороводил снег.

Медленно, на голубом дыхании.

И шел он весь день и другую ночь.

Весна

Мы пришли вечером. Устало протащились к закраинам льда. Как раз вовремя, чтобы увидеть холодный румянец заката, стынущий в темной воде. Стояла нерушимая тишина. Та, что переламывает сумерки в звездную ночь, выкатывая отрешенный диск луны на угольные пики елей. Наши голоса звучали глухо и озабоченно.

Вдруг застучали копыта. Здорово, ребята, деревянно скалясь гнилыми зубами, сказал Серега. Он соскочил с пузатой лошаденки и стал нам в очередь совать заскорую руку. Хлопнув по карману пиджака, донельзя засаленного, Серега вынул кисет, книжечку серой бумаги. Защурив и без того узкие глазки, закрутил сигарку. Скоро мы сидели у огня, пили чай, слушали хриплый рассказ о Леньке, о Лельке, о вдруг объявившихся волках.

Серега невелик ростом. Его одежда не поддается сезонным изменениям. Круглый год он носит пиджак, шапку и яловые сапоги, навеки просевшие рябою гармонью. Поначалу не могли употребить его ни в какое нужное дело. Он загнал несколько тракторов прежде чем догадались взять его в пастухи. Должность он принял с твердым и спокойным презрением. Исчисляя себя городским жителем, Серега на местный люд глядел несколько косвенно. Усмехаясь сожалительно, поминал он Торжок, мебельную фабрику, брата Толю: предметы все весомые, положительные. Вообще же больше молчал, пристально всматривался в дымные края обступившего леса и необыкновенно сосредоточенно сплевывал. Успел он и посидеть. Не поладил с тещей из-за бутылки «Экстры», схватил ружье, убил телка и поджег хлев. Теща сдала его властям. Власть не спеша пришла его брат через несколько дней. Серега сидел на завалинке будто в праздник: чистая рубаха, мазанные сапо-

ги. Гармонь его одолевала ноты четыре. Он сидел и однотонно тянул «Я в твои шашнадцать лет уж проверял черный букет».

Отвезли его недалеко. Через два года он вернулся, став еще мельче, с перематым невзгодами лицом и завел себе собаку. Выступал он так же важно и так же пристально глядел в неразгаданные дали, особенно когда с подвязанным бечевкой ружьем и лопухим Пиратом отправлялся на охоту.

Он всегда появлялся с нашим приездом. Лениво глядел на хлопотливую возню с рюкзаками, лодками, ружьями, глубоко вздыхал, равнодушно сообщая сколько тетер, рябов и утей взял он своею облезлой тулкой. Тут все наперебой начинали его тормозить, подъезжать с вопросами. Это-то и был час триумфа. Глаза его загорались, угольно темнели. Уверенными жестами поднимал он руку с притиснутой сигаркой и указывал в холод и мрак за озеро. Потом не мигая глядел в огонь. Кружку с водкой принимал как бы нехотя, разом выбулькивал, опадая толстыми губами, хекал, жевал хлеб с салом. Он не торопился, молча, скрестив руки, сидел недвижимым пнем, и было непонятно дремлет он или все также вприщур смотрит в огонь.

Серега поднялся, обтряс штаны, кинул окурок в догоравший костер.

— Ну, пойду я. А вас с приездом, значит. Можа до майских досидите? А если кто хошь, завтра на охоту.

— Где ж твой Пират?

— Нету таперя. — И, взобравшись на лошадь, добавил, — волки зимой ободрали.

Шлепнув буланку по холке, он с гиком растворился в ознобистой тьме. Странная одинокая душа, внезапно выпадающая из налаженного деревенского порядка.

* * *

Он лежал у самого берега. Подогнутая босая нога слегка вздрагивала, когда холодный ветер, выглаживая озябшие кусты, со свистом перетягивался на другую сторону берега. Разутый сапог валялся рядом, съезжив-

шись, как и его хозяин, в засохшей грязи. Рубаха и старый пиджак набухли от крови, неостановимо вытекавшей из рваной дыры. В последний миг ружье дернулось, и он повалился в глухую ночь. Он очнулся от смертного холода. И от боли. Хотелось кричать, но не было сил раздвинуть помертвевшие губы. Ночь качалась в его широко открытых глазах. Потом боль ушла, и он поплыл куда-то все быстрее и быстрее, пока не вспыхнул ослепительный свет и не рванулось в последнем толчке прямое сердце.

* * *

Михайловщина догуливала праздники. Еще утром дед Коростелев выскочил из ларька с двумя пол-литрами, бодро отсеменя подшитыми валенками и, растягивая беззубый рот, весело заорал:

— С праздничком! Поддерживаться надо.

А он уже чувствовал тяжелое, мутное томление. Пусто глянул на деда и плюнул на серый ноздреватый пласт снега, уткнувшийся в переломанный плетень. Сев на завалинке, лениво, через силу тянул самогон. Вялые пальцы едва попадали в тупые пуговицы гармони. Вдруг он прибил Лельку, все зазывавшую в избу, шваркнул бутылку о гнилые ступени, схватил ружье и бросился к озеру. Пихнув тяжелый комель, загреб он к Рябкину. Комель медленно переваливался на ленивой волне. Он осатанело бросал короткое весло вправо-влево, вправо-влево и было не понять, то ли брызги растекались по его лицу, то ли слезы. Наконец комель ткнулся в песчаный берег. Серега неловко соскочил, рывком подтащил его к валуну. Деревня сиротливо молчала. Он подошел к развалившейся избе Василисы, пнул откатившееся бревно. Битыми чугунными горшками прошел к огороду. Долго стоял, вслушиваясь в шорох темной воды, лизавшей берег. Нерешительно, глядя в землю, зашагал наконец он к бане. Дверь была прикрыта. Он рванул щепку из ржавой щеколды. У входа лежали еловые лапы, два тонких удилица с обрывками леси. В глубине к темным венцам припадал грубо сколоченный стол. В жестянке

из-под кильки расплылся свечной огарок. Он смаху закрыл дверь, обошел баню, ковырнул сапогом золу костра. Темная пыль поднялась и, постояв в воздухе, опустилась обратно. Судорожно сдернув ружье, он выпалил из обоих стволов. Долго слушал убежавшее эхо. Пнул еще раз костер, сгорбился и побрел к комлю.

Что он искал? Зачем примчался? Кто ему эти каждый год наезжающие люди? Почему в тоске и злобе обрывается сердце всякий раз, когда они уезжают?

Подул ветер. В скулы брызнула мелкая злая волна. Комель валился в шипящую воду. Уже затемно он увидел Михайловщину. Бросил комель. Прошел к избе. За столом сидели красная Лелька и баба Дуня. Перед ними стояла банка самогона, миска соленых огурцов, темных картофелин в мундире. Он налил стакан, следом протолкнул другой...

— Аты, чаво, Сяргей, жаной брезгашь? — прошамкала баба Дуня.

Он молча прошел к двери, плотно прикрыл ее за собой, постоял на крыльце. Лицо его морщилось. Он тер его тыльной стороной грязной ладони. Стало холодно. Медленно сошел он с крыльца и, не оглядываясь, зашагал к озеру. Ружье лежало там же, на перехвате долбленых бревен комля. Вынув из кармана пиджака два патрона, он загнал их в кислым порохом пропахший казенник, скинул правый сапог и упер стволы в сердце.



Товий ХАРХУР

И СКУЧНО, И ГРУСТНО...

* * *

Старые замки. От света изжога —
Глаз ищет соду бледных теней.
Кто говорит, что солнце — елей? —
Гнусная, грустная желчь. И дорога —
Зонд из запекшихся губ Лорелей —
Желтый песок у пиратского брода.

Дева — не камень. Русалка — не зверь. —
Рыба? — Возможно. Лишь рыбе не страшно
Слышать, что шепчет ей ветер—хорей,
Волнами камень бессоленно хлеставший
И затихавший у зябких корней —
Лес у реки не страдает от жажды.

Брызги — как слезы. Смотреть — не внимать.
Взор уперев в равнодушные дали,
Девушка плачет. Откуда ей знать:
Слезы должны быть солены. Едва ли

И СКУЧНО, И ГРУСТНО...

99

Кто-то взглянется в привычную статью
И объяснит ей детали.

Взгляды скользят: вверх — утес, вниз — река.
— Да, высоко и красиво.
Здесь умерла, а когда-то жила
Бедная девушка. Лиру
Взять не захочет тупая рука,
Ждущая хмель и свинину:

— Музы, оставьте! Душа просит марш!
Ровным строем не падают в бездну...
Вздрагнул вдруг воздух: изящный плюмаж...
Телу в камне становится тесно...
— Лора, прости меня, это мираж.
Солнце зашло — тень исчезла.

осень 1997

* * *

Музыка! Музыка! Му — чаю бы мне,
Того теплого мутного чаю.
Встречаю —
никого.
Не пойму —
для чего,
Отчего светлый сок молочая
растекается терпко
по янтарно-густой
дымной поверхности чая.
Музыка,
что с тобой?

* * *

Летит! — Лови! —
Словишь ли!?
Любовь как туман —
песнями —
Стлалась по твоей —

площади,
Пала на камень —
персями.

Туман. Все течет,
плавится:
У церкви калека —
молодцем —
Пришел ко двору
справиться,
Что делать ему
с золотом.

Что делать?!
Вдыхай порами
Сей воздух дурной,
лихорадочный.
Плевать, что слабы
легкие —
Вдыхай его полными
чашами.

Спеши? Ведь туман
рассеется:
Краски снова —
охотник с филином.
Трезвый луч по камням
мечется,
Изгоняя влагу —
насилием.

И, идя по сухой
площади,
Ты почувствуешь — в горле:
муторно
Мокрота у гортани —
полощется,
Вспоминая туман —
поутру.

Потеряв, не ищи —
не воротится.
Солнце встало: значит —
живи.
Лишь комочек любви —
носится
И страдает во впалой груди.

17.12.97

Губы

1.

У губ есть право выбирать слова.
Сухие, с болью изменяя форму,
Стараются молчать, едва
Пуская мякоть мнимого комфорта

Пройтись по кромке высушенных снегов:
Снег в форме серой безразличной пыли
Стирается, открыв рдяной покров,
Чьи раны светлой кровью окропили

Готовый вырваться крик боли и стыда,
Когда, мутнея кислородом — ядом —
Ленивым током спустится слюна,
Стянув волокна отзвуком невнятным.

Ведь крику нужен яростный простор,
А сухость, непривыкшая к движениям,
Лишь открывает маленький зазор,
В который и не то, что крик, а вор
Не протолкнет ни веру, ни сомненье.

18.12.97

2.

У губ есть право выбирать слова.
У скал — сходиться, разделяя время:
Здесь очарованная ясным днем волна,
А там — туман, и смерть, и сожаленье.

И скалы могут думать про себя,
Не двигаясь, пока вокруг смятенье.

Пусть соль морская оседает на камнях.
И красный цвет в себя вбирает пена —
Они молчат. Протяжный вой в щелях,
Хоть не похож на пение сирены,
Притягивает жалость или страх...
И волны зеленеют от измены.

И губы... Есть такие как скала:
От боли, от безмыслия, сгоряча —
Они сошлись. А сжатые уста
Уже не могут выбирать слова.
У них есть право, но они молчат.

10.01.98

3.

У губ есть право выбирать слова
И звуки — хриплые заклатья.
И есть еще возможность промолчать:
Улыбка — напряжение — несчастье.

18.02.98

* * *

И скучно и грустно, хоть есть кому руку подать.
Подашь — в пальцах мерзость и тупость.
В полночном бреду —
Не к столу.
Не к бумаге —
В кровать.
На жесткий матрац опускаются руки.

Матрац — чей-то волос и чей-то тишайший покой —
Волокна лениво свивают забвенье.
Коснешься — узнаешь.
Проснешься —
Вернешься пустой,
И снова у горла висит сожаленье.

Жалеть — не страдать. Сожаление — шаг к мазохизму.
Есть потолок, и найдется испытанный крюк,
Если не знаешь.
Встречаешь,
Но любишь лишь числа —
Лишь арифметику безымянных подруг.

Числа есть знаки, а в знаках хранится начало
Той бесконечности, символ которой зеро.
Девы зовут,
Но их жаркий приют —
Как мочало
В грязной бане. И глаз выбирает вино.

Выбрал — сошелся: смех из окна над подъездом.
Выбор прекрасен тем, что нельзя выбирать.
Губы к ногтям:
— Очень рад!
— То мой брат.
Если честно:
И скучно, и грустно, и некому руку подать.

08.01.98

* * *

Рыжей бестии — рожь опаленная.
Пальцы — иглами. Страсти ток
Заметался по нервам; нервами —
Как жгутами — в бараний рог —

Сердце странное, беспокойное —
Бессердечное — бес конца.
Было вольное — стало дольное,
Обездоленное — сердце пса.

Было золотом — гарью скрылося.
Было небылью — стало сном.
Колдовство твое — масть бесстыжая,
Медь, окованная огнем.

Заклинанье — не говор — заговор
Струй метущихся — белых крыл:
Руки: пальцы огонь заглатывал.
Стан надломленный ночь душил.

Колдовством твоим — очарован я.
Жаром страсти твоей — опален.
Ты — судьба моя, моя девственность —
Обновление. Память, вон!

июль 1998

Монастырская библиотека

Грудь — накрест — крестом раскрестить — расцарапать.
Ворот — по ветру. Гул коло — колов.
Гневом гнетет, сочится на пажить
С стиснутых зубьев черная кровь.

Зубы — жемчужины — выбиты, пропиты.
Пасть ощербилась об угол стекла.
Кислый душок человеческой пошлости
Сводит изжогой трещину рта.

Холодно! Холодно! Волосы буйные
Падают в комья замерзшей земли.
Поле голодное — книга разгульная:
Комья листов ненаписанной лжи.

Книги и книги — рядами, заборами.
Книги не греют — разума хлад.
Искру — и пламя взовьется над городом.
(Старые мысли ярко горят!)

Искра! И древний папирус жестокий,
Новым своим содержаньем пьяня,
Вспыхнул... Рождаются новые боги
В залах всезнанья, полных огня.

12. 10.98

Знаете!..

Вы знаете, бог смотрит на одежду?
Для благочестья респектабельность нужна!
И будь хоть Вы в душе своей невежда,
Ему длина Ваших штанов важна!

А знаете, что бог наш стал делягой?
Чтоб откровенье свыше получить,
Не нужно свое слово делать клятвой —
Грехи монетой можно искупить.

У бога есть стандартные расценки:
Где дом его побольше — пять монет,
В том, что поплоче, он по три монетки
Берет за «разливающийся свет».

А помните, когда-то было время
И Бог вещал под небом голубым!
И был Иисус — другое поколение,
Закрывший храм пред торгашом тупым.

13.06.96, Firenze

Каинова печать

Как просто встать, когда встают вокруг,
Сливаясь в ртуть пассивного желанья,
И замыкать уже закрытый круг,
Сжимая в точку приступ расстоянья.

Как весело обнять одной рукой
Пустой каркас предающей плоти.
Зажав единство помыслов в другой,
Теряющей уверенность при рвоте.

И как счастливо быть одним из всех,
Живя устойчивым поклонником устоя,
И адекватно отвечать на смех,
Излитый из созвучного покоя.

Но есть клеймо, и смех калечит рот,
Рождая ужас в жестах проходящих.
И равнодушье мостовых ведет
Мимо окон, безжалостно горящих.

— Это закон, застывший на челе,
Не позволяющий, как всем, дремать
И двигаться в засохшей колее.
— Это закон, где должно выбирать.

30

Роженица

Разворочена. Ноги — в стороны.
Холод бедра жестоко саднит.
Одинока, всеми заброшена,
На столе она горько лежит:

«Руки грубые, волосатые
Раздирают надтреснутый мир —
Сквозь чужие пальцы кровавые
Мой ребенок из недр возопил.

«Поднатужься!» — Лучше задохнуться
В мертвом свете неоновых ламп.
Воплем боли зубы расходятся,
Разрывая звук пополам.

Эта дрожь сладострастья и похоти,
Этот стоном зажатый экстаз...
Вы, входящие, вряд ли вы вспомните
Ту же муку пророчащих глаз.

Не хочу! Беззащитно раскрытые
Створы плоти, не знавшей любви,
В миг касанья приносят невинные
Души в жертву страданью земли.

Не хочу!» — И сквозь нервные тени,
Видя в небе кровавый венец,
Она сводит дрожаще колени...
Боль стихает. Свет гаснет. Конец.

15.01.97

Читатели газет

Скелет — раз нет лица.

М. Цветаева

Листающая, попеременно жующая,
Масса зрачков, одинаково полых,
В бесполезном исканьи снующая
По строкам, как и думы их, голым.

По сплетениям фраз — выжим мысли безмыслящей,
Охраняя порядок слюнявым перстом,
Познают они мир, до истоков прочищенный,
Пережеванный механическим ртом.

Поглощают они сливки старой морали,
Обновленной сиденьем за шатким столом. —
Эти пряные сгустки порывы впитали,
Обласкав летаргическим сном.

Постепенно, согласно приказу,
Заменяя тиражом закон,
В них вливают построчно проказу
Быть стандартно-немым существом.

И по знакам тащась, бескрылато,
Лицезрея словес частокол,
Забывают, что буквы когда-то
К Небесам возносили глагол.

27. 10.95



Ной РУДОЙ

СЖИГАЕТ ВРЕМЯ КОРАБЛИ

* * *

Солдат с оторванной ногой,
В крови, оглохший, ошалелый,
Минутой раньше — молодой,
Минутой позже — поседелый,
За ним кровавый долгий след,
Он задыхается от дыма.
В руке зажатый пистолет
К виску ползет неотвратимо,
И вдруг с истошным криком: «Нет!»
Собрав в кулак остатки воли,
Отшвыривает пистолет,
Дрожа от ужаса и боли...
...Когда сменяются мечты
Определенностью жестокой,
И ты, сорвавшись с высоты,
Повис над пропастью глубокой,
И избавление прийти

СЖИГАЕТ ВРЕМЯ КОРАБЛИ

109

Уже не может ниоткуда,
И понимаешь, что спасти
Тебя способно только чудо, —
Не дай отчаянью, не дай
Вцепиться в горло мертвой хваткой!
Представь на миг передний край,
Представь того солдата в схватке
С отчаяньем, с самим собой...
Я вправе говорить об этом,
Ведь это я, едва живой,
Схватился насмерть с пистолетом.

* * *

Сжигает время корабли,
Мосты взрывает за тобою,
И детства небо голубое
Давно не различу вдали.
Я многое терял когда-то:
Терял в бою, как все солдаты,
Терял в потоке мирных дней.
Боль унялась во мне поздней,
И верилось — ей нет возврата,
Но только в старости постиг,
Что с ощущением утраты
Не разлучался ни на миг.

* * *

Когда в сердца вселяется тревога
И грозно нависают испытания,
Все чаще люди вспоминают Бога
И больше верят в благо покаяния.
В чести все больше всякая химера,
И оживают древния поверия,
И не понять, где истинная вера,
А где одни лишь страх и суеверие.

От Маркса до Ленина и др.

Когда ты вождь планеты всей,
 То озарен признанья светом,
 Будь ты еврей, полуеврей,
 Четвертьеврей — молчат об этом.
 Когда развенчан, цепеней!
 Толпа, от ярости зверея,
 Немедля вспомнит: ты еврей,
 Полуеврей, четвертьеврея.

* * *

Все правдиво было на картине:
 Небо — голубое, море — сине,
 Паруса — белее лебедей,
 Но чего-то не хватало в ней.
 Все на ней как будто распласталось,
 И она безжизненной казалась.
 Так чего недоставало в ней?
 На картине не было теней.

* * *

Рассвет, расцвет и увяданье, —
 Надежда, радость и страданье.
 Неотвратимы эти вехи
 В судьбе живого существа.
 Судьбе неведомы огрехи,
 Она хранит свои права.
 Хоть бейся головой об стену,
 Хоть в гроб ложись, хоть волком вой,
 Три этих вехи неизменны,
 Но каждой срок отпущен свой.
 О как рассвету и расцвету
 Продлить дыханье, — кто постиг, —
 Чтоб увяданью и страданью
 Достался миг, и только миг?..
 Рассвет, расцвет и увяданье, —
 Надежда, радость и страданье.

Я прожил очень много лет,
 Оглядываясь, различаю
 Всю призрачность былых побед,
 И я давно уже не чаю
 Остановить хоть чем-нибудь
 Своих иллюзий наважденье
 И принимаю жизнь как путь
 От заблужденья к заблуждению.

* * *

Я ненавижу праздничные даты,
 Как поколения моего солдаты.
 Еще не время было наступать,
 Еще к атакам шли приготовления,
 А нас уже бросали в наступленье,
 Чтоб о победе всласть рапортовать.
 Мы шли, как штрафники в разведку боем,
 А генералов славил запоем.
 О сколько полегло тогда солдат!
 Поменьше бы таких великих дат.

* * *

Меня не выгоняли, нет,
 Я уезжал по доброй воле,
 Но груз неутолимой боли
 За мною потянулся вслед.
 Что прятать голову в песок?
 Тоска острее от сознанья,
 Что уберечь себя не мог
 От добровольного изгнания.

* * *

И все же я не обделен судьбой:
 Пройти сквозь ад и дотянуть до старости
 И оказаться без заглохшей ярости
 Среди детей и внуков! Боже мой,

Где одногодки? Этакую весть
 Не принесут мне никакие вестники.
 Где полегли мой друзья-ровесники?
 Живых по пальцам можно перечесть...
 Двадцатый век — руины, кровь и страх,
 И на пороге — новое столетие,
 И нету слов, и только междометия,
 И только горечь на моих губах.
 И я себе стараюсь разжевать
 Простую мысль, она не всем дарована,
 Что в прошлое заглядывать рискованно,
 Не озираясь надо доживать.

* * *

Два года скоро как живу в Америке,
 Но вроде бы еще и не в пути,
 От волжских берегов, Днепра и Терека
 Мне ночью в сновиденьях не уйти,
 От неба, что забвеньем не укроется,
 От той забываемой земли,
 Где много лет родители покоятся
 И сверстники в сраженьях полегли,
 И не пойму, как будто весь в кошмаре я,
 Когда и где я, собственно. Живу,
 Здесь или в том далеком полушарии,
 В ночных виденьях или наяву.

* * *

О поколение мое, Дожившее до девяностых,
 Ты знало смрадное жилье,
 Где ложью был пронизан воздух.
 Гармония была мертва,
 И властвовала неизбежность
 За хрупкой маской шутовства
 Скрывать отчаянье и нежность.

* * *

О нет, я не уверен, что сумеем
 Ответить точно на такой вопрос:
 «Явись к нацистам Божий сын — Христос,
 Как бы они расправились с евреем?
 Признали бы его почетным немцем
 Иль — в товарняк и прямиком в Освенцим?»

* * *

Физические тяжкие страдания
 Ты испытал и раньше, но тебе —
 Врачу — как сущий дар, как воздаяние
 Была забота о чужой судьбе.
 А нынче ты уже не конь натруженный.
 Судьба, как повторяешь ты со зла,
 На отдых обрекла тебя заслуженный,
 На праздное безделье обрекла,
 И оттого во всякие мгновения
 В течении однообразных дней
 Твои болезни и твои мучения
 И неотступней стали, и острей.

* * *

За тридевять земель ты уезжал.
 Грустил, но не казался мрачной тучею.
 Тоска позднее, не жалея жал,
 Впивалась, выворачивала, мучила.
 И понял как смириться нелегко,
 Хоть новый край нисколько не окраина,
 Как близкое бывает далеко,
 Не просто далеко — недосягаемо!

В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

ЛИЦЕМЕРИЕ

Об истинных подоплеках войны с Югославией

Реванш Клинтона и комплексы простого американца

Начнем с вопроса, казалось бы, уже утратившего актуальность. Что все-таки послужило причиной войны в Югославии? В политических кругах Запада царит на этот счет поразительное единодушие. Единодушие Америки и Европы, упорно подчеркиваемое лидерами ведущих европейских стран — членов Северо-Атлантического Альянса.

Война в их глазах рассматривалась как единственно возможный шанс решения давно назревшей Косовской проблемы. Сербская армия, президент Югославии Милошевич, читали мы изо дня в день в газетах, уподобились гитлеровскому фашизму и уничтожали десятки тысяч албанцев исключительно по религиозно-этническим причинам. Слова «зверства сербов», «Косовская трагедия», «сотни тысяч изгнанных оттуда беженцев» и

многие другие, широко используемые средствами массовой информации, создавали мощный пропагандистский фон для намерения политиков обуздать виновных, попирающих права человека и создающих беспрецедентно опасную ситуацию на Балканах.

В подтверждение приводились цифры расстрелов невинного населения и массовых его захоронений, скрываемых от мирового сообщества. Необходимые в таких случаях тщательного международные расследования почти не проводились. (Зверства сербов все более становились общим местом в пропагандистской кампании, развязанной в Европе и США.) Действовали, исходя из презумпции виновности одной нации, находящийся в состоянии этнического конфликта с другой, живущих в границах одного и того же государства.

Между тем Косовская проблема имеет долгую историю, сильно напоминающую историю многих религиозных войн, в которых далеко не просто найти правых и виноватых. У каждой из сторон всегда была своя правда. Общей и всеми признаваемой правды как бы не существовало вовсе.

На одних этапах справедливость была на стороне албанцев, требующих для себя свободы и независимости, на других этапах, казалось, наоборот, что правы именно сербы, поскольку они отстаивали целостную и неделимую Югославию и не желали мириться ни с каким противостоянием и сепаратизмом албанских жителей Косово.

Для облегчения нашего анализа давайте примем за аксиому то, что — по крайней мере в последние годы — жалобы жителей Косово на преследования сербов имели под собой почву. Вместе с этим признаем, что все происходившее в Косово укладывалось в рамки типичного этнического конфликта, которые сегодня лихорадят не только одни Балканы. Они лихорадят по существу весь мир — вспомним хотя бы Великобританию и Ирландию, Индию и Пакистан, Россию и Чечню, страны Дальнего Востока, арабский мир....

Все это и вынесло на повестку дня НАТО нелегкую и в то же время весьма тонкую задачу — найти пути

мирного, политического урегулирования этнического конфликта в Косово. Казалось, никто не хочет войны, ее нельзя допустить ни при каких условиях. Но бросая взгляд в прошлое, становится ясно, что все обстояло отнюдь не так просто. То есть у нас нет доказательств, что какие-то страны (например, США) открыто замыслили войну — в политике тот или иной замысел правительств и государств не так-то просто вычленишь из живого потока жизни. Очень часто перед нами полутона, когда совсем не просто отделить планы миролюбивые от милитаристских.

Американские лидеры и по сей день клянутся, что они думали не о войне, а лишь о мирном урегулировании. И якобы на войну их подтолкнули сами сербы. Проникнуть в тайные помыслы политиков — дело не простое. Но задумаемся над вопросом: если бы США и их союзники думали только о мире и урегулировании, отчего же они так быстро перешли на язык диктата и угроз, явно рассчитанных на то, чтобы подбросить сухих дров в огонь и, унижая национальное достоинство сербов, подтолкнуть их к несговорчивости.

Мы хорошо помним этот язык, в котором не было и грана уважения к национальному достоинству маленького народа, особенно чувствительного к унижению его национального достоинства со стороны великих государств. Но приведем любое из требований Северо-Атлантического Альянса, не стремившегося ни к каким компромиссам, а только к диктату: «Если до такого-то срока войскам НАТО не будет предоставлено право войти в Косово, то Альянс вынужден будет предпринять в Югославии необходимые военные акции»... Подобный язык был основным языком, которым оперировал Северо-Атлантический Альянс в своих отношениях с маленькой Югославией.

Вглядитесь внимательнее в ход событий того времени и вы поймете, что бомбежки Югославии не начались вот так, спонтанно, чтобы лишь припугнуть несговорчивых сербов и, поставив на этом точку, перейти к спокойным переговорам по установлению мира. Страны НАТО,

повторяем, требовали, угрожали, не останавливаясь перед прямым давлением.

К трагическому развороту событий подталкивала вся логика действий США и их союзников. Судя по всему, они даже не хотели верить в мирный исход событий. Более того, он кажется был им и не особенно нужен, скажем определеннее: военное решение проблемы их даже более устраивало, чем мирное. И тут мы подходим к весьма тонкому вопросу — почему так получилось, что их больше устраивал первый подход, нежели второй? Почему? Не существовало ли каких-то особых психологических мотивов, которые подталкивали лидеров Альянса к войне?

Хочу сразу оговориться, что я не готов представить каких-то прямых доказательств, подтверждающих высказанную мысль. Тайные замыслы политиков не отражаются ни в каких международных меморандумах. Они вынашиваются в секрете от мира и часто, напротив, полностью противоречат их официальным взглядам, которые те не устают открыто высказывать. У нас нет документов, но к нам на помощь приходят факты, рассказывающие о приемах того или иного политического действия в борьбе с врагами, раскрывающие его психологический облик, характер, если угодно, даже стиль поведения в определенных политических ситуациях.

Вероятно, существовало несколько причин, по которым война с Югославией в определенном смысле была выгодна Соединенным Штатам. Прежде всего эта война им гарантировала победу. Появлялась драгоценная возможность испытать новое оружие, получить новые рынки для его сбыта, утвердить престиж Америки, как самой могущественной державы в мире.

Вероятно, у какой-то части конгресса и генералитета существовали соображения и против войны. Поэтому, как всегда в таких случаях, решающее слово было за Президентом Клинтонем. Как раз последний не заставил себя долго ждать. Есть много оснований думать, что Клинтон, хоть это и странно для лидера ведущей демократической державы, хотел войны с Югославией. Даже, если вспомнить его выступления тех первых военных

дней — с каким вдохновением он призывал усилить бомбежки югославов! Словно он горел этой идеей, словно она стала его идеей фикс.

Соединенные Штаты — страна традиционного изоляционизма, которая на протяжении истории, если и отступала от этой линии, то или терпела неудачи, как это было во Вьетнаме, или несла большие и больно удалявшие по обществу потери, как это было в результате Второй мировой войны.

Всякий раз отказу от изоляционизма предшествовали большие колебания в обществе, крупные выступления пацифистских сил, ожесточенная борьба в Конгрессе. Почему же в данном случае ничего подобного не произошло? Интересно, что война была развязана по прямой инициативе Президента, при активной поддержке Конгресса и в условиях чуть ли не консенсуса, царившего в обществе, по крайней мере, в первые дни войны.

Откуда же взялся «воинственный пыл» президента, человека, никогда не нюхавшего пороха и всегда проявлявшего предельную осторожность, когда перед Белым домом возникала угроза конфликта? Единственную войну, которую Клинтон готов был вести до последнего вздоха, — это война за свое президентство, за сохранение своего места хозяина Белого дома. Вспомним дело Моники Левински, когда ради собственного самосохранения он готов был ползать на животе, топтать самолюбие, лгать, предавать любые принципы. Он был типичным сыном поколения 60-х годов, для которого слишком часто не существовало ничего святого.

Как известно из того же дела Моники Левински, Клинтон, переживший в Конгрессе импичмент, проявил в борьбе за свое президентство чудеса политической эквилибристики и выживаемости, что и обеспечило ему победу, но не дало никакой индульгенции на будущее и не избавляло от жалкого места в американской истории.

От историков вряд ли можно ждать милостивого отношения к провалам политиков — вполне возможно, что в глазах историков будущего Клинтона ждало ампула лгу-

на, выскочки, ничтожного бабника-вуманайзера. То есть в историю он мог попасть таким, каким он и был на самом деле.

В сенате не хватило голосов, чтобы его убрать, формально его оправдали, но никакого оправдание не могло изменить его имиджа, не только для историков, о которых шла речь, но и для современников, которым через год предстояло придти к избирательным урнам для выборов нового Президента. И Клинтон, каким он вышел из дела Моники Левински, вряд ли мог бы стимулировать избирателей голосовать за его демократическую партию. Тут не могло быть и двух мнений — делом Моники Левински Президент опозорил Америку перед всем миром. Из сказанного вывод напрашивался сам собой. Клинтону необходим был политический шаг, который навсегда бы перечеркнул его прошлое и дал ему новый имидж. Таким судьбоносным для него шагом и могла стать победоносная война. Сама судьба как бы подсказала ему единственно верный путь — претворить угрозы НАТО в жизнь и начать бомбежки Югославии. Казалось, это был божий знак, война, которую специально не придумаете, с одной стороны совершенно безопасная для Соединенных Штатов, с другой стороны, способная спасти от вырезания целый народ, и с третьей — спасти принципы свободного демократического общества. Таковы благороднейшие задачи, которые поставил Президент перед армией и которые он произносил в каждой из своих речей. Единственно, о чем умалчивал — о своей тайной и главной цели — обрести в глазах Америки ореол героя-победителя, которому тщетно пытались сломать позвоночник завистники из Конгресса. Победоносная война вознесет его на такой пьедестал, сбросить с которого никому не удастся ни в настоящем, ни в будущем.

Помимо этих соображений, есть и еще одно, свидетельствующее о том, что этот шаг для Президента не был столь экстраординарен, как может показаться со стороны. Клинтон по своему характеру, безо всяких угрызений совести, готов был пойти на любые жертвы и жестокости, лишь бы спасти свою президентскую власть.

Вспомним, как в дни импичмента он, прикрываясь национальными интересами, не согласовав с Конгрессом, вдруг начал бомбежки Садама Хусейна. Правда, они не достигли цели и не дали никаких результатов. Садам оказался недостижим для Клинтона. В Конгрессе быстро разобрались, что к чему, а именно в том, что Президент начал войну с одной целью — отвлечь внимание мира от скандала с Моникой.

В те дни у него не вызвало ни малейшей жалости гибнущее под бомбами мирное население Ирака. Так же как теперь его мало волновали жертвы в результате бомбежек Югославии. Тогда, в дни импичмента, под угрозой оказалось его место хозяина Белого Дома. Теперь после окончания дела Моника Левински ему нужно было уже большее — героический ореол, лик президента-победителя, пусть даже оплаченный жизнью посланных им на войну американских летчиков.

Могут спросить, а что же общество и население Америки, обычно столь чувствительное к жертвам среди мирного населения? Откуда родилось равнодушие к этой войне у рядовых американцев? И не просто равнодушие, а, если взглянуть на цифры тогдашних опросов, то и прямая поддержка Президента? Трудно представить, что Америку по причине войны с Югославией охватил шовинизм и военный психоз. Такие настроения по определению не могли вспыхнуть в этой стране. Не было ничего подобного и на этот раз. Но поддержка президента была. Как и поддержка самой войны со страной, расположенной за тысячи миль от Соединенных Штатов.

Пусть читателю не покажется странным, что и это, хоть не прямо, но также было связано все с тем же делом Моника Левински, которым больше года жила Америка. Пусть и не вся Америка, но этим делом жил обыватель, которого обычно называют человеком с улицы. Применительно к Америке его точнее было бы назвать человеком у телевизора, поскольку именно американское ТВ, тиражируя среди десятков миллионов американцев происходящее в Белом доме, занималось в чистом виде промыванием мозгов у своей многомил-

лионной аудитории. И вдруг все полетело в тартарары — Президента оправдали!

Тогда-то, по-видимому, и наступило время похмелья. Несколько огрубляя ситуацию, я бы сказал так: Америке как нации, при том нации совестливой, сделалось стыдно за все, что произошло с Президентом и о чем американские масс-медиа раззвонила по всему миру. Об этом не разглагольствовали вслух, но, думаю, что в душе стыдно стало всем — населению, Конгрессу, обществу, которое вдруг начало понимать, что оказалось вовлеченным в постыдное для великой страны дело (прилюдное, на глазах у всего мира, обсасывание мелких и унижительных сексуальных интрижек Президента).

Население почувствовало себя униженным в глазах Европы и всего мира, и что, наверное самое главное, в своих собственных глазах. Когда Клинтона оправдали и все смогли свободно вздохнуть — страна как бы тоже почувствовала, что ее оправдали. Оправдали-то оправдали, но не так-то легко было избавиться от комплекса неполноценности перед лицом мира, да той же России или Франции, которые устами масс-медиа день ото дня поднимали на смех Америку. «Надо же, чем нашли заниматься, а еще Америка, флагман цивилизации!»

Возможно, где-то в глубине души американцев охватила тоска по другой, могущественной и доброй, старой Америке, всегда уважаемой миром и во все времена отстаивавшей светлые демократические идеалы. И когда по миру разнеслось, что в Европе появилась страна, которая, как кругом говорили и писали, плюет на эти идеалы, преследует других за их религию и этническую принадлежность, что Президент, подвергшийся в собственной стране травле, решил встать на защиту несправедливо униженных, то население Соединенных Штатов не могло его не поддержать. Не на митингах и демонстрациях, а опять же, так сказать, в глубине души, чувствуя себя также униженным и оскорбленным от всей этой пошлой катавасии с Моникой Левински.

Если допустить, что у общества вместе с сознанием существует еще и некое подсознание, способное вби-

рать в себя страсти, комплексы и обиды, то, думаю, что вполне допустима его тяга после всей этой грязной истории с Моникой реабилитировать свою Родину и вознести в глазах окружающего мира.

Никто, в сущности, открыто не звал к войне, не восхвалял войну, но, так сказать, на уровне указанного подсознания, хотели от Президента такого шага, который бы вернул Америке былое величие. И не стал ли такой акцией военный смерч, обрушившийся на головы сербов, про которых средства массовой информации трубили одно-единственное, что они преследуют другой народ и попирают демократию. Вот, собственно, и все, что произошло, на мой взгляд, в Америке.

А что двигало европейцами!

Если в двух словах, то ими двигали те же чувства и цели, что и американцами, цели, которые, в их пропагандистской упаковке, у меня уже давно навязли в зубах. Все эти раздутые пропагандистской машиной «массовые убийства», «изгнание людей из их жилищ», «обуздание диктатора Милошевича» и каждый день жестокости и каждый день ужасы — давно знакомая по литературе ситуация: мне грозят, а мне не страшно. И все потому, что слишком много замешано на лжи и пропаганде, от которых редко добьешься правды. Да просто реального положения вещей.

Я даже подозреваю, что далеко не у всех европейских лидеров бомбежки Югославии (их европейского соседа, который к тому же имеет исторические заслуги в борьбе с гитлеризмом) вызывали восторг. Но почему же тогда вслед за Америкой Европа устремилась в эту бойню (не с такой силой, правда, как Америка, которая бросила на Югославию 700 самолетов, две трети всех участвовавших в войне), но все же воевали против югославов самым активным образом? Так во имя чего же? Как мы, наверное, поняли, лозунги оставались лозунгами и шли главным образом для внутреннего потребления и вряд ли способны были объяснить истин-

ные мотивы европейцев, которые на самом деле были куда более прозаичны, чем об этом трубила пропаганда.

Оставим за скобками союзнический долг членов НАТО, хотя сбрасывать его со счетов нельзя — Северо-Атлантический Альянс с давних пор читает себя гарантом демократии в Европе, принявшим на себя очень важную миссию. И естественно, если один из членов НАТО считает необходимым предпринять военную акцию, то все другие партнеры видят свой долг в том, чтобы ее поддержать. Тем более, когда инициатором акции выступит лидер Альянса, в военном отношении самый могущественный из всех его членов. (Практика не знает случаев, когда какой-то из членов НАТО позволил себе поступить вопреки его общему решению.) Все это так. Но вместе с тем трудно поверить, что у членов Альянса не было и собственных интересов в этой войне. во-первых, специфических интересов, проистекающих из их исторически сложившихся отношений с участниками конфликта — и, во-вторых, общеевропейских интересов, которых мы также обязаны хотя бы кратко коснуться.

Начнем с ведущих стран Европы, таких, как Франция, Великобритания или Германия. Что побудило их пойти в фарватере Америки против Югославии, с которой их связывает дружба военных лет и в сущности, ничего не разделяет — ни рынки, ни политические интересы, ни какие-либо пограничные конфликты и неурядицы?

Мой ответ на этот вопрос может показаться странным и не бесспорным. Тем не менее, мне кажется, что за ним правда. Так вот, не бросило ли их в объятия войны их собственное, внутреннее положение?

Я не скажу ничего нового, если напомним читателям о раздирающих Европу социальных конфликтах и баталиях, массовых забастовках и демонстрациях, всяких левых и прокоммунистических движениях. Дня не проходит, чтобы до нас не доходила все новая и новая информация с европейского поля социальных битв. Притом, новизна ситуации состоит в том, что правительства уже не в состоянии справляться со все возрастающим социальным кризисом.

Как и на что отвлечь внимание повсеместно бунтующего против сложившихся порядков населения? Кажется именно в этом сегодня одна из самых болевых точек Европы.

Еще большевики хорошо понимали истину — когда в странах капитала обостряются классовые бои, их правительства вынуждены развязывать империалистические бои. Но даже, если мы оставим в стороне всю эту большевистскую ортодоксию о «классовых боях» и «империалистических боях», то вопрос о войнах как факторе, отвлекающем население от социальных проблем, останется на повестке дня. Останется, но модифицируется, сообразно времени и ситуации. Так и война в Югославии.

Не будем впадать в крайности и утверждать, что только на нее как на некую «палочку-выручалочку», был расчет европейских правителей. Да и не думаю, что кто-то из них рискнул обсуждать этот расчет вслух. Но если в природе такой расчет все же существовал, то ей-ей он был не так уж не верен. Война есть война и она всегда отвлекает население. Чаще всего не в большевистском смысле. Тем более, когда мы говорим о локальной войне, вспыхнувшей в Югославии, — на войну не ринулись европейские добровольцы, не последовали призывы в армию, в госпитали не хлынули потоки раненых. И все же — у населения рядом с мучившими его социальными проблемами, стали появляться другие дела и другие ценности.

Один только пример. Когда в Европе во весь рост встала проблема косовских беженцев, то, может быть, самый большой резонанс она нашла во Франции, когда в правительственные органы посыпались массовые заявления от французов, готовых принять беженцев в своих домах. Под натиском этой проблемы на время отступили и умолкли бастующие. Приостановились стачки. Все говорили о необходимости помочь несчастным.

Так, для французов война их летчиков против югославов парадоксальным образом обернулась гуманитарной помощью в пользу другой воюющей стороны.

Пример этот подчеркивает многофакторность такого понятия как война. Ее нельзя определить лишь знаками «плюс» или «минус». На примере войны в Югославии мы видели, сколько лицемерия таилось уже у ее истоков. Но не одно же лицемерие. Война заключает в себе и много парадоксов, даже если носит открыто несправедливый характер и служит своекорыстным целям правителей, подобных Клинтону. И не только Клинтон — в чем-то все европейские партнеры НАТО были равны. Все они были равно расчетливы, равно бездушны к жертвам, равно лицемерны.

Война с Югославией в условиях того, что весь ее груз взяли на себя Соединенные Штаты, ничем не грозила европейским участникам НАТО. В то же время она укрепляла их единство и между собой и с Соединенными Штатами, становилась мощным европейским полигоном на случай любых международных конфликтов. Отвлекала внимание населения от социальных конфликтов, с которыми правительствам все труднее было справляться. Ну а то, что эти выгоды были оплачены тысячами жертв среди мирного населения, — подобные обстоятельства вряд ли вообще принимались в расчет руководителями Альянса.

Пиррова победа НАТО

Это эссе — не о югославской войне. О ее ходе и результатах хорошо известно и без меня. Мое эссе — о современном мире и ее политиках, о их политической слепоте и эгоизме и в конечном счете о их неспособности хотя бы в третьем тысячелетии привести человечество к миру и благоденствию.

Югославская война, развязанная, по утверждению этих политиков, во имя демократических идеалов, внушает в этом контексте не серьезные надежды, а скорее пессимизм и безверие. И не только потому, что война эта вызвала массовое кровопролитие (лишь среди сербов число жертв среди мирного населения превысило две тысячи человек, ущерб от разрушений — 200 милли-

ардов долларов, не говоря уже о миллиардных затратах нападающих сторон) — так вот, сколь бы ни велики были эти цифры, они — одне сегодняшнем и, как бы война не сотрясала сегодняшнюю жизнь, будущее мира остается в тумане. Ни один прогноз не в состоянии ответить нам на вопрос, сколько еще впереди войн. Ясно лишь одно, что будущее произрастает из настоящего и только оно дает возможность экстраполировать завтрашний день мира.

Все это азы исторического развития, но опираясь на них, есть смысл бросить трезвый взгляд на это наше «сегодня», чтобы хоть как-то понять то, что мы называем днем завтрашним.

Естественно, маленькая Югославия не могла выдержать сражения с Северо-Атлантическим альянсом. Так что не приходится удивляться тому, что результатом войны была ее полная капитуляция. Руководители НАТО и, прежде всего Белый Дом, и по сей день не устают трубить о победе. Сербские войска и военная полиция изгнаны из Косово, которое поделено между победителями на ряд секторов. Так называемая Народно-освободительная армия албанцев разоружена. По крайней мере на бумаге. Кажется, странам НАТО остается лишь пожинать победу, все расписано и предусмотрено победителями, чтобы обеспечить мир на Балканах. Но парадокс в том, что никогда еще, на протяжении всей своей истории, Балканы не были так далеки от мира, как сегодня. А если это действительно так, то не выглядят ли все жертвы напрасными, а сама война бессмысленной?

Не случайно Клинтон сразу после окончания войны решил совершить вояж в районы театра военных действий. Вряд ли он даже надеялся, что своим появлением в этих пострадавших местах внесет успокоение в сердца людей. Тем не менее вояж его весьма и весьма примечателен и даже подводит к сравнению с одним из небезызвестных героев Достоевского. Так вот, как мне кажется, что подобно тому как Раскольников тянуло к месту совершенного им убийства, Клинтона, как инициатора и виновника кровавой трагедии в Югославии,

тянуло по тем же психологическим законам к ее жертвам. Хотя бы для того, чтобы успокоить себя, что война была не напрасна, сказать ее жертвам какие-то необходимые им слова.

Естественно, выступать среди сербов, встретивших его приезд проклятиями, президент не решился, а предпочел появиться близ одной из деревень Македонии и выступить перед косовскими беженцами (последние долго не могли поверить глазам, что к ним пожаловал сам Президент Соединенных Штатов.)

Какие же слова они услышали из уст президента? Внес ли он в их умы и сердца хоть какое-то успокоение? Да они просто не могли предположить, насколько далеко отстоят его мысли от их ожиданий и их мечтаний о будущем. Клинтон вообще предпочел не касаться их будущего. Единственно, на что он мог решиться, — это дать явившимся на встречу бездомным и пострадавшим людям два «бесценных совета». Первый совет — не спешить в покинутое ими Косово. Их путь домой изобилует минами, на которых легко подорваться, сейчас минные поля разминируются и позже будет легче. Второй совет — ни в коем случае не мстить сербам. Мечь — это де нехорошее чувство и им нельзя руководствоваться, поучал президент. Все люди на земле должны жить в мире и согласии. Вот так, стало быть в мире и согласии. В этом и была вся мудрость, услышанная ими в тот день от Президента.

Как отмечали обозреватели, в своем выступлении Клинтон был чрезвычайно сдержан. Но то, о чем он умолчал, выбалтывают ежедневно европейские газеты, об этом же говорят бесчисленные факты — «в Приштине завязалась ожесточенная перестрелка между миротворцами и солдатами НАТО», «возле одной из косовских деревень подорвалось два английских солдата», «бойцы албанской освободительной армии обстреляли немецкие танки», — словом, *bella omnium contra omnes* — война всех против всех. Таковы первые результаты военной акции Альянса. А что же в будущем? Чем обернется для Европы только что закончившаяся война?

Вот что об этом пишет антисербски настроенная немецкая газета «Лайпцигер Фольксцайтунг»: «Еще многие годы придется выделять миллиардные суммы на восстановление Югославии, и тем не менее нет уверенности в том, что за эти деньги можно будет купить демократизацию югославского государства. По мнению экспертов по Балканам, международным миротворческим силам придется как минимум 15-20 лет в полном вооружении оставаться в регионе, чтобы хрупкий мир не вылился в очередной геноцид. При этом нет никакой гарантии, что на примере Косова удастся продемонстрировать неделимость и неизбежность понятия «права человека».

Опубликованный газетой прогноз не сгущает краски, напротив, он как будто бы намеренно обходит «опасные рифы» на пути к миру. Касаясь слабых надежд на демократизацию Югославии, он почему-то не касается террора Албанской освободительной армии (которая выразила согласие разоружиться только при условии, что за ней сохранят статус народной гвардии!?), ничего не сказано о будущих кровавых конфликтах между враждующими сторонами, как и о конфликтах с миротворцами НАТО, наконец, об угрозе анархии, которая может охватить Балканы в обстановке не утихающей вражды и ненависти между разными этническими группами.

Война, которая поставила целью покончить с насилием, оказалась способна лишь породить новое насилие. Эта старая истина, известная народам еще много веков назад, оказалась предана забвению суетливыми и сиюминутными политиками, за ошибки которых придется расплачиваться будущим поколениям.

На Западе войну с Югославией принято считать успешной, потому что она не стоила жертв тем, кто ее развязал: за время бомбежек не погиб ни один натовский летчик и солдат. Но положение, как мы видели, резко меняется к худшему, а, если на Балканах начнется анархия, число жертв будет стремительно увеличиваться и из-за партизанской войны и терроризма положение может стать и вовсе драматичным.

В случае, если жертвы среди натовских миротворцев будут расти, страны, которые их послали на Балканы, начнут требовать их возвращения назад. В США, как это уже не раз случалось, начнутся массовые демонстрации и возмущение в адрес правящих кругов — де из-за каких-то там сербов и албанцев гибнут наши ребята, страна стоит перед лицом нового Вьетнама и т. д.

Могут, конечно, со стороны натовских подразделений начаться акты возмездия, а то и широкомасштабные военные действия, и это еще более отдалит мир и спокойствие. И снова станет вопрос — что делать с Балканами, этой вечной пороховой бочкой Европы, и снова на него не будет ответа.

Россия в новой ситуации

В руководящих кругах Москвы часто можно услышать, что, избежав войны, Россия с честью вышла из Балканского кризиса. Иногда ситуация формулируется по-другому: в создавшихся условиях мы получили максимум возможного. Но вряд ли вы можете услышать, что вместе с Югославией крупное поражение понесла и Россия. И как это ни странно, без потери единого солдата или вершка своей территории.

Истории известны подобные ситуации. Они наступают тогда, когда поражения случаются не на полях битв, а на других, впрочем, ничуть не менее важных фронтах, где происходят столкновения политических и военно-стратегических интересов.

Но о поражениях этого рода в Москве предпочитают умалчивать, и больше говорят о событиях каждодневных и практических, а здесь как будто бы есть даже успехи (контролируем вместе с НАТО мир на Балканах, ввели свои войска и пр.).

Итак, что же произошло на самом деле? Каков российский аспект югославской проблемы, более всего интересующий нас? Успехи бывают разные — истинные и придуманные. Утверждения политиков и газет часто тоже выглядят как победы.

Почему это так близко относится к России? Да потому, что для Кремля во все времена (в том числе и в коммунистические, сталинские) престиж и амбиции были превыше всего. Не то, что мы действительно являемся великой державой, а то, что весь мир нас признает таковой. Не то, что мы реально стали ведущей европейской страной, а то, что опять же всеми признаны и вошли на равных в состав европейской восьмерки. Пусть гибнет мир, но Россия была и есть великая держава, не считается с которой не сможет никто. В разных редакциях нам нередко приходилось и приходится это слышать.

Когда начались бомбежки Югославии, со стороны России, как из рога изобилия, стали посылаться в адрес НАТО угрозы и ультиматумы, де Россия как великая держава не останется безразличной к ситуации на Балканах, не оставит Югославию без поддержки в ее неравной борьбе с агрессорами из НАТО, что она вообще порывает всякие отношения с Северо-Атлантическим Альянсом. А когда весь этот всплеск угроз и ультиматумов не возымел никакого действия, наши политики и дипломаты на 180 градусов изменили курс.

Россия решила выступить в роли миротворца, причем миротворца номер один. Вести переговоры было поручено бывшему российскому премьеру Черномырдину. Понятно, что за этой инициативой стояло сочувствие дружественному славянскому народу, но не только это. Москва стремилась предотвратить установление безраздельного влияния сил НАТО на Балканах, и, в частности, в Косово. Так или иначе дело прекращения войны и установления мира Россия пыталась полностью взять в свои руки.

Сейчас, по прошествии времени, возникает вопрос, а какова была ее действительная роль на пути к миру, а заодно и роль Черномырдина, чья челночная дипломатия чем-то даже напоминала стиль Киссинджера?

В некоторых кругах России, по большей части либеральных, его деятельность возносилась до небес. (Он де уговорил Милошевича принять все условия, выдвинутые НАТО, и тем самым приблизил час мира.) С другой

стороны, в Думе и военных кругах его неизменно подвигали критике, не останавливались даже перед тем, чтобы называть сделанное им предательством. Так вот, если трезво взглянуть правде в глаза, Черномырдин, хоть и много ездил по всей Европе, но на самом деле ничего не приблизил, как и никого не предал, он просто ничего реально не добился. Да и не мог ничего добиться при том положении, какое занимает нынче Россия.

Мир наступил под воздействием тяжелейших бомбардировок, которые изо дня в день подводили Югославию к смертельно опасной грани, они-то (а не дипломатическое искусство Черномырдина) и привели Милошевича к капитуляции. Но Россия оставалась Россией и продолжала делать хорошую мину при плохой игре. В ответ на отказ стран НАТО признать за ней равноправную роль среди миротворческих сил она пошла на чисто российский демарш: послала в Косово военный десант числом двести человек и овладела Центральным аэропортом в Приштине. («Де, знайте русских, которые ни в жизнь вот так за понюшку табаку не сдадутся».) Но этим «потешным» десантом так все и кончилось — НАТО подтянуло свои силы к аэропорту, батальон был со всех сторон окружен. Ни одна из стран (в том числе Венгрия и Болгария) не согласилась предоставить свое воздушное пространство для доставки подкреплений, и России ничего не осталось делать, как подписать соглашение, по которому ей даже не был предоставлен свой сектор для размещения ее миротворческих подразделений. И они, эти подразделения, должны будут разместиться внутри трех секторов НАТО (хотя и будут действовать под собственным командованием).

Россию снова унизили, но унижение снова было объявлено победой — еще бы, НАТО соблаговолило разрешить послать на Балканы три тысячи миротворцев. «Все-таки три тысячи!» (как говорится, не фунт изюму!) — хвастались российские политики, пытаясь снова делать хорошую мину при плохой игре. И никакой десант не помог. В оправдание этого потешного десанта российская сторона еще перед подписанием соглашения в Хельсинки

поспешила заверить НАТО, что не собирается ничего предпринять против главных сил миротворцев.

И Альянс, пережив в первые дни шок от демарша русских, в свою очередь умерил гнев. И объявил, что переговоры проходят нормально. Для конфликта просто не оставалось места.

Следует также подчеркнуть, что весь этот театр разыгрывался на фоне целой буффонады с Международным валютным фондом и его недвусмысленных предупреждений. То в виде довольно прозрачных намеков, то в виде грозных учительских предостережений расшалившимся подросткам. «Де будете, ребята, шалить, не видать вам обещанного, как своих ушей!» Очередная ссуда МВФ была подвешена перед носом российских руководителей, как кусок сыра на ветке, готовый в любое время сорваться — одно неловкое движение и не видать им сыра, как своих ушей. Вот в такой милой «партнерской обстановке» и приходилось действовать вчера еще великой России.

Так что неудивительно, что журналисты так мало уделяют внимания подписанным в Хельсинки соглашениям. Чего писать — правда выглядит слишком горькой, чтобы ее высказывать вслух даже перед собственным населением. Нет больше великой державы России, способной во весь голос говорить на международной арене, а есть трижды униженная, полуразвалившаяся и пропадающая в нищете страна, которая стоит перед Западом с протянутой рукой. Может быть, что и перепадет с барского плеча. Ну а то, что Запад нас больше не ценит, не уважает, считает третьестепенным государством, так и пусть его. Будем ориентироваться на Китай и создадим новый многополюсный мир, о чем было заявлено тотчас по подписании косовских соглашений. И для иллюстрации нового курса по всем телевизионным каналам демонстрировали кадры об экстренном прибытии в Москву китайской военной делегации. Будто Китай спит и видит, как бы взять на буксир нищающую изо дня в день Россию. При Сталине не хотел, при Хрущеве не доверял, а вот сейчас, когда дошли до ручки, решил-таки вступить в

братский союз навеки. Так что, как не суди, как ни ряди, с Китаем тоже бабушка надвое сказала. А пока надо платить по счетам Западу. За все, что сами и натворили, за неудавшуюся демократию, за кризис в экономике, за провал свободного рынка... Вот как хозяйствовали — за что ни брались, все проваливали, потому что во все времена предпочитали надеяться не на себя, не на собственный труд, а на чужого дядю. На какого именно? А это уж кто судьбой выпадет — на американского ли, на немецкого, на английский, на международного ли, — мир не без добрых людей!

Что касается поражения в Югославии, то ведь и оно произошло, точнее, предопределилось не сегодня, а гораздо раньше — и вот парадокс: совпало, как и многие подземные обвалы, с приходом свободного рынка и демократии. Просто раньше только подозревали, что доведенное до ручки Отечество не будет иметь веса на международной арене. Да, только подозревали (слишком уж долго верили в Россию-матушку, в то что Москва — третий Рим. А четвертому не бывать). А на сей раз воочию убедились, чего на самом деле стоим — на живом примере с Югославией — когда, казалось, ничего кроме мира не хотели. И получили по носу не за агрессивность (за нее-то в сталинские времена как раз были вознесены на олимп), а за самые чистые и миролюбивые помыслы, ибо забыли о существовании в мире закона джунглей, где выживает сильнейший и что этот закон джунглей посильнее законов социальных. Но, если бы все это только по наивности — де чересчур увлеклись свободой и демократией! В том-то и дело, что наивность российская тут ни при чем, да и существует ли такая вообще на белом свете? И уж если говорить, что при чем и в чем причины, то, может, всему виной все та же наша вера во все того же чужого дядю, ну и в то еще конечно, что, может, все само собой образуется, — и свободный рынок, и высокий уровень жизни, и военная мощь, и дружба навеки с Китаем. Вот только запоем песню «Москва—Пекин, Москва—Пекин...» и глядишь само все и пошло. Но это уже другая тема, и о ней как-нибудь в другой раз.



Владимир ШЛЯПЕНТОХ

СОВЕТСКОЕ ПРОШЛОЕ И ПОСТСОВЕТСКОЕ НАСТОЯЩЕЕ

Заметки социолога

Вероятно, не все знают, что существует специальная ветвь биологии под названием герпетология, которая изучает самые непривлекательные живые существа на Земле (пресмыкающихся и иже с ними). Трудно подзреть ученого, изучающего тщательным образом морфологию и физиологию жабы и старающегося понять, как функционирует это существо, в каких-либо симпатиях к объекту своего исследования.

В этих заметках я выступаю как герпетолог, который относится к своему объекту исследования — советскому обществу — примерно так же, как настоящий герпетолог относится к своим рептилиям. Более того, я его терпеть не могу. Я понял тоталитарную суть советского общества с моим покойным другом Исааком Канторовичем в 1947-48 годах, когда мы были студентами Киевского университета — в эти страшные, и особенно для

евреев, времена... Мы осознали тогда на полную катушку, что советская и гитлеровская системы близнецы-братья, и всегда из-за наших мыслей боялись КГБ.

Мы с презрением относились к советской идеологии и ко всей системе, и уже тогда мечтали, понимая абсолютное безумие этой идеи, покинуть страну символически через Джунгарские ворота, находившиеся где-то на границе Казахстана и Китая — кодовое понятие в наших тайных разговорах. Еще живы люди, которые могут подтвердить это.

Позже, после смерти Сталина, моя ненависть к системе ослабла в надежде на ее трансформацию, но никогда не проходила.

Я никогда не был членом партии и, хотя не был диссидентом, мои симпатии к ним были очевидны для всех, включая все то же КГБ.

Я уехал из страны в 1979 году и был счастлив, что покинул советское общество и даже минуты ностальгии у меня не было по нему, хотя мой научный и социальный статус накануне отъезда был вполне хорошим (конечно, с учетом моей национальности). Поэтому текст, в котором я пытаюсь «объективно» оценить это общество, ни в коем случае не должен хотя бы в малейшей степени быть интерпретирован как проявление к нему малейшей симпатии. Я и сейчас продолжаю смотреть на советское общество с ужасом и отвращением.

Невероятные расхождения взглядов

Поистине достойно сожаления обстоятельство, что в области, в которой я работаю, существуют такие невероятные расхождения по любым серьезным вопросам советского и постсоветского этапов российской истории. Расхождения эти столь широки, что невольно возникает сомнение, имеем ли мы действительно дело с наукой.

Мне известна только одна сфера, связанная с научной деятельностью, в которой расхождения взглядов столь же велики. Это американские взгляды на проис-

хождение человека. Примечательно, что в Америке почти одно и то же число тех, кто стоит на дарвинистских позициях, и тех, кто исповедует совершенно противоположные библейские взгляды.

Дебаты о развитии России часто выглядят столь же продуктивными, сколь дискуссии между сторонниками происхождения человека от обезьяны и божественных истоков его появления на земле.

Мне представляется, что такое неразрешимое расхождение взглядов на историю России после 1917 года произошло потому, что большинство точек зрения на проблему содержат в себе нравственные оценки обсуждаемого предмета. Моя утопическая надежда состоит в том, что мы достигнем хотя бы относительного взаимопонимания только в том случае, если перестанем рассматривать оба общества — и советское и постсоветское, — как «хорошее» или «плохое», если не будем изучать эти системы с помощью таких моделей, как «истинный» социализм, «дикий» и «цивилизованный» капитализм или российское общество, основанное на русских национальных традициях.

На мой взгляд, обе системы — советская и постсоветская — должны рассматриваться как особые социальные организмы, отличия между которыми столь же велики, сколь и отличия каждого из них от других социальных систем.

Очень важно подчеркнуть, что оба они сформировали свои политические, социальные и экономические структуры, все свои главные институты в первые годы своего рождения. Советское общество — в 1917-1920 годах, постсоветское — в 1991-1993 годах. В обоих случаях институты, которые были образованы в начальные периоды существования обеих систем, мало изменились в последующие годы.

В случае с Советским обществом оно существенно изменилось до 1989-1991 годов, в другом случае постсоветское общество не изменилось в последующие пять лет после 1993 года — и по моим прогнозам вряд ли изменится в предстоящие годы.

Главный вопрос состоит в том, что, сравнивая один с другим эти социальные организмы, мы должны рассматривать их не как «лучший» или «худший», а как «нормальный» или как «ненормальный».

Что значит «нормальное» общество

Под нормальным обществом я понимаю такую социальную систему, которая является «работающей», которая способна сама себя воспроизводить, опираясь на существующие в ней социальные институты, законы и нормы в течение значительного периода времени. Такой подход связан с функционализмом, а также с концепцией воспроизводства, которая сыграла такую большую роль в развитии классической марксистской мысли.

Другой источник, на который я опираюсь в своем подходе, — это экологическая концепция «самоподдерживающего роста», экономический процесс, который в ходе своего развития не разрушает собственную базу.

Такой подход предполагает, что мы не будем использовать в качестве критерия «нормального» или «ненормального» общества уровень жизни населения, уважение к правам человека, политические свободы, принадлежность к той или иной религии или какие-то другие подобные требования.

Советская система могла сама себя воспроизводить

Мой главный тезис состоит в том, что советская система была «нормальной», потому что она была способна воспроизводить себя и осуществлять передачу власти от одного лидера к другому без кровопролития. Ее экономика была «работающей» вопреки прогнозам Людвиг фон Майзеса и Фридриха фон Хаека, притом работающей настолько успешно, что оказалась способной создать гигантскую военную машину, позволившую России впервые в истории достигнуть военного паритета в соревновании с Западом. Ее руководители, и не

только Сталин, но и Брежнев, не говоря уже о Хрущеве и всей номенклатуре в целом, в отличие от тех, кто правит Россией сегодня, активно занимались долгосрочными перспективами развития страны, выходящими за границы их личной жизни.

Определение советской системы в качестве нормальной тоталитарной системы очень близко к тому обществу, которое изображают в своем романе «Жизнь и судьба» Василий Гроссман и Александр Зиновьев в своих «Зияющих высотах».

Вопреки консерваторам и либералам

Характеристика советской системы в качестве «нормальной» направлена против взглядов американских консерваторов, которые рассматривали Советский Союз как больное, патологическое общество, в частности и потому, что оно было создано бандой преступников, как утверждает Ричард Пайпс или как утопический картонный домик, построенный мечтателями и лунатиками, как утверждает Мартин Малиа.

Но приведенное выше определение направлено также и против американских либералов, которые пытались представить Советский Союз как общество, превосходящее капиталистическую систему, или, по крайней мере, общество не менее демократическое, чем капитализм в Соединенных Штатах.

Как развивается историческая наука: новые факты или новое видение!

Историческая наука развивается в основном не потому, что история откапывает новые факты о прошлом, а потому, что современность позволяет по-новому видеть прошлое — точка зрения, еще относительно недавно развиваемая Франком Фурье: его новое видение французской революции базировалось не на новых фактах, а на опыте 20 века.

Вспомним, что первое открытие тайных советских

архивов не вызвало никакой сенсации. Хорошим примером в этом смысле явилась книга Владимира Буковского «Суд в Москве». Знаменитый диссидент опубликовал сверхсекретные протоколы заседаний Политбюро, несбыточная мечта историков до наступления 1991 года. И что же? Эти и другие секретные материалы вызвали весьма малый интерес в среде советологов.

В действительности, историческая наука развивается благодаря новому человеческому опыту, помогающему нам видеть прошлое с точки зрения новых перспектив и очень по-разному оценивать хорошо известные факты.

Так, практика постсоветского общества открывает для нас возможность глубже понять ставший достоянием истории Советский Союз. Один из лучших путей для этого — выяснить, что же явилось причиной гибели советского общества.

Мы знаем, что еще и теперь, несмотря на прогресс медицины, диагнозы патологоанатомов, исследующих трупы, иногда заслуживают большего доверия, чем диагнозы наших докторов.

О «порядке» в советском обществе

Очевидным является то, что советская система не пала в результате того, что правительство утратило контроль над страной. С понятием контроля над обществом тесно связано понятие порядка.

Постсоветский период ясно показывает, что советские правящие круги оказались способны установить относительно высокий уровень порядка в стране. Одержав победу в Гражданской войне, советские коммунисты установили свой порядок в России и сохранили его почти нетронутым до 1989 года. Государственная дисциплина, которую каждый, кто как мог, поносил со времени смерти Сталина, по сравнению с постсоветским периодом, была достаточно высокой.

Члены правящей элиты, та самая пресловутая номенклатура, были в основном государственные люди, кото-

рые в известной степени действительно были озабочены интересами государства, партии и народа.

Определенно, преступления и коррупция были «нормальными» явлениями советской жизни, получившими большое распространение особенно в последний период существования СССР, но их уровень по сравнению с постсоветскими временами был куда более скромным. Российская коррупция на всех уровнях бюрократии и преступность в кругах высшей политической элиты — по крайней мере эти феномены не были известны Советскому Союзу.

Ностальгия по порядку

Не приходится удивляться, что тоска по порядку — это одно из преобладающих чувств у населения сегодняшней России. Не менее 80 процентов россиян рассматривают его отсутствие как главный недостаток их сегодняшней жизни. Примечательно, имена каких политических лидеров называют россияне среди тех, кто мог бы навести в стране надлежащий порядок. Первым упоминается Андропов, которому отдают предпочтение 19 процентов населения, затем Сталин, за него выступают 12 процентов.

Почему пал Советский Союз? Среди причин его гибели мы не находим национально-этнические конфликты и стремление отделиться со стороны национальных окраин Советского Союза. Это была мощная империя, в которой доминирующее место принадлежало русским.

До 1985 года национально-этнические отношения в СССР в основном носили миролюбивый характер. Конечно, существовали КГБ и Партия, которые выковывали с помощью силы «дружбу народов». Однако в любом случае до середины 60 годов империя была спокойна и не наблюдалось ни малейших следов какой-то угрозы ее существованию.

Постсоветский период показал, насколько привлекательнее была империя для многих национально-этни-

ческих групп, существовавших на ее территории, так же как это было с Британской империей, если сравнить ее империалистическую и постимпериалистическую эры по числу людей, погибших в межэтнических конфликтах (даже если не принять во внимание такие малоприятные события в британской истории, как Синайский или Махдистский бунты).

Не явилась также причиной гибели СССР неэффективность советской экономической системы.

Конечно, советская экономика была намного менее эффективной, чем экономика рыночная. Конечно, десятилетиями она была поражена болезнями. Темпы экономического роста непрерывно падали, товары выпускались с браком, технологический прогресс снижался. Однако все эти болезни были хроническими и не обязательно с летальным исходом. Больной человек равно как и больное общество, может жить с ними много лет.

Нефть и газ

Итак, по сравнению с постсоветскими временами советская экономика выглядела не так плохо. Во всяком случае упреки в адрес экономики СССР в том, что она базировалась в основном на экспорте нефти и газа, которые мы часто слышим из уст либералов, могут вызвать лишь улыбку. Зависимость постсоветской экономики от экспорта нефтепродуктов куда большая, чем мы это наблюдали в советские времена. Не менее поразительно, как те же либералы упрекают советскую экономику в игнорировании рыночного механизма. Особенно смешным это выглядит в свете роли бартерных сделок в постсоветской экономике, в которой 50-70 процентов всех расчетов базируется на натуральном обмене, при котором рабочие получают зарплату даже в виде гровов, в зависимости от продукции, выпускаемой фирмой. Самый последний пример — Свердловский регион, где в качестве денег для местных взаиморасчетов использовались пустые бутылки.

Настроение масс

Следует далее отметить, что падение Советского Союза не было результатом недовольства его населения. Всякие теории о недовольстве населения как главной причине гибели советского общества абсолютно ошибочны. До 1985 года советское общество было одно из самых спокойных в мире. Число публичных беспорядков было минимальным.

Эти теории вызывают особое удивление в свете развития событий в постсоветском обществе.

Русские пережили катастрофу 1992 года, когда их накопления пропали и уровень жизни упал в течение одной ночи в два-три раза.

Русские легко прошли через финансовую катастрофу 17 августа 1998 года, и снова никаких публичных беспорядков.

Русские терпимо относились и относятся к невыплатам зарплаты в течение месяцев и даже лет. И снова никакого бунта. Куда дальше, если миллионы русских страдают в течение последних зим из-за отсутствия нормального отопления, недостатка электричества? И что же? Опять никакой публичной реакции.

Массовое недовольство в советские времена тем более было вообще невозможным. И после всего этого кто-то хочет рассказать нам, что в условиях советской тоталитарной системы недовольство народа привело к падению советской империи.

У русских людей было много терпения как в постсоветский период, так и в советские времена. Однако существует большое различие между тем и другим. Терпение людей в СССР основывалось на том, что они принимали существующую систему, тогда как терпение в постсоветский период выступает в более «чистом» виде, поскольку оно комбинируется с неприятием системы.

Давайте теперь в свете постсоветского развития посмотрим на жизнь советского общества в деталях. Уровень жизни после падения СССР выглядит совершенно

по-другому, чем прежде. Многие опросы, которые были проведены (с моим участием) в 70-х и 80-х годах показывали, что большинство советских людей рассматривали свое материальное положение как вполне приличное, несмотря на многие недостатки и прежде всего очереди за потребительскими товарами. Общенациональный опрос 1976 года, вызывая поразительное удивление, показал, что советские люди оценивают (по пятибалльной системе) жизнь в своей стране четверкой, в то время как в Соединенных Штатах по той же системе — тройкой, а жизнь в тогдашней ГДР — пятеркой.

Почти половина людей в СССР принадлежала к советскому среднему классу, что определялось несколькими существенными характеристиками. Существуют различные оценки уровня жизни в постсоветской России, но бесспорным является то, что даже накануне 17 августа 1998 года этот уровень жизни был гораздо ниже, чем перед 1981 годом. Во всяком случае сегодня удовлетворены своей жизнью не более 10 процентов. И две трети россиян уверены, что их жизнь в советские времена была лучше, чем сейчас.

Защищенность личности

Постсоветский период позволил россиянам в полную меру оценить, насколько важное значение в обществе приобретает такой фактор, как защищенность личности. Конечно, сталинский террор был страшен, однако после 1956 года репрессивный аппарат, держа в страхе большую часть общества, прямо наказывал только диссидентов. В то же время средний советский гражданин чувствовал себя полностью защищенным от преступников и, если он не доверял милиции, то гораздо в меньшей степени, чем теперь. Сегодня русские могут засвидетельствовать имеющую в стране место децентрализацию страха, потому что у страха много источников, и милиция полностью растеряла доверие населения.

Политическая отчужденность

Советские люди, и в особенности интеллигенция, испытывали полную отчужденность по отношению к партийному аппарату. «Они» и «мы» — вот главная парадигма, жившая в умах советских людей.

И все же данные 60-х и 70-х годов свидетельствовали, что большинство советских людей принимали советский, политический, экономический и социальный порядок, включая руководящую роль Коммунистической партии. Советские люди полностью поддерживали советскую иностранную политику, включая интервенцию в Венгрии и Чехословакии, и даже в Афганистане. Однако теперь отчужденность по отношению к властям усилилась в громадной степени.

Вот данные ВЦИОМА:

	Советская власть	Современная власть
Близка к народу	36 %	2 %
Далека и отчуждена от народа	8 %	41 %
«Своя, близкая»	32 %	3 %

Почему погиб Советский Союз?

Но если Советский Союз не погиб из-за неуправляемости и беспорядка, из-за неэффективности экономики, из-за недовольства населения, из-за этнических конфликтов, из-за интервенции извне, то в чем же причины этого важнейшего события в 20 веке?

Причина лежит в неудачных попытках реформировать советское общество, которое без либеральных горбачевских реформ могло со своим ядерным оружием просуществовать еще много лет, даже сохраняя контроль над Восточной Европой. Перестройка была начата Горбачевым с благословения Политбюро, КГБ и армии для того, чтобы сохранить военный паритет с Соединенными Штатами, который из-за новой рейгановской воен-

ной программы («звездные войны») находился в восприятии Москвы под угрозой.

Перестройка была начата программой экономического и технологического ускорения под абсолютно прежними политическими лозунгами. Гласность вначале должна была помочь решению этой задачи, мобилизуя потенциал интеллигенции и всех активных людей в стране на службу Кремлю и на выполнение задач по сохранению статуса СССР в мире.

Горбачев очевидно верил тогда, что модернизированный социализм может быстро добиться этих целей. Однако с провалом экономической программы Перестройка стала развиваться по своей собственной логике, и в лихорадочных поисках путей модернизации общества Горбачевым (руководителем тоталитарного государства, а кто еще в Советском Союзе мог принимать стратегические решения до 1989—1990) были принесены в жертву сначала официальная идеология, в которую, несмотря ни на что, до 1985 года верило, с различными ограничениями, большинство русских, украинцев и белорусов и даже часть неславянского населения, затем были принесены в жертву партия и КГБ. А это уже сделало сохранение советской системы, державшейся на комбинации веры и страха, невозможным как в метрополии, так и в имперских провинциях.



Валентин ЛЮБАРСКИЙ

ПРАВДА ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ

«Любое время, став старым, становится золотым», — сыронизировал как-то Байрон. Без иронии лучше: «...все пройдет. Что пройдет, то будет мило». (Пушкин) Однако о непрошедшем времени художники обычно критичны. «Мы дети страшных лет России...» — это Блок о том времени, которое иным кажется сейчас «милым». Трудно себе представить, чтобы нынешнее время России, пройдя, казалось «милым». «Страшное» ли оно — будет ясно, когда оно пройдет. Уже сейчас однако ясно, что оно одно из самых «смутных» в русской истории. И должно казаться только естественным, что и искусство нынешней России, это «зеркало на большой дороге жизни», тоже довольно мутное. В нем «...правят бал разруха, неустроенность, мерзкая рутина жизни и готовая в любой момент выскочить смерть» (из предисловия к «Жизни насекомых» Виктора Пелевина, считающегося одним из лучших среди современных русских писателей).

Соглашаясь, что это естественно, я думаю, что это плохо, но знаю, что в наш позднемодернистский век едва ли может быть иначе. Упрощенно говоря, было бы хорошо, если бы при мрачной жизни искусство могло оставаться светлым. Легче было бы идти через мрак. А невозможно сейчас такое не столько из-за мрачности жизни, сколько из-за природы современного искусства. Далеко не все осознают, что где-то в конце 19-го века начался поворот искусства от гуманистической и эгалитарной направленности к нигилистической и элитарной, направления (модернизма), ставшего доминирующим к началу 20-го века. «Светлое» искусство было бы хорошо с точки зрения масс, а тон в современной культуре, при всех разговорах о засилье «масскультуры», задает искусство для искусства.

Чтобы предупредить недоразумения — выражение «искусство для искусства» не подразумевается мной в том критическом смысле, в котором они употреблялись Чернышевским и другими популистами. Я полагаю это только естественным, что искусство развивается по своей внутренней логике и исходит из своих интересов. Нехорошо только, когда защита им своих интересов оборачивается нападением на не свои — на масскультуру, на «мещан», на «ангажированную» литературу и прочее. Это скользкая тема — о взаимоотношениях эстетического и утилитарного в культуре. Я уже касался ее в статье «Об искажающих истинах и возвышающем обмане» («Время и Мы» № 139), теперь попытаюсь подойти более вплотную.

Ясно, что нынешнее тяжелое положение России обуславливается серьезными социально-экономическими деформациями, которые трудно сразу изменить. Однако при одной и той же объективной реальности общественное восприятие ее, или субъективная реальность, может быть совершенно различным (как говорят, один и тот же стакан может восприниматься наполовину пустым или наполовину полным). Культура и искусство могут существенно влиять на восприятие как в том, так и в другом направлении. Казалось бы, невозможно даже

представить себе сейчас реальную возможность светлого искусства в России, но с другой стороны — искусство большинства периодов нашей трехтысячелетней цивилизации было ведь, что называется, жизнеутверждающим. Хотя большинство периодов было достаточно нелегкими. Подходящий пример — американская культура периода Великой депрессии. Не только популярная (музыка, живопись, кино), но и профессиональная культура. Этот период в ней называется «американское неопросвещение». Многие из знающих Америку как «общество изобилия» не представляют, сколь скучна и трудна была тогда жизнь. Но даже произведения, концентрировавшиеся на трудностях («Гроздь гнева», например), были по сути оптимистичны — «через страдания к радости». Для способных подходить «без гнева и пристрастия» ценным примером мог бы служить и наш недавний период, «лакировочное» искусство которого было вполне успешно в создании нормального настроения при ненормальной жизни. (Не надо много ума, чтобы просто ругать советский опыт, гораздо труднее серьезно анализировать этот феномен — «театр абсурда», действующие лица которого не осознавали абсурда.)

После 60-х годов культуру в Америке (как и после перестройки культуру у нас) нагнал зародившийся в Европе еще в 19-м веке вал модернизма. Но в отличие от Европы и Америки, где происходило тесное взаимодействие эстетических с прогрессивно-социальными детерминантами модернизма, до нынешней России дошла главным образом эстетика. А она в нынешних условиях имеет только отрицательное значение. Отрицательное, подчеркнем, с точки зрения жизни. Потому отрицательное, что, коротко говоря, в интересах эстетики концентрироваться на пустой части стакана, в интересах жизни — на заполненной.

Тема эта скользкая и по существу, но еще больше потому, что обсуждение ее, начавшееся в русской культуре полтора столетия назад, никогда не велось у нас в деловом плане, неизменно соскальзывая к идеологическому, риторическому, морализаторскому и проч...

(Наиболее ярким примером, соединяющим все три, является «Дар» Набокова с его несерьезным подходом к серьезной теме.) Сейчас, когда Россия только освободилась от лжи официозного оптимизма, любые разговоры в пользу оптимизма должны звучать ложными. Но это, извините, «горячка юных лет». И «прощать» ее не следует, ибо, берясь за суть, она одна из причин почему нынешний настрой культуры в России определяется не целями страны впереди, а ее провалами позади. Для тех, кому кажется, что в наше трудное время вопросы, не имеющие прямого отношения к нашим трудностям, неважны или неуместны, напомню, что трудности будущего зарождаются в настоящем. Освобожденная российская культура пошла сейчас наверстывать прерванное революцией развитие по дороге модернизма, не участь, однако, на его ошибках. Оглядываясь назад, ясно, что то, что вполне могло бы обогатить культуру в качестве одной из параллельных линий в многообразном развитии модернизма, стало его главной магистралью, с серьезными негативными последствиями.

Зло жизни и цветы поэзии

В этом вопросе много тумана и путаницы, держащихся на робости среднего интеллигента перед «высоким» искусством. Попробуем разобраться. Для этого полезно отступить назад, к истокам модернизма (середина 19-го века), когда всегда существовавшее и вполне, надо подчеркнуть, естественное расхождение между искусством для искусства и искусством, условно говоря, для жизни стало углубляться и утрачивать естественность. В том смысле, что искусство, специализируясь и профессионализируясь, стало все больше отходить от жизни и исходить из себя, из своей специфики. «Все, что не искусство — безобразно и бесполезно!» — провозгласил первый модернист Бодлер. Это надо видеть в общем плане истории культуры, в частности, как реакцию на провал рационализма Просвещения дать вместо разрушенной им системы мировосприятия (Про-

видение, Бог и проч.) какую-то другую. Впервые в своей истории человек не имел веры во что-то за пределами так или иначе доступной реальности («Бог мертв!»). Отсюда стремление заполнить «пустоту существования» безграничными возможностями искусства, уйти от обыденности «филистерской» реальности в духовность мира искусства, обратить «зло жизни в цветы поэзии».

Со временем уход искусства в себя привел к его повышенной специализации и трансформации репрезентативных, т.е. понятных всем, изобразительных средств в символические, абстрактные, усложненно субъективные, требующие специальной подготовки. Дело, разумеется, не только в средствах выражения, но и в сути: из преимущественно описательной она стала много более аналитической и интроспективной. Показательно такое, например, место из рецензии в «Нью-Йорк Таймс» некоего гарвардского профессора на первую публикацию в Америке в 1925 г. «Улисса» Джойса: «Из ста культурных, любящих литературу людей 90 оставят эту книгу, не дочитав. Из 10 дочитавших половина сделают это по принуждению, я же читал ее с настоящим удовольствием и буду перечитывать еще». Для нашей темы существенно, что он говорит о людях, любящих литературу, и что это ничего, что «самое значительное произведение 20-го века» закрыто для них. Напомню сравнение Вирджинией Вульф Джойса и Толстого в ее дневнике, с заключением, что Джойс «сугубо литературный писатель» и не ровня Толстому. Нынешние писатели считают, что, если средний читатель не имеет труда понимать их последнюю вещь, значит она неудачна. До-модернистские писатели были попроще, и в этой детали отражается зияющий разрыв между эпохами.

Полная ясность и полная честность

Здесь необходимо уточнить взаимоотношения эстетического и прагматического критериев. Через всю историю культуры в ней превалировал то один, то другой

из этих критериев, но не всегда была ясность. Спорящие о тех или иных истинах упускали договориться в какой системе ценностей находится для них главный критерий истины — красоты или счастья (пользы).

Хотя современная культура преимущественно, как я упоминал, популярная, но в тех сферах, которые задают в ней тон, эстетический критерий преобладает над прагматическим. И это, читатель, нормально для «мира искусства» и плодотворно. Но для мира жизни это чревато существенными побочными явлениями. Потому — упрощенно говоря — что углубление и усложнение эстетического требует концентрации на сложностях и конфликтах жизни, что ведет к непропорциональному усилению их в общем фоне жизни. В этом заключено определенное противоречие между искусством и жизнью, которое разрешить не просто, но надо пытаться в направлении не или/или, а — и то и другое. Но для этого нужна полная ясность и полная честность, чтобы «средний интеллигент» не боялся этой ясности. Не боялся признавать, что наш средний вкус не позволяет нам оценить те достоинства, которые видит профессиональный вкус. Что нам, скажем, картины Левитана говорят больше, чем Пикассо или Ван Гога, стихи Есенина, которого знатоки и за поэта-то не считают, не меньше, чем стихи Пастернака, музыка какого-нибудь Дунаевского больше, чем музыка Стравинского и т. д. Не устану повторять: за этим норма. «Мещанин» Пушкин признавал это: «...Но нет, тогда б не мог и мир существовать. Нас мало избранных, счастливых праздных, пренебрегающих презренной пользой, единого прекрасного жрецов» (Моцарт).

Напомню в связи с этим цитирование мной О. Мандельштама в упомянутой статье в № 139 — «Средний русский интеллигент читает своего Пушкина не так, как он написан, а как позволяют ему его способности и диктуют его вкусы». Я провел опрос среди своих среднеинтеллигентных знакомых, спрашивая не ощущают ли они определенный комплекс неполноценности, читая это предложение, и не дает ли им облегчение мое

возражение на него. (Суть возражения — средний интеллигент и его средний вкус есть нормальное явление. Критика его — нет. Она только одна из форм нетерпимости, а нередко просто желание заявить о «высоте» своего вкуса. Лучший пример — тот же Набоков.) Одни отвечали уклончиво, другие уверенно, но суть можно свести к тому, что в моей помощи они не нуждаются, ибо — да, хотя много, конечно, таких, которые не «тянут», но их-то уровень выше среднего. Истоки недоразумения тут в том, что все это разворачивается в еще одном измерении — престижном. При всей кажущейся несерьезности этого измерения, оно фундаментально и вечно по своему влиянию. На нем одном столетиями держится само- и взаимообман в культурной среде. Как заметил Ларошфуко, «мы гораздо чувствительнее к критике наших вкусов, чем наших суждений». Мы потому не решаемся свободно обсуждать принятые оценки в сфере культуры, что боимся обнаружить свою непричастность ей. Хотя в наш век специализации она есть только одна из специальных сфер. Мы, например, не стесняемся признать, что ничего не понимаем в теории относительности (кроме того, что все относительно, только скорость света абсолютна), но не решимся признать, что равнодушны к сложностям Кафки или тонкостям Пикассо.

Робость происходит еще от того, что понятие «культурный» путается с «умный, проникательный». А культурный — это, схематично говоря, просто человек, имеющий определенное образование (или самообразование) в определенных сферах культуры и искусства, совсем необязательно, однако, и очень непрямо влияющих на главное искусство — искусство жизни среди людей.

Взять для примера одну из наиболее престижных и «глубоких» сфер — философию. В отличие от того, что многие непосвященные думают, ее «глубокие места» имеют весьма отдаленное отношение к реальной жизни, вся она, все три тыщи лет занимается вопросами типа «а веревка вещь какая?» То есть, как то, что мы пости-

гаем «практическим разумом», соотносится с тем, что не очень дается нам в сфере «чистого разума», в платоновской сфере «форм», или абсолютных истин. Вся философия есть не столько достижения, сколько выпутывание из трудностей при просчитывании вариантов. Это необязательное хобби, частное пристрастие каждого, вроде бабочек, камушек и т.п.: совсем необязательно быть озабоченным путаницей вариантов. Я знаю много умных людей, которые глухи к той сфере, которая интересна мне в культуре. Так же как сам я глух ко многим другим сферам культуры.

«Я, братцы, мещанин...»

Отрицательное влияние эстетики в культуре на жизнь связано еще и с тем, что это неизбежно ведет к антидемократичности, которая, если условия благоприятствуют, может реализоваться политически (фашизм, коммунизм, национализм и т.п.). Причем, сразу оговорюсь, что демократия есть не вопрос благородства и справедливости, а прагматической необходимости. Ибо это единственное, что может обеспечивать на долгий, подчеркнем, исторический срок эластичную стабильность того непрочного единства противоположностей, каким является человеческая ассоциация. Но при всех декларациях о плюрализме и перспективизме, демократизме и уважении к иным вкусам, вкусы и нормы демоса, все больше, по мере взросления модернизма, становились мишенью пренебрежения художников. «Презрение к мещанам начало всех достоинств» — эти слова Флобера (из письма к Ж. Санд) крайность по форме, но по сути разделяются большинством художников. От этого распространилось сейчас то, что называется «ложным сознанием» (*false consciousness*) — разрыв между провозглашаемыми взглядами и не вполне осознаваемыми склонностями.

Среди многих творческих личностей во всем потоке модернизма выделяются две наиболее мощные и влиятельные — Ницше и Фрейд. Ницше очень удобен для

иллюстрации антидемократической направленности современного искусства. В отличие от подавляющего большинства художников, он не страдал разрывом между взглядами и склонностями. Открыто выступал против «стадности» христианской культуры — религии слабых, угнетенных и ее политического воплощения, демократии, за культуру сильного и гордого человека. Система эстетических ценностей была для Ницше, безусловно, главной. На разные лады повторяется у него тезис «только как эстетический феномен мир может быть оправдан». И, как известно, его мощное творчество имело и продолжает иметь огромное влияние на все искусство модернизма. Современные художники следуют его склонностям, но сторонятся его антидемократических взглядов, логически следующих из склонностей.

Читавшие «Заратустру» скажут — моя философия есть философия ницшеанского «последнего человека». Правильно. «На том стою!» Это от того, что у меня «ложное сознание» наоборот: мои склонности с красотой, но разум подсказывает, что красота монистична и авторитарна и что попытки перевода эстетических взглядов в политические реалии могут приводить только к гитлеризму. Ницше бы, конечно, отверг нацистов как худших мещан, но это были его мещане, мещане его линии. Мои мещане — мещане демократической линии. А без мещан, без среднего класса, можно только в литературных мечтаниях. Напомню, что нацистская Германия «вела борьбу против купеческой Англии за свободу духа» и именно этот аспект нацизма привлек к нему такого яркого и пронизательного сторонника «эстетического феномена», каким был самый мощный, по мнению знатоков, философ 20-го века Мартин Хайдеггер.

Знать, чтобы избегать

Еще раз — одной из наиболее отрицательных для жизни тенденций современной культуры является ее концентрация на неблагополучном. Исторически такое

анти-викторианское направление вышедшего из глубин Викторианского века модернизма было оправдано, ибо под благопристойной поверхностью того века замазывались многие несправедливости и неравенства. С тех пор человечество, как известно, достигло огромных успехов в устранении различных социальных неравенств и несправедливостей. Если на секунду задуматься, мы живем в исторический период (после 2-й мировой) самых стремительных фундаментальных перемен за всю историю. Но тогда как вся структура жизни существенно изменилась, культура продолжает исходить из прежних, устаревших, с точки зрения нужд жизни, установок. «Лучший способ достичь рая, — писал Маккиавелли, — изучать дороги в ад, чтобы избежать его». Наша культура завязла в изучении дорог в ад.

Возникает вопрос — почему это, почему культуру и искусства притягивает неблагополучие? Это сложный, разумеется, вопрос, ожидающий серьезных работ. Намечу только два момента. Во-первых, потому, что это отвечает эстетическим нуждам, внутренней логике усложнения и углубления самого искусства. Вовсе не потому, что отражает, как часто говорят, увеличение неблагополучия в жизни. «Истинные» художники вообще ведь бравируют пренебрежением к жизни. Набоков, например, очень усерден в этом. И как заметил Ричард Рорти в своей лекции на эту тему, «лучшие произведения Набокова те, в которых он забывает о своих любимых идеях». В конечном счете, искусство делает искусством не что, а — как. Не содержание, а форма и стиль. И на мрачных глубинах возможности для усложнения формы и стиля гораздо богаче. Очень характерная деталь: если произведение искусства хоть немного подслащивает жизнь, оно выглядит слабым, преувеличение же дистресса и мрака в изображении жизни никогда не приходит в столкновение с «правдой жизни».

Любопытен в этой связи ответ Набокова на один из вопросов Андрея Седых в интервью 1930 г.: «Почему у здорового, спортивного человека все герои такие свихнувшиеся люди?» — «Свихнувшиеся?... Да, может быть...

В страданиях больше значительного и интересного, чем в спокойной жизни. Я думаю, — все в этом. Есть что-то влекущее в страданиях» (см. «Время и Мы» № 141, стр. 248).

Также надо подчеркнуть, что непропорциональное значение в педалировании искусством мизантропии играет упомянутое выше престижное измерение. С оптимизмом ведь ассоциируются понятия «розовый», «наивный» и т.п., а пророча конфликты и тревоги, никто не рискует утратить репутацию мудреца. Наконец, потому это, что за время освободительно-критического периода модернизма внутри культуры сформировались нигилистические детерминанты, определяющие теперь культуру изнутри нее и независимо от жизни.

«Катарсис» индивидуальный и общественный

Избирательно концентрируясь на неблагополучном в жизни, культура и искусство ставят себя в прямую оппозицию фундаментальной жизненной склонности человека в его реакции на неблагополучие — преодолевать его или уходить от него. Спонтанная поначалу, эта тенденция искусства обрела «научную» основу и дополнительный мощный стимул с развитием психоанализа.

В эссе влиятельного американского критика 40-50-х Лионела Триллинга «Фрейд и литература» прослеживается генезис этого развития. Трилинг считал, что все ошибки и заблуждения Фрейда в отношении искусства, которые он очень интересно разбирает в первых трех частях эссе, перевешиваются одним его достижением — научным обоснованием аристотелевского принципа «катарсиса» (переживание страданий в искусстве помогает человеку переживать их в жизни, ибо «гомеопатическое приложение боли иммунизирует нас к реальной боли».) И достигается это будто бы тем, что через катарсис происходит расшатывание неосознаваемого подавления нами памяти о нашем негативном опыте. Зажатие подавления ведет к неврозам. Но сейчас ясно, что это работает больше в теории. При всей дискреди-

тации за последнюю декаду психоанализа, важно понимать, что ругают его не столько за его дела, сколько за то, что с ними сделали другие. Ведь идеи психоанализа предназначались для индивидуальных случаев, индивидуального подхода и легко видоизменялись или вообще оставались, если не работали.

Неприятности начинаются, когда, выходя за пределы частного случая в общую культуру, они обретают собственную жизнь. В культуре нет корректирующего механизма практики. Если та или иная идея отвечает интересам искусства, оправдывается «эстетическим феноменом», она «верна». Так, сам Фрейд задолго до того, как Трилинг поднимал «катарсис» на щит, охладел к нему как к терапевтическому методу (он работал непостоянно и поверхностно), заменив его методом *transference*.

Еще более, пожалуй, отрицательным оказалось влияние психоанализа на культуру из-за усиления им ее установки на устранение ингибиций и ограничений. В психоанализе речь ведь шла только о патологических ингибициях и репрессиях (*denial & repression*) — как источниках неврозов. В культуре деление стерлось: любые ограничения и подавления рассматриваются как что-то нездоровое, как замазывание пороков и уход в иллюзию. Суть однако в том, что ограничения ведь нужны нам — только «правильные». За этим, опять же то, что в культуре главный критерий эстетический, за пределами ее — прагматический.

Из крайности в крайность

Предвижу, что люди, относящиеся к культуре с уважением, станут мне возражать. Одно из возражений будет основано на обвинении в позитивизме, каковой не мыслится нынче иначе как «узкий», «плоский» и т.п.. Имеется в виду, что позитивизм занимается сферой доступного и доказуемого и пренебрегает тем более тонким и усложненным, что находится за пределами ее. Правильно. Только, если сфера доступного не включает все, это не значит, что то, что она включает, не важно. Однако

именно такова суть очередного колебания культуры. Также скажут, что в моей позиции слышится, мол, раздражение на современное искусство за то, что оно пробивает оборону рационального против темноты иррационального. Однако, все хорошо в меру. К сожалению, наиболее проторенный путь из одной крайности не к золотой середине, а — в другую крайность. Как прежде преувеличивали значение рационального за счет иррационального, так теперь — наоборот. Не хватит ли уже всех этих многозначительных вздохов и поз о примитивности рационального и сложности иррационального? В этом много от эпигонства, все того же плена престижности. Нередко «глубокое» это просто то, что лежит на глубине. Во всех таких вопросах вот какое принципиальное недоразумение. Скажем, Фрейд говорил о темноте подсознательного, чтобы, упрощенно говоря, овладеть им (напоминает — изучать дороги в ад, чтобы избежать его), художники же застревают в темноте. Опять и опять — причина в том, что для одних главный критерий эстетический, для других — прагматический. Впечатление еще такое, что в этих разговорах люди нередко говорят то, чего по-настоящему не чувствуют. Скажем, Сартр, при всех его разговорах о «тошнотворной» пустоте и бессмысленности существования, обронил где-то, что не провел ни единого несчастного дня в жизни. За этим очень важный момент. Художники прошлого писали сердцем, и катарсис, действительно, был возможен, у нынешних же в нагнетании страданий часто одна техника, и — не трогают.

Неизбежно, наконец, возражение того типа, что мои выкладки могут вооружать скалозубов, Геббельсов и прочих сторонников пистолета против культуры. во-первых, все возражения такого рода основаны на перевернутой логике «если не с нами, значит против нас». Но главное другое. Геббельсы и без нас додумались до всех этих аргументов. Так умнее не замалчивать их, а говорить, чтобы использовать для конструктивных целей. В данном случае, не противопоставления жизни культуре, а — каждому свое место.

Что касается России — на первый взгляд, ее культура, в которой преобладают мрачные краски, «объективно» отражает мрачную реальность. Но на более внимательный взгляд, она только идет на поводу у времени. А должна бы быть впереди него — быть депозиторием более просвещенного и дальновидного взгляда на вещи. Как были, например, в Века мрака монашеские, донесшие до Возрождения культуру античности. Возьмем такой разворот: в 1945г. объективное материальное положение страны было хуже, чем сейчас, но общий настрой лучше. От того, мы знаем, что позади была катастрофа войны и впереди виделось выздоровление. Главная же тяжесть нынешнего положения именно та, что не видно выхода.

Валентин Д. Любарский

«Из Америки с Познанием и Сомнением»

Эпистолярно-дневниковая повесть.

Хрестоматийность названия не должна настораживать: подразумевается познание себя. В письмах и дневниках в книге рассказывается об освоении средним врачом из Ленинграда иной профессиональной среды, иной жизни и культуры. Неожиданные повороты, удачи и удары, обретения и утраты. Описание перемежается осмыслением. Никаких претензий. Просто — в новой жизни возрождается любопытство начала жизни; тянет всматриваться во все заново, задумываться о природе обычных вещей. Всматриваться на ходу и в себя — всматривающегося. Далеко не сразу осознает герой книги, что наблюдает процесс утраты своей прежней identity и образования новой. Книга является своеобразной попыткой исследования столкновения двух культур.

Заказы на книгу направлять:

Ст. Петербург. 199134

Склад-магазин Дмитрия Буланина, Петрозаводская д.7
Филиал Института Российской Истории.

Факс 346—1633, Тел.(812)235—1586



Юрий ДРУЖНИКОВ

КАКОГО РОСТА БЫЛ ПУШКИН, ИЛИ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПО ФРЕЙДУ

Назойливая опечатка

Никто специально о росте «центрального», по выражению Ивана Тургенева, русского поэта, еще не писал. До нас дошли два указания современников, сделанные походя. Первое оставил его младший брат Лев Сергеевич: «Пушкин был собою дурен, но лицо его было выразительно и одушевленно; ростом он был мал (в нем было с небольшим 5 вершков), но тонок и сложен необыкновенно крепко и соразмерно». Получается рост Пушкина... 22 сантиметра с небольшим.

Что-то тут, в издании «Пушкин в воспоминаниях современников» 1998 года, не так, хотя оно называется дополненным. В предыдущих изданиях (1985 и 1974 годов) — та же ошибка. Двигаемся «в глубь веков». Есть она в томе «Пушкин в воспоминаниях современников»

(1950), в 1936 году была издана сходная книга С. Гессена, который сделал «ряд исправлений и дополнений» по архивной копии. Но ошибка осталась. Есть она у В. Вересаева в книге «Пушкин в жизни» (1936) и у М. Цявловского в «Книге воспоминаний о Пушкине» (1931). Академик Леонид Майков нашел в бумагах Павла Анненкова текст этих воспоминаний и напечатал в своей книге «Пушкин», вышедшей сто лет назад (1899). И тут «5 вершков», а Лев Пушкин, бесспорно, имел в виду «2 аршина 5 вершков».

Свои воспоминания брат поэта «набросал» (выражение Майкова) лично, а опубликовал их впервые Михаил Погодин в журнале «Московитянин» в 1853 году. В той публикации не только «два аршина» пропущены, но и сам Лев Сергеевич назван... Шушкиным. Анненков, писавший первую биографию поэта, ошибся, сказав, что Лев написал свои заметки в начале пятидесятых. Еще в 1846 году в Одессу, где тогда служил младший Пушкин, приезжал Погодин, и они встречались. В дневнике Погодин записал: «Надо непременно бы собрать теперь все подробности, скажу, кстати, о жизни, образе мыслей и действий нашего славного Пушкина, пока живы столько современников, которые его помнят хорошо...» Именно Погодин просил Льва повспоминать, и тот написал, как Бог на душу положил.

Лёвушка, он же Лайен, то чиновник, то военный, то бездельник и всегда большой любитель застолий, получал от поэта множество наставлений и, сопровождаемый неизменными понуканиями, занимался его делами: устройством рукописей, получением гонораров с неизменным их пропитием. Ростом он был еще ниже, чем старший брат. В армии он участвовал в подавлении чеченцев: «обыкновенно заглядывает по палаткам, и где едят или пьют, он там, везде садится, ест и пьет», — вспоминал Николай Лорер в «Записках декабриста». Лев рекламировал стихи и подвиги брата по женской части, но и не раз подводил его. В официальном культе Александра Сергеевича, распространяющемся и на родственников, Лев Пушкин восхваляется как обладавший

безукоризненным вкусом в поэзии. У знавших же его лично (сошлюсь на Якова Полонского) были серьезные подозрения, что младший брат сам сочинял порностишки, которые выдавал за стихи поэта.

В воспоминаниях Льва Сергеевича содержится доброе число ошибок. На них первым обратил внимание В. Гаевский. В «Отечественных записках» 1853 года он иронизировал, что Лев пустил «утку», будто Пушкин восьми лет от роду сочинил пьесу. Путаница с датами в мемуарах брата тоже имеет место, например, Лев Сергеевич говорит, что стихи «Наполеон на Эльбе» написаны в 1813 году, а событие произошло в 1815-м.

Грустно, конечно, что Пушкин-младший, отозвавшись на просьбу Погодина, «набросал», немало напутав. Часть авторизованной копии записки жива в архиве ИРЛИ. Когда Лев Сергеевич умер, журнал «Современник» сообщил, что брат Пушкина скончался в Одессе. В. Вересаев в «Спутниках Пушкина» тоже указывает, что Лев умер в Одессе, а в действительности — в Париже. Д. Благой, кстати, в книге «Пушкин в воспоминаниях современников» (1950) пишет, что мемуары Льва Пушкина впервые опубликованы в «Отечественных записках», но и это ошибка.

Двухтомник «Пушкин в воспоминаниях современников» 1998 года его издатели называют «наиболее полным из ныне существующих мемуарных сборников». Казалось бы, после десяти лет свободы печати в России пора из уважения к читателю восстановить изъятые места. Но жива цензура Пушкинского дома, все еще стоящего на страже идеального Пушкина. К примеру, одноклассник Пушкина Модест Корф напоминает слова царя Николая о встрече с Пушкиным: Пушкина «привезли из заключения ко мне в Москву совсем больного и покрытого ранами — от известной болезни». В 74-м году сотрудники Пушкинского дома вырезали слова «от известной болезни». В издании 85-го года воспоминания Корфа вырезали целиком. В двухтомнике 98-го графа реабилитировали, но слова «от известной болезни» опять кастрированы. В мемуарах, которые давно стали

классикой, то тут, то там опять мелькают отточия. По части халтуры возможности свободы печати использованы в полной мере. Обозначены цифры сносок, но самих сносок в некоторых местах нет. В оглавлении указаны статьи, которые отсутствуют вообще. Составители издания рассматривают материалы о Пушкине своих коллег как колхозное достояние: «наше — значит мое». Вместо старых пушкинистов, подлинных авторов примечаний, впрочем, перекроенных, нынешние сотрудники Пушкинского дома вписывают себя. В новом издании добавили маленькую хитрость, которой не было в предыдущих: после своих имен комментаторы поставили «и др.»

Бесспорную опisku в указании роста поэта никто из сотен пушкинистов за полтора года не исправил, хотя все тексты о Пушкине просвечивают множество контролирующих глаз. Впрочем, составитель книги «Друзья Пушкина» В. Кунин, публикуя воспоминания, просто вымарал у Льва Сергеевича рост Пушкина, чтобы великий русский поэт не был маленького роста. Но хватит о назойливой ошибке: нужно просто вставить «2 аршина» во всех следующих публикациях. Сосредоточимся на втором человеке, отметившем рост Пушкина.

Парад в честь оккупации Варшавы

Шесть лет Григорий Чернецов писал картину по личному указанию царя Николая Павловича. Заказ требовал изобразить торжественный парад по случаю взятия Варшавы, иными словами, увековечить в живописи подавление польского восстания. Царь велел разместить на полотне, причем на переднем плане, всех крупных деятелей Российской Империи, чтобы своим присутствием они, как говорится, «единодушно одобряли».

Выполняя волю монарха, Чернецов нарисовал Гнедича, Жуковского, Крылова и Пушкина. Были и немногочисленные противники подавления польского восстания, пытавшиеся остаться незамаванными. Пушкин уже подмочил свою репутацию, опубликовав подобостраст-

ную инвективу «Клеветникам России», и на картине место ему определили в восторженной толпе. Петр Вяземский, заметим, работавший одно время в Варшаве, осуждал и власти, и друга Пушкина за его постыдные националистические стихи. От чести быть увековеченным на этом параде Вяземский сумел уклониться. Брат Лев, хотя и отличился в Польше в оккупационных войсках, на картину не попал.

Григорий Чернецов был моложе Пушкина на три года и пережил на 28 лет. Знал Пушкин и младшего его брата, Никанора Чернецова, тоже академика живописи, который подарил поэту кавказский пейзаж. Он висел в квартире на Мойке, а сейчас в музее Пушкина в Москве. С Григорием поэт сдружился, что подтверждает записка, посланная Чернецову со слугой: «Ты хотел видеть тифлисского живописца. Уговорись с ним, когда бы нам вместе к нему приехать — да можешь ли ты обедать завтра у меня? А.П.»

Пушкину вообще нравилось, когда его рисуют, и он охотно за это платил. Данное полотно финансировалось из госказны. Рисовал Чернецов Пушкина в доме графа Павла Кутайсова на Большой Миллионной. О встречах поэта с гофмейстером двора и сенатором Кутайсовым ничего не известно, но данный факт свидетельствует, что отношения имели место. Возможно, именно через Кутайсова поэт получил дозволение Его Величества стать изображенным, хотя не известно, был ли поэт на живом параде.

На рисунке, сделанном остро очинённым карандашом, стоящий поэт запечатлен во весь рост дважды. Раз контуром по проведенной осевой линии — рисовальщик прикидывал рост поэта. Пушкин стоит на опорной линии в пальто и цилиндре, заложив руку назад. Второй набросок более тщательно прорисован. Теперь художник велел Пушкину снять пальто, поэт во фраке, рука в кармане. Под рисунком Чернецов приписал: «Александр Сергеевич Пушкин. Рисовано с натуры 1832-го года. Апреля 15-го. Ростом 2 арш. 5 верш. с половиной».

Рост Пушкина был важен, поскольку Чернецову пред-

стояло собрать разных государственных лиц на одном полотне. Каждый из 223-х человек фиксировался с натуры. Сперва рисунок послужил Чернецову для группового портрета четырех писателей. Художник ухитрился решить трудную задачу: согласовать маленький рост Пушкина с его центральным значением. Пушкин поставлен сзади, но, благодаря ракурсу «сверху», кажется выше Крылова и Жуковского, а рослый Гнедич отодвинут вбок и смотрит на Пушкина с пиететом. Ту же композицию Чернецов разместил на заказанном царем полотне. Оно закончено в год смерти Пушкина, и он себя на параде не увидел. Сейчас эта картина во Всероссийском музее поэта в Санкт-Петербурге. Государственная мифология выполнена в лучших традициях аллилуйного реализма. В советское время кому-то понадобилось переименовать картину «Парад на Царицыном лугу», сделав «Парад на Марсовом поле», что звучит вроде фразы: «Наполеон вошел в Москву по проспекту Маршала Гречко». После этот же конвейерный Пушкин был скопирован братьями Чернецовыми на их совместную картину «Пушкин в Бахчисарайском дворце».

Рост Пушкина, записанный Чернецовым, считается более точным, чем записанный братом, и узаконен пушкинистикой: на него ссылки. Есть работы, в которых говорится даже, что рисунок Чернецова — единственное документальное свидетельство о росте Пушкина. На всесоюзном юбилейном торжестве в Большом театре по случаю 150-летия Пушкина историк искусства Игорь Грабарь, опираясь на чернецовскую запись, официально объявил этот рост Пушкина: 166,5 сантиметра.

Чернецов, а следовательно, и Грабарь, и все остальные не точны. На одном рисунке Пушкин изображен без каблуков, а на другом — на каблуках (точнее, на каблуке, а второй не дорисован), причем оба Пушкина равного роста. А главное, у поэта на голове цилиндр, который добавляет к его росту сантиметров десять.

Кроме Льва Пушкина и Чернецова, существует третий свидетель роста поэта.

Главный свидетель

Как это ни странно, этот свидетель зафиксировал рост поэта по некоторой причине весьма точно. И это был не кто иной как сам Александр Сергеевич, однако на его цифру до сих пор не обратили внимания биографы. Сохранившийся в архиве документ относится к 29 ноября 1825 года и требует небольшого пояснения.

Через две недели на Сенатскую площадь Петербурга выйдут восставшие полки, о чем Пушкину, пребывающему в ссылке, не известно. Сидеть в Михайловской дыре до смерти надоело. Едва услышав, что какой-то солдат, приехавший из столицы, рассказывал о смерти Александра I, Пушкин для проверки слуха посылает в Новоржев кучера Петра. Тот вернулся, подтвердив слух: присягу принял новый царь Константин. Надежды рухнули — надежды возникли. Царь умер — да здравствует царь! Первая мысль Пушкина о том, что проблемы его решатся сами собой.

За несколько часов до того, как Пушкин узнал о смерти царя, он писал А. Бестужеву: «...надоела мне печатать... поэмы мои скоро выйдут. И они мне надоели...». Теперь происходившее вселяло сдержанный оптимизм. Не случайно Анненков назвал часть жизни поэта Александровским периодом: со смертью Александра I закончилась историческая эпоха. Коронация преемника обещала амнистию. Опасные планы побега за границу отложены, желание — немедленно ехать в Петербург, а уж оттуда прорываться в Европу. Иван Новиков полагает, что Пушкин рассчитывал на обещание лицейского приятеля и дипломата Горчакова раздобыть ему загранпаспорт. «Так все пути к отступлению были отрезаны, — пишет Новиков. — Он (Пушкин — Ю.Д.) волновался не только близким свиданием с Керн. Он вспоминал и Горчакова: мог бы не говорить, но если сказал, так и сделает. Но он ясно представил, что покидает Россию — как будто привычная мысль, — и все же холодок пробежал по спине».

Пушкин решает отправиться в Петербург не по основной дороге, а по окольной, переодевшись в холопа

и назвавшись Алексеем Хохловым, крепостным своей соседки Осиповой. Архип уложил в дорожный чемодан барина мужицкий наряд. Но где взять документ для проезда через многочисленные заставы? И поэт такой документ сочинил сам, то есть, говоря современным языком, изготовил фальшивый паспорт. В этом архивном документе — единственное во всей тысячетомной пушкинистике указание на действительный рост Пушкина. Назваться он мог любым именем, изменил свой возраст, прибавив три года: поистрепавшись от жизненных невзгод, он стал выглядеть значительно старше своих лет. А вот рост изменить не мог. Рост был для полиции первым фактором в установлении личности.

Билет

Сей дан села Тригорского людем: Алексею Хохлову росту 2 аршина 4 вершка, волосы темно-русые, глаза голубые, бороду бреет, лет 29, да Архипу Курочкину росту 2 аршина 3 1/2 вершка, волосы светло-русые, брови густые, глазом крив, ряб, лет 45, в удостоверение, что они точно посланы от меня в С.-Петербург по собственным моим надобностям и потому прошу господ командующих на заставах чинить им свободный пропуск. Сего 1825 года, Ноября 29 дня.

Село Тригорское, что в Опоческом уезде.

Статская советница

Прасковья Осипова

Текст этого липового билета создан самим Пушкиным, что текстологически доказано Львом Модзалевским, хотя поэт и старался писать сильно измененным почерком. Подпись соседки Осиповой также подделана самим Пушкиным, — для этого он иначе заточил перо; наконец, поставлена его собственная, а не Осиповой печать. Цявловский считал, «что даже ей, обычно посвящаемой поэтом в его дела, Пушкин не решился доверить свой план». Между тем, сочинив сию бумагу, поэт отправился в Тригорское. Может, наоборот, собирался

уговорить соседку написать ему такой документ по липовому образцу? Или просто хотел предупредить об отъезде? Ведь он назвал себя ее дворовым.

Выехав, Пушкин продолжал думать об опасности принятого вояжа. И чем больше думал, тем рискованней казался результат. Судя по воспоминаниям Соболевского, Пушкин собирался приехать и спрятаться на квартире Рылеева, который светской жизни не вел, но оказался бы в доме одного из основных заговорщиков, которого позднее повесили.

А завтра же до короля дойдет,
Что Дон Гуан из ссылки самовольно
В Мадрит явился, — что тогда, скажите,
Он с вами сделает?

Похоже, написаны эти строки не о Дон-Гуане, — о самом себе, только чуть позже. В Пскове сразу хватятся. В Петербурге полиция, армия, — все приведены в готовность, дабы не возникло беспорядков. Списки подозрительных вынуты, галочки поставлены, за кем особо следить. Пушкина любая сволочь узнает. Донесут мгновенно. Да, есть приятели, они могут помочь, но власть должна определиться, чтобы знать, кого просить о помиловании. Без этого только напустишь на себя гнев сильных мира сего. Нет, лучше сидеть и не рыпаться, теперь уж, даст Бог, осталось недолго. В таком ключе думал Пушкин, не ведая, что в Петербурге не знают, какому царю присягать, Николаю или Константину, междуцарствие.

В Пушкине, как заметил Юлий Айхенвальд, всегда был «голос осторожности». Говорили, что поэт вернулся, так как дорогу перебежал заяц, навстречу шел священник, а это дурные приметы. Но Пушкин вернулся, по мнению Анненкова, не из-за плохих примет, хотя в них верил, а по осмотрительности, логичному рассуждению и удивительной способности предвидеть опасности — дару, который не раз его выручал. Возврат в Михайловское спас его: до восстания декабристов остались считанные часы. Посадили бы в Петропавловскую кре-

пость, подвергли изнурительным допросам, подделанный проездной документ тоже подшили бы к делу, и не известно, чем бы все кончилось.

Короче говоря, отъехав немного, поэт велел Архипу поворачивать назад. Пушкин тихо вернулся и между 4 и 6 декабря 1825 года написал письмо Плетневу, надеясь на хлопоты лояльных друзей: «Если брат, так брат — не то, что и совести марасть — ради Бога, не просить у царя позволения мне жить в Опочке или в Риге; черт ли в них? а просить или о въезде в столицу, или о чужих краях. В столицу хочется мне для вас, друзья мои, — хочется с вами еще перед смертью поврать; но, конечно, благоразумнее бы отправиться за море. Что мне в России делать?»

Кстати говоря, рябой и кривой Архип Курочкин, упомянутый Пушкиным-Хохловым в фальшивой подорожной, был ростом на полвершка меньше поэта. Он, хоть это к нашей теме и не относится, вошел, благодаря указанному обстоятельству, в историю литературы. Больше того, с ним пушкинисты сыграли забавную шутку — его... клонировали: из одного Курочкина состряпали двух.

Модзалевский называл его просто «Архип (крепостной Пушкиных)». «О спутнике Пушкина, Архипе Курочкине, — писал Цявловский, — мы не имеем никаких сведений. Можно только отметить, что эту фамилию носит в «Капитанской дочке» казак, паривший Пугачева и в «Барышне-крестьянке» — Акулина Петровна». На самом деле сведения о Курочкине существовали, и Цявловский позже сам отметил свою ошибку.

К характеристике, данной Пушкиным в билете, можно прибавить, что Курочкин назывался еще по отцу Архипом Кирилловым. В росписи церкви погоста Вороницы читаем: «...значатся в числе 240 дворов... помещицы Надежды Осиповой жены Пушкиной, сельца Михайловского дворовые люди... Архип Кириллов 43 лет, жена его Аграфена 43 лет...» У Архипа был сын Александр, которого посадили, и он находился под следствием. О том, что по окончании следствия его могут выпустить, разузнал и писал старосте Михайловского Петру Павло-

ву муж сестры поэта Николай Павлищев. Отец Сергей Львович наказывал дочери следить за Архипом, «чтоб он заботился о дорожке и цветах».

Когда за Пушкиным прибыли жандармы везти его в Москву на прием к царю, Архипа послали в Тригорское за пистолетами, которые барин решил взять с собой. Из Петербурга Пушкин писал своей соседке Осиповой, назвав Архипа в числе «наших людей в Михайловском» и подозревая, что этот дворовый притырил ящик с его вещами. Павлищев докладывал из Михайловского, что староста с Архипом поймали порубщика в лесу, а затем, что он (Павлищев) сделал садовника Архипа заведующим частью хозяйства. На нем — «птицы, пчелы, счет и приплод скота, масло, шерсть, лен, пряжа, огороды, сад, дом и надзор за дворнею». По всему видно, был Архип мужиком сообразительным, коль выбился в начальники.

А в широко известном справочнике Л.Черейского «Пушкин и его окружение» значатся уже два Архипа Курочкиных: один крепостной Осиповой в Тригорском, другой — крепостной Пушкиных в Михайловском. Архип №1, если верить справочнику, рождения около 1800 года, записан Пушкиным в билет; Архип же №2 — садовник в Михайловском, без года рождения.

Раздвоение Архипа — заблуждение. На самом деле, единственный Архип, крепостной матери Пушкина, родился примерно 1780-82 году. Может быть, сыронизируем мы, это раздвоение объясняется известной тенденцией советской пушкинистики окружить Пушкина как можно большим количеством простых людей из народа?

Итак, рост свой точный указал сам Александр Сергеевич: 2 аршина 4 вершка — реальный рост, без каблуков. Он не мог быть в цилиндре и туфлях на каблуках, в каких являлся в свете, то есть проводя время с братом и, тем более, когда позировал художнику у графа Кутайсова. Может, он надел валенки или лапти, — надо же выглядеть настоящим крестьянином!

Особенности русской арифметики

Современному читателю рост 2 аршина 4 вершка ничего не говорит, и я решил перевести его в метрическую систему. Не тут-то было! Уникальность России в том, что даже простые меры длины в ней уникальны и не так-то просто во всем этом разобраться. Придется ради простого дела пуститься в глубины проблемы.

Аршин — слово татарское, пришло в русский язык в XVI веке, до того мерили «локтем», что по-персидски «arsh». В нем четыре пяди (или четверти), как уточняет Владимир Даль, одна треть сажени. Великая вещь русский «авось»! В обиходе аршин — это длина всей руки от плеча или... вольный шаг человека. При таких-то измерениях пословицы гласят: «Аршин не солжет» и «Мера делу вера». Уж больше подходят «Семь аршин говядины да три фунта лент» — поговорка о бессмыслице — и «Побоев на аршине не смеряешь». Петр Первый установил, что в аршине 28 английских дюймов, но шведский профессор упрекнул его в неточности.

Вершок, в отличие от аршина, слово русское, появилось оно в виде добавления к слову «аршин». У Даля «вершок» найти трудно, он в статье «Верх», это «верх перста», пальца. Смысл — в излишке чего-либо: скажем, «насыпать зерно верхом», не скупиться (поэтому вершок «с небольшим» в мемуарах Льва Пушкина — нелепица). «Два верха» означало «два вершка» — это уже щедрость.

В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона имеются таблицы перевода русских мер в иностранные метрические. Согласно таблицам 1 русский аршин равен 711,19 миллиметра, а 1 вершок — 44,449 миллиметра. Таблицам более ста лет. Предполагая по наивности, что научный прогресс способствует более точным знаниям, обращаюсь в современные энциклопедии. В третьем издании БСЭ (1970—71) и в Советском энциклопедическом словаре 1990 года «аршин» из татарского превращен в тюркский и размеры неточно округлены: аршин 71,12 сантиметра, а вершок (здесь говорится, что он был равен длине фаланги указательного пальца) 4,45 сантиметра.

Таким образом, пришлось считать по таблицам прошлого века, которые точнее советских. Рост Пушкина, что указан его братом Львом, был 164,5 сантиметра «с небольшим», а записанный Чернецовым — 166,7. Рост, который указал для полиции сам Александр Сергеевич, — 157,8 сантиметра. Пушкин был ниже, чем указал Лев, на 6,7 сантиметра, а по сравнению с чернецовской меркой на 8,9 сантиметра. Хочется сделать нашего Пушкина повыше; не потому ли пушкинистика игнорирует Хохлова?

Читатель вправе поморщиться и сказать: «Ну, ладно! Великий Пушкин был длиной тела 157,8 сантиметра. Какое, черт побери, отношение это имеет к стихам, прозе, да и вообще ко всему, связанному с поэтом? Что нам за дело до его роста?»

Хочется сразу ответить: никакого дела! Рост у поэта был маленький, но не карликовый, особенно, если учесть, что люди тогда были пониже ростом. Однако по сложившейся за два века традиции в Пушкине нам важно абсолютно все, включая рецепт на лекарство, которым он лечил гонорею. И его рост требовал уточнения, чтобы занять свое маленькое место в биографии большого поэта. Тут можно бы остановиться, а все ж добавлю: Пушкин почему-то сказал, что маленький рост — «самый глупый». Над этими двумя словами я задумался и потому морочу вам голову.

«Самый глупый рост»?

На что обращаете вы внимание прежде всего, встречая незнакомого человека? Вероятно, сперва на то, что сразу бросится в глаза (беру наугад): корона на голове, борода до пояса, сигара во рту, яркий бант на шее, голубой цвет волос, чрезмерное декольте, костыли. Рост заметите сразу, если только перед вами коротышка или великан. Пушкин воспринимал людей иначе. Для него, с его необычайным даром метких характеристик, рост любого человека был первой и, значит, главной приметой. Именно рост в описании героя для инже-

нера человеческих душ Пушкина — прежде всего! И еще: внимание поэта занимал в основном рост мужчин. Рост женщин он указывал реже, но обязательно отмечал, если женщина высокого роста. Типажи его легко сортируются на три группы: *среднего* роста, *высокого* и *маленького*.

Герои *среднего* (он иногда писал «среднего») роста. В «Записках бригадира Моро де-Бразе», когда тот встречает нового человека, Пушкин замечает: «Он был среднего роста, сложен удивительно стройно...». «История Пугачева» — о Пугачеве: «Незнакомец был росту среднего, широкоплеч и худощав», а несколькими страницами позже, видимо, забыв, что про рост уже сказано, повторяет: «был сорока лет от роду, росту среднего, смугл и худощав...» В «Капитанской дочке», писавшейся одновременно с исследованием о Пугачеве, повторяется уже знакомое: «он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч».

Вот Белкин, под именем которого скрылся Пушкин, публикуя сборник повестей: «Иван Петрович был росту среднего...» Исправник составляет приметы Дубровского: «От роду 23 года, роста среднего...». В «Борисе Годунове»: «А росту он (Гришка — Ю.Д.) среднего, лоб имеет плешивый... И даже пародийное обобщение всех жителей: «Обитатели Горюхина большей частью росту среднего...»

У *высоких* людей Пушкин отмечает рост обязательно. О генерале: «Я увидел мужчину росту высокого...» «Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого росту...»; наперсник Пугачева — «Он был высокого росту...» Художник в «Египетских ночах»: «Он был высокого росту...» О Кирджали: «Он был высокого росту...» В «Дубровском» — об отце: «вошел, насилу передвигая ноги, старик высокого роста...» О «Железной маске»: «Некто, высокого росту...» В «Арапе Петра Великого», о царе: «В углу человек высокого росту...»; сам арап, предок, которым поэт гордился: «красивый молодой человек высокого росту» (что вроде бы неправда).

Рост длинного мужчины иногда подчеркивается Пуш-

киным с несколько ироническим сравнением: «Был он ростом как цесарский рекрут». Или: «Князь, мужчина лет сорока пяти, ростом выше Преображенского флигельмана». Этого князя Казбека в «Путешествии в Арзрум» Пушкин чуть ниже называет «великаном»: «Великан тянул из него (бурдюка — Ю.Д.) чихирь и сделал мне несколько вопросов, на которые отвечал я с почтением, подобаемым его званию и росту». Вот мысль Пушкина: высокий рост *уважителен*. А если речь идет о длинной женщине, то, по Пушкину, высота ей в плюс, часть красоты. Пример из «Домика в Коломне»:

За нею следом, робко выступая,
Короткой юбочкой принарядясь,
Высокая, собою недурная,
Шла девушка...

Коль скоро зашла речь о великане, то тут понятие роста расширяется. Не просто длина тела — тридцать три богатыря, «все красавцы удалые, великаны молодые», — но и величие ума: Гёте назван Пушкиным «великаном романтической поэзии», Вольтер — «великан сей эпохи».

Теперь о пушкинских типах *маленького* роста. Слово «маленький» поэт употребил 109 раз, но лишь несколько раз, говоря о росте. Подчас он предпочитал писать более мягко: «малого» роста или «небольшого». Отмечу, кстати, что применительно к росту Пушкин избегал слов: короткий, коротенький, коротышка, махонький, мелкорослый, предпочитая (например, о Швабрине): «вошел молодой офицер невысокого роста...» А главное, маленький рост людей у Пушкина часто компенсируется их отвагой, силой, лихостью или, иногда, страданием. В Одессе, в мае или июне 1824 года, Пушкин, разъяренный стремлением графа Воронцова избавиться от беспокойного служащего, сочиняет на него эпиграмму:

Певец-Давид был ростом мал,
Но повалил же Голиафа,
Который был и генерал,
И, положусь, не проще графа.

Смысл прозрачен: опальному поэту кажется, что он одолеет высокого генерал-губернатора, у которого он, маленький, служит мелким чиновником.

Давид Будри, который учил Пушкина в Лицее французской словесности, был родным братом Марата. Помнил это Пушкин всю жизнь и записал в конце своих дней: «Будри сказывал, что брат его был необыкновенно силен, несмотря на свою худощавость и малый рост». Гришка Отрепьев в «Борисе Годунове» — «ростом он мал», но оказывается проворнее разыскавших его в корчме приставов: маленький Гришка вынимает кинжал, все перед ним расступаются, и он бросается в окно. Отец Нащокина, пишет Пушкин, «принадлежит к замечательнейшим лицам Екатерининского века. Он был малого роста, сильного сложения, горд и вспыльчив до крайности». А арапка Мария, его камердинерша «была высокого роста и зла до крайности». Маленький человек — обезображенный пытками башкирец в «Капитанской дочке», у которого отрезан нос, уши и язык, — страдает. Тут Пушкин сначала обращает наше внимание на уродство башкирца и затем сообщает: «он был малого росту, тощ и сгорблен».

Но оторвемся от литературных опытов. Кажется, что горлану-главарю а la Маяковский, то есть вовлеченному в большую политику писателю, рост важнее, чем прочим смертным. Какое значение имел рост для самого Пушкина? Можно ли говорить о чувстве неполноценности применительно к нему?

Комплекс маленького роста

Мне скажут: психоаналитики просто не способны охватить личность такого объема, и трудно с этим не согласиться. Фрейдистам на Западе легко, поскольку с Пушкиным «лично» они не связаны, да и я не фрейдист вовсе. Ссылаться на его самооценку («я неумен и некрасив»), то есть серьезно анализировать то, что сказано с юмором, тоже неправомерно. Его любили друзья, публика аплодировала, когда он входил в театральную

залу. Какой там комплекс роста, или комплекс неполноценности, у Пушкина, значительнейшего человека своего времени, рано достигшего славы, кумира общества?

Но, видимо, были какие-то ощущения, чинившие ему неудобства. Может, вспомнить о его самолюбии и гордости, которые бесспорно имели место, а это — классические признаки компенсации чувства неполноценности? У человека маленького роста такое чувство может проявляться в стремлении восполнить малый рост большей физической силой и отвагой. Пушкин с юношества любил драться, носил с собой тяжелую железную палку, ездил верхом, в Кишиневе и Михайловском до бесконечности палил из пистолета, охотно участвовал в дуэлях. Комплекс проявлялся в мелочах: скандальность поведения, чтобы обратить на себя внимание (в театре Пушкин показывает портрет террориста); подчеркивание своего африканского прошлого (все белые, а я черный); подчеркивание шестисотлетних корней своего дворянства (за что Пушкина стыдили друзья); даже мелкое оригинальничанье (отращивание длинных ногтей, бакенбард).

Зачем вообще хотеть быть высокого роста? По размышлению приходишь к выводу: рост мужчине нужен, только чтобы нравиться женщинам. Мне возразят: это сомнительно, ведь Лев Толстой был маленьким, а Чехов, наоборот, обладал ростом 186 сантиметров; при этом оба пользовались большим успехом у женщин. И все же, не знаю почему (может, стереотип мышления?), если мужчина ниже женщины, это выглядит смешно. В танце, как, впрочем, и в быту, логично, чтобы женщина опиралась на плечо, которое выше, а не ниже ее собственного, — иначе получается, что мужчина опирается на нее. При женщинах маленький рост отодвигает мужчину в сравнении с соперниками в сторону, принуждает думать, как преодолеть этот недостаток. В женском обществе один маленький мужчина то и дело приподнимается на цыпочки, как бы порхая, другой похваляется большими деньгами, третий — гордится славой и влас-

тью, которые компенсируют недостаток в росте, четвертый — заказывает себе туфли на каблучищах, напоминающих котурны.

Мужские каблуки заслуживают отдельного исследования. Каблуки были не только возможностью для Пушкина казаться выше. Мужчины пушкинского времени носили каблуки черные и красные. Красные свидетельствовали о принадлежности к элите, их полагалось носить лицам высших чинов государства, поэтому о красных каблуках Пушкин мог мечтать, но, увы, положение сочинителя и камер-юнкера права носить красные каблуки не давало. С каблуками женщины дело проще: ясно, что они не просто удлиняют ноги, они делают женщину равной в росте мужчине, а высокую женщину делают выше мужчины, и некоторым мужчинам это симпатично. Кроме того, движения женщины на высоких каблуках становятся более сексуальными.

Брат Лев вспоминал: «Женщинам Пушкин нравился; он бывал с ними необыкновенно увлекателен и внушил не одну страсть на веку своем. Когда он кокетничал с женщиною или когда был действительно ею занят, разговор его становился необыкновенно заманчив». Но Донжуанский список Пушкина, вписанный в альбом сестер Ушаковых, есть отражение (никуда от этого не деться) комплекса неполноценности. В общем виде поведение Дон-Жуана описано Отто Ранком и, конечно, Зигмундом Фрейдом. Обращает на себя внимание весьма агрессивное (по сегодняшним западным нормам) сексуальное поведение поэта, постоянно сопровождавшееся хвастовством своими похождениями устно и в письмах приятелям, даже перед женщинами. Теория такого поведения довольно хорошо изучена на Западе.

Пушкин от маленького своего роста, возможно, не страдал, когда решил жениться, и невеста оказалась значительно выше его ростом. Добавим: не страдал до появления Дантеса. Какого, кстати, роста была Наталья Николаевна? Известно, что выше Пушкина, примерно, на полголовы. А тут еще император, высоченная фигура

которого была видна в большой толпе, и Пушкин мог лишь, стиснув зубы, наблюдать ухаживания за собственной женой. Дантес, которого она полюбила и которого поэт возненавидел, тоже был рослый красавец. Рост и физическая красота Дантеса оказались для жены поэта интереснее ума и таланта мужа.

Маленький рост у Пушкина усугублялся ненаходчивостью в разговоре с мужчинами, как отмечают современники, тем, что французы называют *esprit de l'escalier* — остроумием на лестнице. В текстах он был блестящ, но это случалось потом, наедине с бумагой. Письма его (к счастью для нас) были лучше, чем его беседы, но письма же и погубили его. Возможно, устные угрозы соблазнителью жены растаяли бы в воздухе, и дело не кончилось так плачевно. Но ярость и месть искали выхода. Маленький некрасивый гений писал оскорбительные послания высокому красавцу-офицеру, который одержал над ним победу в борьбе за женщину, злобными письмами втянул Геккерена, приемного отца обидчика, — и выхода для Дантеса не осталось.

Не наводят ли нас на некий парадокс размышления о росте Пушкина? Разумеется, главной компенсацией любых его комплексов были поэзия и проза. Собою дурен и ростом мал (известное нам свидетельство брата) Пушкин все-таки не сумел одолеть силой ума свой небольшой физический рост. И — не стал ли его рост одной из причин его смерти, по сей день неучтенных? Зато как творец он не только преодолел себя, но и сделался такого огромного роста, что нам не дотянуться, чтобы положить руку ему на плечо.

Дейвис, Калифорния, 1999.



Игорь АЧИЛЬДИЕВ

ТРАГЕДИЯ ЮРИЯ ГАГАРИНА

В России циркулируют слухи о том, что Юрий Гагарин был просто убит. Не исключено и то, что он не погиб и до сих пор жив

Среди самых темных и загадочных злодеяний XX века, таких, как убийство Сергея Кирова в 1934 году, или убийство Джона Кеннеди в 1963-м, безусловно, не последнее место занимает дело об исчезновении первого космонавта мира Юрия Гагарина.

Официальная версия, поддержанная ВСЕМИ средствами массовой информации и, конечно, государственными и партийными инстанциями, была абсолютно единодушна: 27 марта 1968 года, выполняя обычный тренировочный полет, в авиационной катастрофе под Москвой, в трех километрах от деревни Новоселово СЛУЧАЙНО погибли Герои Советского Союза первый летчик-космонавт Земли Юрий Гагарин и инструктор Владимир Серегин.

По результатам катастрофы была назначена Правительственная комиссия для установления причин слу-

пившегося. Однако произошло неслыханное: результаты ее работы, да и работала ли она, осталось неизвестным. В третьем номере за 1988 год журнала «Гражданская авиация», а затем в №8 за 1990 год газеты «Совершенно секретно» были опубликованы документы и Заключение, позволяющие якобы сделать объективный вывод о причинах гибели Гагарина и Серегина. Подписали их космонавты А. Леонов и Г. Титов, генерал-лейтенант авиации С. Микоян, заслуженный летчик-испытатель С. Петров, генерал-лейтенант авиации А. Пушкин, ученые и инженеры С. Белоцерковский, А. Майоров, П. Сигов, А. Сосунов. В Заключении было сказано, что самолет с Гагариным и Серегиным погиб в результате «целого ряда, казалось бы, незначительных отклонений в организации полета. Каждое из них в отдельности почти не опасно. Однако могло произойти довольно маловероятное стечение обстоятельств, которое, хотя и редко, но бывает в реальной авиационной жизни. Видимо, многие из неблагоприятных факторов проявились одновременно, что и привело к катастрофе». Еще один вывод той же комиссии: «Аварийная ситуация возникла внезапно на спокойном фоне полета, о чем свидетельствует сохранившийся радиообмен. Ситуация была чрезвычайно скоротечной. В создавшейся обстановке, которая усугублялась плохими погодными условиями, экипаж принял все меры, чтобы выйти из этого чрезвычайного положения, но из-за нехватки времени и высоты произошло столкновение с землей». Вот, пожалуй, главные итоги этого заключения 1990-го года. В нем упоминается также, что впереди самолета Гагарина-Серегина летел еще один УТИ МИГ с бортовым номером 18 и его вихревой след мог оказать свое воздействие на полет гагаринского МИГа. Хочь специально обратить ваше внимание на два момента: ни о каких других самолетах в Заключении больше не упоминается, радиообмен с Гагариным и Серегиным продолжался до самого столкновения их с землей.

И в то время, и потом, в середине 90-х годов, выдвигалось немало версий о причинах гибели Юрия Гагарина

(ибо совершенно ясно, что заглавной фигурой в этом деле был именно он!), но ни одна из них не расследовала два варианта: преднамеренное убийство Гагарина и изоляция его от общества, от мирового общественного мнения. Всем казалось, что он, обаятельный и доброжелательный человек, который, по-видимому, не имел врагов, желавших ему смерти а, следовательно, нет и не было никаких причин для убийства или изоляции Гагарина; он мог погибнуть только от стихийных причин, то есть случайно.

Средства массовой информации — книги, газеты, радио, телевидение — писали о нем только хвалебно и в несколько сусально-умиленном тоне. До сих пор не сделано ни одной попытки рассмотреть фигуру Гагарина, его окружение, социально-нравственную атмосферу вокруг него с точки зрения объективной и трезвой, допускающей разные варианты его гибели. Мало того, сам облик Гагарина весьма далек от того, каким его нарисовала советская пресса тех далеких лет.

Между тем, слишком многое дает основания думать, что мы имеем дело здесь с одной из самых крупномасштабных операций ГРУ МО СССР или КГБ за всю историю их существования. Судя по фактам, дезинформация была проделана не второпях, а готовилась годами, вдумчиво, замечая на каждом этапе свои следы и выставляя действия Гагарина, как его личные, никем не спровоцированные, за которые несет ответственность он сам и только он — дескать, такой уж это был человек!

Но попробуем разобраться во всех обстоятельствах, каждый раз убеждая читателя не только фактами из биографии Гагарина, не только объективными данными, но и теми методами, которые всегда входили в классификацию приемов дезинформации тех лет. И начнем, может быть, с самого важного — портрета Гагарина.

Был ли он «простым советским человеком»!

На первый взгляд, — да. Возьмите любую его фотографию, начиная с детских лет и кончая последними, когда на лбу у него неизвестно отчего появился шрам,

— везде открытая добрая улыбка, душевная простота, какая-то русско-деревенская неловкость от пьедестала, на который его внесла судьба. И действительно, если верить Н. Денисову и С. Борзенко, спецкорам «Правды», написавшим биографию Юрия Гагарина и собравшим его фотографии, то получается именно так.

В своей большей части их книга «Дорога в космос», изданная Воениздатом еще в 1961 году, правдива по фактам и ею вполне можно пользоваться, как справочником, если только не принимать во внимание тот несколько восторженный тон, который был не характерен для самого Гагарина, понять этот тон легко по первому же абзацу книги — из него становится сразу ясной и ее пропагандистская цель. В остальном литзапись сделана добросовестно и соответствует фактам жизни Юрия Гагарина. Вот ее первый абзац:

«...Семья, в которой я родился, самая обыкновенная, она ничем не отличается от миллионов трудовых семей нашей социалистической Родины. Мои родители — простые русские люди, которым Великая Октябрьская социалистическая революция, как и всему нашему народу, открыла широкий и прямой путь в жизни». И далее все в том же просоветском стиле и духе, характерном для той эпохи. И на него не стоит пенять — иначе книга Первого в мире космонавта не могла бы появиться в печати. Другое дело — факты и их оценка.

Судя по всему, Гагарины жили в селе Клушине, что недалеко от Гжатска, очень и очень бедно. Об этом свидетельствует два факта: в книге нет даже фото домика, в котором родился Гагарин, но зато есть фотография солидного дома в Гжатске, где он жил потом. Вместе с тем присутствует один эпизод из ранних лет Юрия Гагарина, поданный, естественно, в том же восторженном стиле: «Бывало, примчишься с ребятами к маме на ферму, а она каждому нальет по кружке парного молока и отрежет по ломтю свежего ржаного хлеба. Вкуснота-то какая!» Вкуснота-то вкуснота, но решиться на этот поступок мама Гагарина могла только с очень

тяжелой голодухи: по всей стране со всей жестокостью действовал Указ от 7 августа 1932 года, так называемый «семь восьмых», по которому сажали без всякого разбора за колхозный колосок, за пучок моркови, не то что за кружку парного молока и ломоть ржаного хлеба! Нет, не очень-то широкую дорогу открывала на первых порах Гагарину новая жизнь. Он пробивался в нее изо всех сил, понимая, что только знания и личное упорство могут вывести его из деревни Клушино и города Гжатска.

С детских лет в нем проснулся дух соревнования, желания быть всюду первым. За все годы школьного обучения, ремесленного училища да и потом, до самых последних дней учебы — одни отличные оценки. Только отличные! Какую же силу воли, какой целеустремленный характер надо было иметь, чтобы жить всю молодость на туго натянутой струне, не позволяя себе ни одного сбоя или послабления! Какую цельную и крутую натуру должна была выковать такая ежедневная напряженность! Да, он был даровит, много читал и знал не по годам. В том числе должен был знать и окружающую его действительность: с многочисленными «посадками» соседей и родственников, с тюрьмами и лагерями, которые не обошли ни одну семью в стране. Он побывал в оккупации, прочитал всю серию «Истории молодого человека XX века», где печатались довольно свободомыслящие писатели. Он чувствовал в себе немалые силы, если уже в детстве замахнулся на такую грандиозную мечту, как полет в космос. Еще в техникуме у него «появилась новая болезнь, которой нет названия в медицине,— неуправляемая тяга в космос». И характерна одна фраза из письма матери сыну, когда он был в Саратовском аэроклубе: «Мы гордимся, сынок... Но ты, смотри, не зазнавайся...» Мать очень точно нащупала еще в те годы одну из коварных черт характера будущего космонавта: необъятные силы, отличные способности, далекая карьера могут повести к зазнайству. Были и другие не слишком привлекательные черты в характере Юрия Гагарина. Вот, к примеру: два года «хороводился»

с Валентиной Горячевой, но предложение сделал лишь тогда, когда пришла пора получать назначение и надевать офицерскую форму. В этом поступке видно больше здравого смысла, чем любви. Как знал, что у его ног будут первые красавицы мира... Гагарин был скрытен: два раза писал в комиссию по отбору в отряд космонавтов, но ни разу не сказал об этом жене. Отказ оскорбил бы его до глубины души и он не хотел, чтобы об этом оскорблении знал еще кто-нибудь. Ведь никакой секретности в его просьбах не было!

Вот вам и «простой советский человек»! Нет, в характере молодого Гагарина было еще до его полета намешано много чего, в том числе и опасного для него самого, — то, на что потом поставили его противники. Тем более, что он попал сразу, как говорится, из грязи в князи. У него не хватило внутреннего сопротивления головокружительной славе, которое дается аристократическим или интеллигентским воспитанием на идеях и «предметах» более дорогих, чем славословие толпы и повальное увлечение «звездой». Впрочем, такая высота кому хочешь вскружит голову!

Как мы видим, на первых порах дезинформация вокруг Гагарина носила скорее стихийно-советский, чем направленный лично против него характер. При этом использовался один-единственный прием дезинформации, излюбленный советской прессой разных времен и используемый по сию пору. В моей классификации он называется «смещение фокуса внимания». Что это такое и как исполняется такой прием? Сначала сообщается факт, а потом, в придачу, идет длинное рассуждение автора, имеющее целью сбить читателя с правильного пути и трезвой оценки, перенося центр его внимания на другие, порой мало существенные вещи. Ну, хотя бы — о кружке парного молока: факт назван и тут же подкреплен своеобразной подачей, уводящей нас от истинного смысла и значения факта: «вкуснота-то какая!» Или о скрытности Гагарина, когда он посылал заявления о приеме в отряд космонавтов: опять же называется факт, который интерпретируется

в духе заботы о жене и прочей сентиментальной чепухи. Сработано тут все грубо, топорно и незатейливо, как грабли. Но дальше пошли игры уже посерьезней, в которых Гагарин играл роль не ферзя, а пешки, над которой нависла опасность.

Я прошу извинения перед читателем за длинную цитату, но в таком деле, как смерть Юрия Гагарина, она просто необходима. Уже в 90-ом году, когда Советский Союз и все его властные учреждения были еще в полной силе, один из близких друзей Гагарина и его учитель профессор Сергей Белоцерковский в интервью корреспонденту газеты «Совершенно секретно» так ответил на его вопрос, «могли Гагарин плеснуть бокал шампанского в лицо Брежнева на одном из банкетов?»:

«Вы, возможно, удивитесь, но психологически такой эпизод оправдан. Конечно же, в жизни ничего подобного не было и не могло быть: Гагарин был человеком исключительной собранности, дисциплинированности, силы воли. Но только немногие знали, что у него на душе... Я, пожалуй как никто, доверительно общался с ним тогда...»

1961 год — полет Ю.А. Гагарина в космос. Весь мир рукоплещет, встречи с президентами и премьер-министрами, с учеными и выдающимися писателями, фото во всех журналах и газетах и цветы, цветы, цветы — слава! Но уже довольно скоро, когда прошла эйфория, он обнаруживает, что есть как бы два Гагарина. Один — тот герой, что на фото, которому на приемах готовы оказывать почести. И другой — желающий жить обычной жизнью, имеющий свое мнение о происходящем с ним и вокруг него. А главное — волею судьбы он оказался на вершине, откуда увидел не только заоблачные высоты, но и страшные беды, боль сотен и тысяч простых людей.

Гагарин был очень умным и наблюдательным человеком. А еще он был человеком редкой порядочности. Он не мог не видеть, что творилось, особенно в брежневский период, там, «наверху». Коррупция, казнокрадство, подлость, карьеризм — все это считалось в порядке

вещей. Знаю случаи, когда Гагарин пытался пробить «броню», но чаще не очень успешно. Ему вежливо, а иногда и не очень, указывали его место: ты герой — вот и думай о геройском, а остальное не твое дело.

Слава сделала его народным героем. Люди хотели видеть в нем своего заступника перед несправедливой властью. Наверное, он мог бы уйти в эту сторону, отказаться от этой роли. Не захотел... Но он мог, к сожалению, не очень много, гораздо меньше, чем от него ждали... Эта неудовлетворенность, ощущение собственного бессилия накапливались. В нем, особенно в последнее время, ощущались какая-то тревога, напряженность, это было заметно и в разговорах и в поведении».

К о р р е с п о н д е н т : А не преувеличиваете ли вы, Сергей Михайлович? Может быть, сказывается сегодняшнее ваше восприятие того времени как душного, застойного, предгрозового?

Б е л о ц е р к о в с к и й : Конечно, не исключено. Но вот что вспоминается. В одну из последних встреч с Анной Тимофеевной, матерью Гагарина, когда мы остались наедине, она вдруг спрашивает меня: «Что, Юру убили?» Я опешил: «Почему Вы так думаете?» Она: «Однажды он сказал мне: «Мама, я боюсь...»

Оставим в стороне дальнейшие рассуждения Белоцерковского, он знал только то, что ему положено было знать. А вот то, что Юрий Гагарин, человек бесстрашный, кого-то или чего-то боялся — факт знаменательный! Мимо него нельзя никак пройти просто так, не проанализировав его тщательнейшим образом.

Кого и почему боялся Юрий Гагарин!

Действительно, трудно представить себе, чтобы Первому космонавту что-то угрожало. Весь мир был у его ног, он стал суперзвездой мирового класса, и не было на Земле человека, который бы не знал Гагарина, его милую, простодушную улыбку. Цветы? Да, конечно же, миллионы цветов! Банкеты, приемы, встречи со знаменитостями? Разумеется! Кино, телеэкран, портреты на

первых полосах всех газет и журналов мира? Ну, как же без этого... Речи, выступления, тосты, «посол мира» и т. д. и т. п. Он объездил десятки стран и тысячи городов и заводов, встречался с миллионами людей. Его обаяние сделало его фигуру еще более притягательной для всего мира. Прежде всего — для женщин... Он, вероятно, понял это сразу, потому что каждая длинноногая красавица норовила залезть к нему в постель хоть на час. Вероятно, бывали у него кратковременные увлечения — уж больно хороши и красивы были эти женщины! След одного такого амурного приключения остался у него на лбу уже через несколько лет после полета в космос. Естественно, все это сказывалось на семейных отношениях, на отношениях в отряде — и здесь он постепенно становился чужим, далеким, «заморским гостем». Везде, куда бы он ни приехал, его уже ждала «подстава» новых красоток, отвязаться от которых было не так просто. Да порой, видимо, и не хотелось... И в этом еще нет ничего удивительного — обыкновенная жизнь звезды суперкласса. Хуже другое: Гагарин охранялся как национальный герой страны Советов, и охрана не имела права пропускать к нему кого бы то ни было без разрешения, — а пропускала! Потом стало еще хуже — подсовывала сама своих женщин, которые «работали там, где надо». И наверняка, любовные дела Первого космонавта снимались на пленку, которая и по сей день лежит где-нибудь в архивах ГРУ. Видимо, он становился опасным для СИСТЕМЫ. Это были уже улики... Зачем и кому они понадобились, мы узнаем позже. Пока же запомним, что первую тревогу за себя Юрий Гагарин стал ощущать тогда, когда почувствовал, а может быть, и узнал от «соответствующих лиц», что за ним ведется слежка и особенно за его личной жизнью, за его сексуальными связями. Народ к тому времени уже распевал модную частушку:

**После Германа Титова
Я Гагарину дала.
И такое впечатленье,
Словно в космосе была.**

Ну, раз уж народ сложил частушку о любовных делах Гагарина, то сам-то он должен был понимать, что о них все знают, в том числе и жена. И как умный человек, должен был понимать, что это не просто случайность, а чья-то целенаправленная политика, которая угрожает его имиджу «простого советского человека» и Первого космонавта, ордена которому присвоены во всех странах мира. Во всяком случае, этих орденов у него больше, чем у Брежнева, что могло вызвать у Генсека, как и у многих других, зависть. Но пока остановимся на одном: множество женщин, которые не только сами лезли к нему в постель, но и которых ему зачем-то подсовывала своя же охрана. Это настораживало и заставляло задумываться, зачем это делается. И зачем так много водки льется вокруг него и пьется вместе с ним? Ведь он летчик-космонавт, обязанный соблюдать особый режим дня, тренировок и т.п. Все это полетело к чертям... Значит, его больше не собирались пускать в космос? Значит, он становился просто пешкой в руках других людей? Значит, он обыкновенный растренированный летчик, не имеющий даже высшего образования? Вот какие мысли должны были его в то время обуревать.

Заступничество за сырых и бедных, за людей, обиженных судьбою, не давало удовлетворения — всю страну не накормишь, всем квартиры не дашь и всем не поможешь в борьбе с несправедливостью. Даже именем Первого космонавта. Думаю, что он стоял на пороге выбора между поддержкой правящей элиты и диссидентством типа Андрея Дмитриевича Сахарова, народного заступника, а может быть, и сделал первый шаг в сахаровском направлении. И это тут же уловили соответствующие «органы».

Не исключено, что уже в 1964-1965 годах стал возникать и постепенно оформился план уничтожения Юрия Гагарина. Первым шагом на этом пути стала слежка за его любовными связями и подслушивание, запись его разговоров с «ходоками».

Но это было только начало! В качестве отвлекающего

маневра, чтобы усыпить бдительность Гагарина, решили в Москве выстроить целый институт, здание длиной метров четыреста. Институт назвали пышно и не слишком понятно: ВНИИ космических исследований. Что это было — реальное учреждение, которое занималось бы неизвестно чем? Или дезинформационное прикрытие типа ложного аэродрома, какие строили во время войны, чтобы спутать карты противника пока операция готовилась в другом месте? Сейчас уже трудно сказать. Но в институт Гагарина привозили, он ходил и осматривал помещения. Однако, так и не возглавил это учреждение.

Видимо, ГРУ предстояло пройти вслед за Гагариным большой путь, который оборвался в марте 1968 года, накануне трагических событий — чехословацкой оккупации, о плане которой он мог знать, будучи близок к самым высшим чинам военной верхушки страны. А план этот готовился в строжайшей тайне и задолго до вторжения в Чехословакию. Кстати, именно в марте начались первые передислокации войск и их тренировка к готовящемуся захвату Чехословакии. Разрабатывался этот план детально, глубоко, как может разрабатываться лишь военный план Генштаба.

Видимо, в общем числе вариантов и деталей учитывалось и устранение «лишних» лиц, которые заранее, по положению и чину о нем знали, а может быть, даже принимали личное участие в его разработке — такая возможность отнюдь не исключена.

Маршал Гречко, который перед самым вторжением в Чехословакию приезжал в Прагу для бесед с Дубчеком, клятвенно заверял весь мир, что Советский Союз и страны Варшавского пакта не вынашивают никаких планов вторжения. Что ж, это верный признак длительной и скрытой подготовки к неожиданной военной акции превентивного характера. Берлин 1953-го и Будапешт 1957-го чему-то научили военную верхушку «самой мирной державы».

Можно только представить, что бы произошло, если Первый космонавт мира высказался бы на одной из

пресс-конференций против такой оккупации! Это могло повернуть многие события вспять или наложить на них еще один слой черной краски. Для того и готовился компромат на Гагарина, чтобы в любой момент опорочить его личность, объявить «перерожденцем», «отщепенцем» или еще кем-нибудь подобным. Кстати, «подтасовка фактов» и «наклеивание ярлыков» — типичные приемы дезинформации, известные издавна и не составляющие какой-то новинки. ГРУ действовало в данном случае весьма тривиально, хотя и безошибочно. Умный и скрытный Гагарин рано заметил эту деятельность ГРУ и принял свои меры: пошел учиться на инженера. Это как будто закрыло все его дело, он снова ожил и перестал бояться за себя. Но существовала другая, высшая воля, которая заранее обрекла Юрия Гагарина на смерть. Этот сюжет получил свое начало еще со времен войны 1941—1945 годов и закончился смертью космонавта в марте 1968-го.

Каким образом Юрий Гагарин оказался первым космонавтом!

Две личности были спаяны историей вместе: Хрущев и Гагарин. Мало кто знает, почему они были так близки. Дело в том, что от первого брака у Хрущева был сын Леонид, тоже военный летчик, как и Гагарин. В страшной мясорубке 1941 года Леонид попал в плен к фашистам и стал служить в гитлеровской армии. В 1943 году под Сталинградом он попал в плен вместе с войсками фон Паулюса. Хрущев упал перед Сталиным на колени, прося спасти жизнь Леонида. Сталин не пощадил сына Хрущева, хотя и сохранил в тайне этот эпизод, чтобы крепче держать Никиту «на веревочке». Леонид был казнен. Чего уж там, собственного сына не пожалел — до чужих ли сыновей было Сталину?! Это была страшная трагедия для Хрущева, который любил Леонида и хранил его портреты до конца жизни. кое-кто полагает даже, что разоблачение Сталина Хрущевым было сделано в отместку за смерть сына. Кто может дать на это

ответ? Хрущев бывал человеком очень добрым и в то же время скрытным, жестоким. В чем-то его характер напоминал гагаринский. И не только характер — весь облик, лицо, фигура Гагарина напоминали Хрущеву Леонида. Он питал к Первому космонавту особую привязанность, обнимал его, старался прикоснуться к нему, бесчисленное количество раз фотографировался с ним, в каждом фильме о Хрущеве бывали кадры — он рядом с Гагариным. И вообще, как известно и как об этом сообщала газета «Русский Берлин», Гагарин был дублером у Германа Титова. Тот должен был первым лететь в космос. Но когда Хрущев увидел Гагарина, роли тут же переменялись: видимо, Хрущев попросил об этом Королева — так Гагарин стал Первым в этой паре космонавтов. Я никогда не позволил бы себе навязывать эту версию читателю, если об особой близости Хрущева и Гагарина еще в 1961 году не сказал бы корреспондентам, писавшим его книгу, сам Гагарин.

При встрече Гагарина с Хрущевым после полета произошел эпизод, о котором Гагарин рассказал такими словами: «Никита Сергеевич снял шляпу, крепко обнял меня и по старинному обычаю трижды поцеловал. — Поздравляю! Поздравляю! — говорил он, и я чувствовал, как он взволнован. Я ощутил отеческое (думаю, это слово прозвучало здесь не случайно!) тепло его рук и подумал, что, может быть, увидев мою офицерскую форму, он вспомнил своего сына Леонида. Ведь сын Никиты Сергеевича тоже был летчиком и совсем молодым погиб в неравном бою с фашистами, защищая от врагов чистое небо Родины» (тогда еще не было известно о том, что Леонид перешел на службу в гитлеровскую армию и казнен сталинскими палачами). Но разительное сходство Гагарина и молодого Хрущева заметно на всех портретах. Хрущев и Гагарин как бы связали себя единой не рвущейся нитью. И для Брежнева Гагарин навсегда остался «хрущевским выкормышем», то есть человеком из чужого лагеря, из чуждого и враждебного окружения. Рано или поздно их дорожки должны были пересечься, и нет никакого сомнения, что Генсек

победит в этом неравном единоборстве. Гагарин должен был ощущать эту скрытую, а порой и не всегда столь уж скрытую, враждебность Брежнева.

Но именно с октябрьского 1964-го года «дворцового» переворота Гагарин впервые почувствовал страх за себя. За его спиной стояла только слава; за Генсеком — мощные структуры власти, которые могли мгновенно убрать Гагарина с политической арены. И, видимо, готовились к этому. Но сделать это надо было вовремя и таким образом, чтобы и капля подозрения не упала на власть, на СИСТЕМУ, на ГРУ или КГБ. Планов устранения Гагарина было, видимо, несколько. Но держались они в строжайшем секрете и ждали своего часа. Он наступил тогда, когда пришла «Пражская весна», и Гагарин стал актуально опасен. Тогда и был отдан приказ о его устранении. Собственно, выхода было два.

«Мягкий» вариант: изменение личности

Как известно, Брежнев не решился уничтожить Хрущева, не объявил его английским шпионом или предателем Родины. В руководстве партии и государства к этому времени возобладали линия на то, чтобы не репрессировать предыдущее руководство, так Хрущев поступил с Молотовым, Кагановичем и другими. Репрессии применялись лишь к лицам простого чина и звания. Едва ли Гагарин принадлежал к числу таких «простых», он все же был звездой суперкласса и некоторым образом героем всей планеты. Поэтому не исключено, что к нему предполагалось применить «мягкий» вариант: изобрести предлог, позволяющий снять с СИСТЕМЫ вину, и изменить личность Гагарина до неузнаваемости. (Последнее достигалось сравнительно легко: пластическая операция и психотропные средства, электрошок и т.п.)

Трудность заключалась в создании предлога, который снимал бы ответственность с СИСТЕМЫ и ее руководителей за исчезновение Гагарина. Причем, предлог должен был быть найден немедленно, время устрани-

ния Первого космонавта подходило катастрофически быстро: события в Чехословакии торопили и пугали Генсека и его окружение. А в панике, как известно, действуют быстро и жестоко. Такой предлог можно было создать постепенно, распуская слухи о невменяемости Гагарина после полета в космос, о сильной перегрузке, которая так сказалась на нем, что со временем привела к психической катастрофе. То есть переложить вину и внимание всего мира на космос и врачей, не досмотревших за Гагариным. После чего он удалялся бы в малоизвестную «психушку», до которой было не добраться ни одному корреспонденту.

Кое-какие намеки на такой вариант есть, но они очень слабы: по «психушкам» действительно ходили слухи о том, что среди их «пациентов» живет Гагарин. О них сообщала газета «Совершенно секретно» в качестве курьезных сплетен, которые распускают о Гагарине. Говорили и о том, что к космонавту Борису Волинову являлся какой-то психопатический тип, выдававший себя за Гагарина. Волинов не признал в нем Юрия Гагарина... Быть может, эти слухи не столь уж и курьезны, не исключено, что Юрий Гагарин все еще жив, но вероятность такого варианта чрезвычайно мала. Хотя, как бы она ни была мала, ее следует учитывать и не сбрасывать со счетов до тех пор, пока твердо не будет установлено иное. Борьба за жизнь и судьбу Гагарина может и должна продолжаться с той же настойчивостью и упорством, с какой ведется борьба за установление судеб людей, спасавших евреев во время войны 1941—45 годов, — типа Рауля Валленберга. Должен быть создан международный фонд, который занялся бы расследованием всех обстоятельств жизни Юрия Гагарина в последние его годы и месяцы.

Мы слишком рано и без борьбы отдали его советской СИСТЕМЕ, фактически бросив на произвол судьбы и, возможно, на многолетние невероятные страдания, о которых нынешнее общество просто не подозревает. Сегодня требуется проявить к Гагарину не только милосердие, но самое активное внимание, не доверяя пре-

жним чиновникам в новом обличье скрывать правду от мира. Последнее справедливо и в том случае, если против Гагарина был применен второй, «жесткий» вариант, который, к сожалению, вероятнее. Особенно, если принять во внимание обстановку паники, царившей в брежневском окружении в связи с «Пражской весной».

«Жесткий» вариант: убийство

Это было уже проще и безопасней для СИСТЕМЫ. Арсенал трюков с фатальным исходом для приговоренного СИСТЕМОЙ у советской власти был более чем разнообразен: от геноцида целых народов до «безобидных» укулов зонтиком на улице. Но в данном случае требовался совершенно новый прием, который не так просто было бы разгадать, а, разгадав, приписать к разряду убийств. И он, конечно же, был найден! Тем более, что Гагарин как будто сам дал к нему повод: он захотел стать опять летчиком-истребителем и пройти современную тренировку. Взялся за это его друг Сергей Белоцерковский, в распоряжении которого находился соответствующий аэродром, Киржатка, под Москвой, летчики, машины... Вообще-то под Москвой было и есть много аэродромов, что упрощало задачу, так как они не всегда связывались между собой перед вылетом «своего» самолета. Дальнейшее было делом техники и проделано абсолютно чисто — впрочем, нет, не абсолютно, следы намеренного убийства остались. Дезинформация, примененная ведомством, взявшимся за устранение Гагарина, позволяет разгадать примененный прием и как бы раскодировать его. До определенной степени, разумеется.

Итак, каков был план убийства Гагарина?

Он вместе с командиром-инструктором МИГа взлетает с аэродрома Киржатка. После отработки фигур пилотажа они возвращаются домой на свой аэродром. Идут, естественно, нижним эшелонем, близко к земле, чтобы освободить воздух для других самолетов и иных тренировочных полетов. В это время, не предупредив Кир-

жатку и ее диспетчерскую службу, с другого аэродрома взлетает самолет с высоким скоростным ресурсом. Зайдя в тыл самолету Гагарина, он делает резкий рывок в скорости и переходит звуковой барьер, что должно было неминуемо перевернуть тренировочный МИГ. После чего он должен был врезаться в землю. Сверхзвуковой самолет возвращается на свой аэродром, никак не «засветив» себя. Вариант был хорош еще и тем, что его можно было повторить дважды и трижды в случае неудачи с первых попыток (кстати, может, они и были, но о них ничего не известно).

Дезинформация в этом варианте выглядит оптимальной, поскольку информации просто не выдается, она почти равна нулю и раскодировать «дезу» в таких случаях почти невозможно. (Ну, можно ли, к примеру, раскодировать сообщение о том, что «самолет скрылся в сторону моря»?) Остается лишь убрать летчика-убийцу и несколько человек аэродромного обслуживания, которые напрямую не знали о существовании плана, и какой самолет, с какими летчиками терпит катастрофу. Более того, для всех окружающих она выглядела бы загадочным, случайным сцеплением маловероятных обстоятельств — как до сих пор преподносится всему миру гибель Гагарина.

И все же убийцы «наследили»! Наследили так, что не остается сомнений в существовании плана убийства Юрия Гагарина. Я говорю пока только о существовании плана, поскольку не упускаю из вида и «мягкий» вариант устранения Первого космонавта. Что же говорит в его пользу? Прежде всего: Правительственная комиссия так и не вынесла своего заключения о причинах гибели самолета МИГ, 27 марта 1968 года взлетевшего с аэродрома Киржатка. Дело в том, что взлететь мог один самолет, а погибнуть — другой, с другими людьми. Ведь до гибели самолета, где находились Гагарин и Серегин, связь с ними прервалась, следовательно, они могли повернуть в сторону и уйти для посадки на другой аэродром. Об этом проговорился друг (а может и не друг?) Гагарина летчик Анатолий Колосов, прямо ска-

завший: «...они ушли с экрана радиолокатора и перестали выходить на связь».

Далее: никто не производил идентификации трупов погибших летчиков с Гагариным и Серегиным! Между тем, идентификация потерпевших, установление их личности — первое и главное действие при расследовании гибели людей. Да, были собраны кровавые кусочки тел двух человек, но чьи это останки? Взрыв произошел с такой силой, что каких-то больших и целых частей трупов не сохранилось. Алексей Леонов, принимавший участие в расследовании происшедшего, утверждает, что розыскники обнаружили на месте взрыва часть скальпа Юрия Гагарина с характерной родинкой. Доказательство очень слабое и ненадежное! Из вещей же Гагарина нашли только его портмоне с фотографией Сергея Павловича Королева, которую носили с собой все космонавты. Портмоне могли и подкинуть в ходе «поисков» останков летчиков, также, как и куртку Серегина. Не была проведена даже генетическая идентификация останков погибших с генотипами их родственников, не исследовались группы крови, ее характерные особенности! И сами останки не сохранены, так что теперь это и сделать невозможно. Не исключено и другое: в то трагическое утро Серегин получил какой-то секретный приказ, вызвавший его недовольство. Быть может, то был приказ перегнать самолет с Гагариным на другой аэродром, что вызвало раздражение инструктора, он в этот день отказался от завтрака: как предчувствовал, что за этим приказом что-то кроется. Так что вполне вероятно, на месте Серегина и Гагарина были совсем другие люди, и одно это дает шанс предполагать, что Гагарин еще жив.

Но следы дезинформации обнаруживаются и в другом. Оказывается, в момент катастрофы и на ее месте находился еще один самолет. Вот, что вспоминает об этом Алексей Леонов (даже не заикнувшийся об этом в 1990—ом): «Уже тогда, двадцать семь с лишним лет назад, мне удалось выяснить не только факт присутствия самолета, но и его тип. Я лично по отдельности

опрашивал трех свидетелей, которые видели второй самолет. Три крестьянина, независимо друг от друга, из десяти масштабных моделей выбрали одну — «СУ-15» («Совершенно секретно», №2, 1996 год, «Самолет-убийца»). Алексей Леонов слышал два хлопка, разделенных интервалом в полторы-две секунды, о чем и написал в своем объяснении комиссии. То есть хлопок от перехода самолетом СУ-15 сверхзвукового барьера, а затем хлопок — взрыв самолета, опрокинутого сверхзвуковой волной. Когда же он, спустя много лет запросил все документы комиссии, то оказалось, что его объяснение просто исчезло из дела: «Но что я увидел! В документе, который я писал собственноручно, я не узнал свой почерк. Да и содержание его было совсем другим. К тому же я писал, что времени между взрывом самолета и хлопком, сопровождавшим переход звукового барьера, прошло полторы-две секунды, а там речь шла о паузе в 15-20 секунд» (там же).

Этот прием дезинформации далеко не нов и называется обычно «подлогом», когда вместо одного факта или документа просто вставляется другой. А прежний изымается и уничтожается. «Подлог» полностью выдает организаторов и исполнителей плана, поскольку не может быть случайностью! Значит, за «подлогом» стояли влиятельные люди, надеявшиеся ввести в заблуждение общественность. Этот прием дезинформации, частично поддающийся раскодированию, непровержимо свидетельствует о намеренности катастрофы, а не о диком скоплении маловероятных случайностей. Выяснилось, что СУ-15 вылетел с аэродрома «Чкаловское», где почему-то рядом с оператором локатора оказался замглавкома ВВС П.С.Кутахов — не часто замглавкомы посещают помещение оператора локаторщика, значит надо ему было лично там присутствовать. Для чего? Чтобы лично убедиться в исполнении плана убийства? Какие еще цели могли привести маршала на аэродром, где проводился не испытательный полет нового самолета, а ординарный вылет? Мало того, когда взорвался самолет МИГ, то по локатору оператор про-

должал прокладывать путь летящего самолета еще две минуты, но, разумеется, не МИГа, а СУ-15-го! Чтобы скрыть этот факт, Кутахов стал кричать на оператора: «Ты что не соображаешь, самолета нет, а ты его курс проводишь? Убрать его!» С тех пор оператора и след простыл, даже фамилия его неизвестна общественности. А ведь он прокладывал путь самолета-убийцы... как никто не знает и фамилии летчика, пилотировавшего СУ-15.

Несколько слов о законности. Что обязаны были сделать и не сделали соответствующие юридические лица и органы СССР в то время? Независимо от выводов Правительственной комиссии необходимо было возбудить уголовное дело по факту катастрофы и исчезновения двух людей. Такое постановление должна была вынести военная прокуратура. Далее, следствие обязано было тщательным образом провести идентификацию погибших с личностями Гагарина и Серегина. Этого тоже не сделано. Наконец, в-третьих, следователь по любому подобному делу определяет главное: что это было — несчастный случай, самоубийство или убийство? Разумеется, двумя последними версиями никто и не задавался, тем самым проблема убийства, его мотивы и способ исполнения даже не прорабатывались следствием. Это вопиющее нарушение уголовного судопроизводства, за которое никто не ответил.

Я не претендую на полную безошибочность своих доводов. Но я хочу, чтобы мне доказали! И не только мне, а всему человечеству, которое обязано Юрию Гагарину прорывом в космическое пространство. И доказали не какими-то статьями в газетах и журналах, не парламентскими слушаниями, а соответствующим решением юридических властей. Вердиктом международного суда. Постановлением международной следственной комиссии.

Когда убивают американского Президента, — дело чести американского народа раскрыть тайну этого преступления. Когда убивают Первого космонавта мира, —

дело чести всего человечества раскрыть правду об этом злодеянии и установить истину. Я прошу только одного: не остаться к судьбе Гагарина равнодушным. Мы еще живем в те времена, когда могут быть живы свидетели, организаторы и исполнители убийства. Да и самому Гагарину в этом году исполняется (исполнилось бы!) всего 64 года.

Напоследок мне хочется вернуться к мотивации убийства Гагарина. Белоцерковский пишет о ней так: «Система выталкивала его, он был чужим, лишним, а временами — даже неугодным, и это чувствовал. Были варианты: приручить... купить... Гагарин не приручался, он был слишком честен, прям, своеволен, самостоятелен... Купить? Надо было знать Гагарина, чтобы даже не делать таких попыток».

Потсдам, 1998 год



Виктор ПЕРЕЛЬМАН

РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ

Начало

Я не сложу головы за достоверность того, что услышал от этого старейшего экскурсовода, водившего нас по развалинам Помпеев. Согласно рассказанной им легенде о «Доме трагического поэта», останки которого сохранились до наших дней, в нем, в этом доме, погиб во время землетрясения бесценный манускрипт неизвестного автора. Манускрипт поражал жителей Помпеи не только красотой и поэтикой стиля, но еще более пророческой мудростью высказанных мыслей. Автор утверждал, что весь цивилизованный мир, разбросанный по многим странам и континентам, в третьем тысячелетии начнет свое возвращение к истокам — к античной эпохе, когда невиданного расцвета достигла мировая цивилизация и культура.

Так уж мы устроены, что мысли, пусть и не очень логичные, приходят в голову в определенные моменты жизни,сообразно ее ходу или просто случаю, возника-

ющему на нашем пути. Так, собственно, произошло и со мной, когда в составе туристической группы американского клуба Эй-би-си, прибывшей в Рим, мы с женой вышли из аэропорта и вместе со всеми расположились в комфортабельном итальянском автобусе.

Автобус взял курс на Сорренто, оттуда нам предстояло стартовать на север. Еще в Америке, при одной мысли о том, что нас ждет в Италии, у меня захватывало дух, особенно, наш будущий маршрут: Сорренто, Рим, Флоренция, Венеция и в заключение, Бована, эта прелестная жемчужина северной Италии.

Из-за того, что моя жена Алла скверно переносит автобус, нас усадили в первом ряду, и скорее всего от усталости (летели мы с пересадкой, каким-то кружным путем), не было у нас ни подъема, ни вдохновения. С трех сторон за стеклами проплывали довольно унылые пейзажи итальянского юга. Дорога как дорога, мелкие перелески, бензозаправочные колонки, на горизонте горы, безо всякой экзотики, — не на чем остановить глаз, ничто не предвещает романтического Сорренто. Даже шофер наш Эдуардо совсем молодой, но уже с пробивающейся на макушке лысиной — и тот сидел, тоскливо замерши у руля и загораживая собой вьющуюся впереди ленту шоссе. Оттого и глаз, не видя за стеклами ничего стоящего, поочередно натывался то на его застывшую спину, то на мерно подрагивающую от толчков лысину.

Автобус и его пассажиры

Еще в аэропорте, при переключке, мы с женой установили, что все наши спутники — это соотечественники из штата Нью-Джерси. что-то в их облике было на удивление знакомым, и у меня даже закралось подозрение, что некоторых я видел, хотя где и когда, вспомнить, конечно, не мог. Возраст их описывать не стану, рассчитывая на догадливость читателя, преобладали, конечно, пенсионеры, впрочем, все великолепно ухоженные, все в кедах и спортивных одеждах, все возбуждены и вслух,

на весь автобус, чем-то все время восхищаются, особенно представительницы слабого пола, которые, не смотря на возраст, выражают восторг удивительно молдыми и звонкими голосами.

Припадая к окнам, вертят во все стороны головами, по всему салону разносятся вопросы и ответы: («Ну как ты там, Билл? Гуд?» — «Фаин!» «А ты, Роза?» «Террифик!» «А Вики, как там наша Вики?» — «Тэнкью, грэйт!»).

Не стану миллионный раз повторяться о том, что живем мы в стране оптимистов, у которых ничто не должно вызывать печали. Таковы правила игры, и если вы живете в этой стране, то должны соблюдать ее правила. Умом я, конечно, все это понимаю, но дальше теории дело не идет. По словам жены, мое тоскливое «файн» часто звучит так, будто я в мучениях выдавливаю из себя его антоним «бэд», которое лишено права существовать в этом обществе и любого американца может натолкнуть на мысль о моем психическом нездоровье. Между тем, эмоциональный накал в салоне пошел на убыль и жизнь начала брать свое.

— Послушай, Марша! — услышал я позади себя голос, — собираешься ли ты в Сорренто заняться шопингом?
— Не думаю, Рахель. Говорят, это лучше всего сделать во Флоренции.

— Но сколько мы пробудем во Флоренции? Два дня? Что такое два дня — просто ничего! Я же с детства, дорогая, мечтаю о флорентийской цепочке!

— А интересно какие там у них цены? Говорят что-то ужасное!

— Ну и что, милая, ты на себя пожалеешь? Как будто ты каждый год имеешь возможность купить что-то из флорентийского золота!

— Господи! Как хорошо, что мы все-таки избрали этот тур! Такой тур! Unbelievable!

— Когда мама была при смерти, она мне так и сказала: «Марша, обязательно поезжай в Италию, ты же знаешь, что у Питера бабушка — итальянка из Тосканы».

— Боже, как интересно, значит, вы с Питом возвращаетесь к истокам! Грэйт! Там у вас кто-нибудь остался? А

вдруг остался? Может, тебя даже ждет какой-нибудь сюрпрайз... Сколько у бабушки было детей?

— Да что ты родная? Какой сюрпрайз? Питер даже не помнит бабушки, да и кем она могла быть? Посмотри, какая кругом нищета. Terrible!

Спираль истории и перемещение душ

Вот вам и путь к истокам, думал я. Безвестный поэт из Помпеи мог представлять возвращение к предкам каким угодно, но вряд ли... флорентийские шопинги, хоть и смотрел, сердешный, сквозь века. Время вносит свои коррективы, и возвращающиеся к истокам потомки явно не следуют заветам предков — история еще никогда не развивалась по прямой, а все больше по спирали, чьих странных извивов нам не дано понять.

С другой стороны, чего ради я затеял эту волюнку с прошлым? Мне-то в свое прошлое уж никак не вернуться (город Лепель, где родился мой папа, как и город Витебск, где родилась мама, явились миру с большим опозданием и явно после гибели Помпеи), так что едем мы с Аллой в Италию, как обыкновенные туристы, как миллионы других, да вот как те же японцы, наводнившие собой весь западный мир. И вдруг моя мысль замкнулась, застопорилась, завихрилась на чем-то совершенно странном. Ведь никто из нас, в сущности, не знает самого себя: может быть, и я, согласно древнему провидцу, тоже возвращаюсь к своему прошлому. (Ведь было же во времена Помпеи что-то на месте папиного Лепеля и маминого Витебска.)

Мне рассказывали, что в Бруклине рядом с бесчисленными колдуньями, заполонившими русское телевидение, открыла офис одна одесская психиаторша, необыкновенная оригиналка и красавица с римским профилем, которая всю жизнь занималась реинкарнацией душ и рассказывала своим пациентам, что в минуты погружения в прошлое она вспоминает, что когда-то, в античные времена, ей самой довелось жить в Помпеях и даже служить в публичном доме, расположенном по

соседству с «Домом трагического поэта» (и на бедре ее даже сохранился шрам от удара мечом помпейского любовника, заставшего ее за неблагоприятным занятием. Рассказывали, что шрам этот как доказательство ее жизни в Помпеях, а может, в целях саморекламы она лично демонстрировала на одной из вечеринок в ресторане «Одесса»).

Да, я увижу Римский Форум, и Колизей, и площадь Святого Петра, и Папскую Базилику, и Сикстинскую Мадонну, и Парк Боргезов, я просто не в силах перечислить всего, к чему я в эти дни рвался. Но теперь, по возвращении домой и вспоминая происшедшую уже в конце встречу в Венеции (хоть и грош ей цена в базарный день, но ведь надо такому случиться!), — так вот, уже дома мне начинает казаться, что все эти экскурсии и полные волшебства свидания с древностью — все это лишь часть правды о моей Одиссее. Вся правда в том, что я не просто возвращался в прошлое, но в свое итальянское прошлое. И диковинно это звучит только для тех, кто не знает моей молодости и гримас моего пути к свободе.

Мое итальянское прошлое

Впрочем, я был не так уж молод, когда это начиналось. Январь 1973 года. Я, известный в то время еврейский активист, успевший отведать даже Коломенскую следственную тюрьму, счастливый и полный сил, прибываю в Израиль, готовый отдать всего себя без остатка борьбе за свободу советских евреев.

Меня вызвали в Министерство Иностранных дел (на иврите Мисрад Ахуц) и директор Восточно-европейского отдела этого министерства Нехемия Гидрон сообщил, что меня хотят командировать в Италию, чтобы поднять итальянскую общину на борьбу за моих национальных братьев.

Помню, как дни и ночи напролет я сидел и писал доклад, с которым намерен был выступить перед евреями Рима. Принес текст Нехемии, который взглянул на

него одним глазом и спросил меня, что это такое. «Как что? — в свою очередь удивился я. — Текст доклада, который должен поднять итальянских евреев на борьбу!» «Виктор, послушайте, — вдруг заулыбался во весь рот Нехемия, — никогда не думал, что вы такой формалист, — чего вам дался этот несчастный доклад. Вы же в Италии, а Италия — это не Москва. Это в Москве вы боролись. Сражались с КГБ, а здесь вы должны расслабиться, отдохнуть, подышать итальянским воздухом, вы даже не представляете себе, какие в Италии девочки», — весело подмигнул он мне, не подозревая, что с его легкой руки мне еще придется столкнуться с итальянскими девочками. Затем вручил мне паспорт и сказал, что по возвращении я должен сдать его обратно в Мисрад Ахуц. «Но ведь это же мой паспорт! — теперь уже не понимал я его. «Да, ваш, конечно, но скажите, зачем он вам будет нужен, когда вы вернетесь домой?»

Ах, как я был слеп и наивен, отправляясь в тот первый раз в Италию. Где мне было понять, что Италия не очень-то нуждалась в таких борцах, как я, что все мы, вырвавшиеся из неволи активисты, полагавшие себя будущими членами Кнессета, будущие реформаторы, опреснители морской воды, рвавшиеся совершить в тихом, провинциальном Израиле революцию, меньше всего нужны на своей исторической родине. Потому и считалось за благо, чтобы мы поменьше ей морочили голову, а лучше уехали, отдохнули, поостыли, ну а потом, конечно, вернулись. А чтобы чересчур не увлеклись границей, иностранный паспорт надлежало вернуть.

Понял я все это много позже, когда пожил на Западе и засел за свой «Театр абсурда», а тогда рвался в бой, у меня чесались руки, я сгорал от счастья, что и мне выпал удел борца. В Италии были дни социальных потрясений. На улицах и площадях бушевали демонстрации, глаза итальянцев горели огнем, все кричали о счастье и свободе, и от этих волнующих слов во мне тоже закипала кровь.

И вот теперь, спустя четверть века, уже пожилым человеком и редактором журнала, снова еду по Италии,

забыв о тех первых днях в Риме, когда молодой итальянец по имени Арриго (с коим как раз и состоялась наша бредовая встреча в Венеции), сыграл со мной, борцом и сионистом, веселую шутку, в чисто итальянском духе, и сам верно того не желая, открыл мне совсем иную Италию, затейливую и насмешливую. И возможно, самую что ни на есть истинную.

Амплитуда моей мысли снова рванулась вперед, но отчего же меня и сегодня, постаревшего и съевшего пуд соли, влечет к себе снова Италия? То ли выиграла молодость, то ли совсем другой мир, к которому я когда-то прикоснулся, но давным-давно его позабыл. Ах, сколько ни старайся, нельзя дважды войти в одну и ту же реку! И эту истину в суете мыслей я, кажется, тоже забыл.

И все же... Пусть не остановим поток жизни, но нет, нет, да и взблеснет в этом потоке лучик давно ушедшего прошлого. Не взблесни он предо мной в Венеции, при звуках вечерней баркаролы и не случись этого фантастического события, мне бы и писать, в сущности, было не о чем. Из моего рассказа оказалась бы вынута душа, и все памятники, и музеи, и базилики, и фрески, — все это обернулось бы просто интересной экскурсией в прошлое.

И снова о прозе

Время, однако, спуститься с небес на землю и хоть для порядка представить наших спутников. Не будем, впрочем, спешить. Хотя в пути люди знакомятся молниеносно, из-за моей вечной нелюдимости все это не для меня. Последнее никогда не приводило в восторг мою Аллу, обожающую больше всего на свете компании. Что поделаешь — люди рождаются разными. Она — одно, а я совсем другое, хотя не знаю, какое отношение это имеет к моему рассказу и дружному коллективу Эй-биси, о котором речь впереди. Потому и о знакомствах чуть ниже. Но о нашем тур—организаторе (точнее тур—организаторше, или как называют ее в системе — «ди-

ректор») мне, право же, время сказать пару слов. Она вожак и водитель нашего коллектива, самый главный организатор нашего романтического предприятия. Это она будет обеспечивать нам отели и переезды, организовывать переправку наших чемоданов, на каждом шагу давать нам множество полезных советов, в которых так нуждаются заделавшиеся на старости туристами домоседы из штата Нью-Джерси (не зря же злые языки присвоили ему звание спальни Нью-Йорка). Так вот: ее имя — Анна, она итальянка, с живыми и черными, как спелые вишни, глазами, лет пятидесяти пяти, ни на минуту не смолкающая, словно дала себе обет откликаться на все, что происходит рядом. Красива ли она? Она из женщин, которые хоть и не утратили шарма, но от последнего им мало проку, поскольку все они другому отданы и будут век ему верны. Кому ж другому? Не Онегину же, дорогой читатель? Для последнего у нашей Анны не нашлось бы и минуты, особенно по весне, когда так хорошо стоит туристический бизнес.

Вот так размышляя ни о чем, я и не заметил, как наш замерший за рулем Эдуардо, мало-помалу проделал полпути до Сорренто — а тем временем наш директор, ни на секунду не желавшая оставлять нас предоставленными самим себе, приступила к своим прямым обязанностям. «Здравствуйте, — сказала, она, и нежно обняла сидевшую позади нас Маршу, мечтавшую совершить во Флоренции сногшибательный шопинг. — Ну так как дела? Как мы себя чувствуем?» «Файн!» — дружно зааплодировал салон. «Я очень рада!» — не спеша нащупывала она путь к нашим сердцам. (Сколько я в детстве выдержал таких напутствий. Дома отдыха. Пионер-лагеря. Лесные школы.) Но тут все было поставлено на иную ногу. Пока Анна величаво плывущей походкой перемещалась вдоль салона, наставляя на путь истинный своих питомцев, те превратились в само внимание. На пути к их сердцам Анна чувствовала себя, как рыба в воде.

Круг ее напутствий был необъятен. (Не отставать от автобуса, не опаздывать на обеды, не забывать ничего

в сейфах, не ходить с деньгами по городу...) Но все это говорилось скорее для приличия, чтобы подойти к главной, хоть и несколько щекотливой теме, о которой, думаю, бывалый читатель давно догадался. Однако, о чаевых («типах») Анна говорила безо всякого нажима, голосом абсолютно беспристрастным и незаинтересованным, как о скучном, повседневном деле: от каждого по два доллара в день официантам и уборщицам, по два доллара шоферу, по доллару — портье, три доллара в день ей, как директору, три доллара — экскурсоводу, два доллара — подносчику чемоданов. «Ну а для наших «пар», — все так же безразлично сообщила Анна, как это понятно, «типы» увеличиваются вдвое. Впрочем, давать их совсем не обязательно. Отнюдь! Анна отстранила от губ микрофон и по-свойски улыбнулась. Просто, все мы знаем, что так принято, и потому она как директор обязана этот обычай до нашего сведения довести. Вот и все.

По ходу дела посоветовала поменьше отлеживаться в гостиницах и побольше ходить на экскурсии. И с той же свойской улыбкой добавила: «Зачем мы приехали в эту страну? Скажите за чем? Отлеживаться? Отлеживаться поедете во Флориду! А в Италии надо побольше ходить и смотреть». В ответ на что опять раздались дружные аплодисменты. «Так что прошу не стесняться и записываться», — наконец закруглила Анна, предпочитая в эту тему не углубляться. К тому же и закончила вовсе не на «типах». «Господи! Ну что это мы все о прозе! Типы, Шлипы! Хватит о прозе, давайте немного о поэзии», — воскликнула она, обойдя автобус и собрав по сто долларов с пар, которые утром собирались на Капри. («В стоимость входит ланч, — тут же пояснила она, — так что не все так страшно»). «А теперь прошу внимания! Все ли знают, как появилась песенка «Вернись в Сорренто»? Автор знаменитой песни задумал побывать в России, которая многие годы манила его, — выразительно взглянула она в мою сторону. — А в России разыгрались жуткие морозы. И автор затосковал. Кругом снега. А в его родном Сорренто тепло, море... Вот тогда-то в

припадке тоски он и написал «Вернись в Сорренто». «How interesting!» — воскликнула за моей спиной Марша, что планировала во Флоренции шопинг. «Ну я тебе скажу, это просто «крэзи» зимой ехать в эту Рашу!» — отозвалась ее собеседница. «Внимание. Приехали! — снова прижала микрофон к губам Анна, — прошу никого не уходить из лобби, пока будут распределяться номера. Ужин в 7-00. На третьем этаже. В ресторане. Столы Эй-би-си в левой части зала у окна...»

Запроданная душа Капри

Вам интересно, как проходил наш первый ужин в Гранд Отеле «Везувий»? Чуть-чуть фантазии, и все представите сами. во-первых, человек на 15 круглый стол и подле него другой, такой же, которые я, в силу понятных вам причин, сразу же пытался обойти. Подобные демарши были, видно здесь не в диковинку. Маневр был тотчас замечен и вовремя пресечен метрдротелем (как две капли воды похожим на бывшего Нью-Йоркского мэра Коча). Заметив, что мы пытаемся улизнуть в свободный мир, он решительно замахал нам руками и на весь зал, что было сил, закричал: «Алло! Эй-би-си! Прошу, пожалуйста, к своему столу, вон за тот круглый, видите надпись!»

Я понял, что в создавшихся условиях о своих индивидуалистских замашках мне следует раз и навсегда забыть. Итак, я и Алла за большим круглым столом. Вокруг все до одного наши, Нью-джерсийцы. Вот тут-то, читатель, и представим, наконец, соседей. Так вот, справа от нас, большеголовый, с тремя зачесанными наверх волосинками, учитель-пенсионер Боб, с которым с самого начала у меня не сложились отношения, а после одного случая и вовсе возникла неприязнь (случай специально для Фрейда, а посему спешить не будем).

Итак, вам ясно: учитель Боб (бывал я в системе просвещения на разных позициях, заметил он представляясь). Одевался по-учительски просто, в клетчатые ковбойки, иногда, если ожидалось за столом вино,

переодевался в свежевывстиранные. Среди прочих деталей, помимо, зачесанных наверх волосинок, пронзительный сквозь роговые очки взгляд. Я бы сказал так: взгляд советского кадровика. Впрочем, он тут же исчезал, когда Боб, потирая перед едой руки, причмокивал губами. Затем его жена, почему-то опять Марша, увенчанная диадемой седых кудряшек. Усаживаясь рядом с Бобом, она все время виновато улыбалась, пребывая в ужасе от того, что ничего приличного из своего гардероба не взяла. Приятельница сказала, что ничего не надо и теперь стыдно людям на глаза показаться. Другая ее любимая тема — многочисленные израильские родственники, которых они недавно с Бобом навестили в Хайфе и теперь ждут к себе. Собирается нагрнуть сразу человек десять, и она буквально в ужасе, что не успеет подготовиться (быть всегда от чего-то в ужасе — видно, ее обычное состояние).

Как выяснилось, у Боба тоже полно родственников, и все тоже в Израиле, но до поры до времени о них помолчим, пока в Венеции между супругами на этой почве чуть не разыгрался скандал.

Напротив нас располагался гигантский толстяк Гордон со слуховым аппаратом, подвешенным на левом ухе и с добрым, испуганным взглядом то ли профессора зоологии, то ли еще каких-то наук, — в его рассеянности я находил что-то общее с Паганелем, с моей легкой руки мы его так и звали — Паганель и Паганель.

Жена Гордона — маленькая Каролайн, в молодости, видно, писаная красавица, но с годами превратившаяся в седую и манерную лет семидесяти леди. Я долго не решался ее расспросить о Паганеле-гордоне, что он, действительно профессор? Последнее ее ввело в веселое настроение, — да нет же, никак не могла она успокоиться, никаким профессором он в жизни не был, но позицию, извините, занимал. Был фотографом по цветным каталогам во всемирно известной фирме «Блюмендэйл» — да, позицию-таки занимал — сверлила меня взглядом Каролайн — с ним и сейчас босс консультируется, какие снимать товары, что и на каком

месте ставить, хотя, слава Богу, уже пятнадцать лет на пенсии.

За столом они никогда не сидели вместе, но Каролайн не спускала глаз с мужа. Когда вставали, она нагибала его голову со слуховым аппаратом к себе и что-то решительно, а то и сердито нашептывала, на что он сонно и добродушно улыбался, словно даже не слыша гневных ее филлипик.

Были за столом три вдовы-приятельницы из Парамуса: Мэрри, Кэрри и Синтия, члены общества еврейских вдов при Парамусской синагоге. Чтобы не повторяться, об их возрасте также распространяться не буду. «Каждой женщине столько лет, на сколько она выглядит!» — обычно заявляла Синтия, самая старшая. Но от себя добавлю, какой тут вообще разговор о возрасте, если каждое божье лето троица колесила по миру, после чего по личному приглашению Парамусского равва Гудмана с удовольствием выступали со своими впечатлениями перед членами синагоги, но по такому случаю туда приходили далеко не одни евреи.

По другую сторону от нас сидел бродатый врач-гастроэнтеролог Милтон с женой Рахелью. Выяснив, что Алла — врач, он тут же заинтересовался мной, и узнав, что я не врач, а редактор, сходу решил уточнить, что за журнал. «Что, фармасютик?» (то бишь фармацевтический). Алла, чтобы закрыть тему фармасютиков, внесла для стола ясность: журнал литературный и я его паблишер и редактор. В глазах Милтона проснулось уважение, и он так внимательно оглядел меня, что я грешным делом испугался, не быть бы вовлеченным в какой-нибудь интеллектуальный разговор. Ну, например, встречаюсь ли я с Александром Солженицыным и правда ли пишут, что он антисемит? И что сейчас пишет Бродский, да он же умер! — уж не выдерживаю я. «Ах, да верно, умер! Даже Нью-Йорк Таймс писала, кстати похоронили где-то в Италии, кажется во Флоренции». «Да нет, в Венеции». «Тем более, удобно будет навестить!»

С кем-то у меня уже был такой философский разговор, кажется с одним американцем на площади Святого

Петра, который, узнав, что я русский, решил кое-что у меня выведать. (Тогда я его кажется перевел на тему российских мафий и убийств — то было попадание в десятку, разговор мгновенно исчерпал себя.) И на этот раз, все бы закончилось благополучно, если бы не югославская проблема. Я уже заметил, что Милтон был из тех американцев, обожающих политику, к которой в туре у меня выработалась стойкая идиосинкразия. Как бы еще не затянул волюнку о Югославии, тут уж не удастся так просто отвертеться. Впрочем, может, пронесет. Он молчал, и все спокойно доедали фрукты с мороженым. «Алла, нам пора!» — стал я уж было подниматься от греха подальше. Именно в этот момент он тронул меня за рукав и сказал, что хочет со мной о чем-то поговорить. Вы не очень устали после ужина. Меня после ужина страшно тянет ко сну. Так что давайте останемся за столом. О чем я хотел вас спросить? Как бы это точнее выразить... Давайте, пожалуй, напрямую: «Что вы думаете о положении в Югославии? (Надо же, словно чувствовал!) Нет, правда, Виктор, что вы думаете о Югославии?» «А вы?» — вырвалось у меня в ответ. «Слушай, это же неприлично! — слышу с другой стороны голос жены, — ответь ему». Но ответить я не успел. «Мне представляется, — сказал он, — что это очень и очень непростой политический вопрос». «Боже, как интересно! Да вы словно мои мысли читаете, — вырвалось у меня, — я с вами абсолютно согласен. А теперь давайте поговорим о русской мафии. Убивают! По всей России кровь. Интересно, что об этом ужасе думаете вы, американский врач?» (Вот сейчас скажет — а вы? — тогда буду знать.) Но он широко зевнул: «Sorry! Просто ноги не держат, как хочу спать», — и крепко пожал мне руку.

Боюсь, что прочитав все это, читатель воскликнет: «Ах, сколько можно! И когда же автор дойдет до дела? Неужели в Италии он ничего не увидел». Ох, боюсь разочаровать читателя! «Дело» в том смысле, в каком он его ждет, вообще ему не светит. Об Италии столько написано, обо всем решительно — о ее памятниках,

храмах, монументах, полотнах, археологии, что меня охватывает робость от одной перспективы включиться в этот разговор. Оттого и пишу я — если быть откровенным — ни о каком ни «деле», а о том, что чувствую и переживаю в этой стране, нет это слишком громко — чувствую, переживаю! — просто пишу о самом себе, вырвавшемся из привычной и суетной жизни на короткие каникулы в Италию. И хочу быть абсолютно свободным, буду перескакивать из эпохи в эпоху, никем и ничем не ангажированным — ни Америкой, ни Россией, ни прошлым, ни будущим. Как живу, так и пишу. Живу я в своей Леонии. Выпускаю русский журнал, а тут представился случай и оказался в Италии. Вначале от Сорренто. Затем на острове Капри — в десяти милях от центра. Стоимость катера от Центра до Капри — 20 долларов. Дорого? Да это просто ничто за счастье побывать на всемирно известном острове, про который я еще в детстве слышал, что это жемчужина моря, остров поэзии, где жил Максим Горький, который здесь так блаженствовал, что дважды приглашал к себе Ильича, чтобы вместе скоротать время на берегу лазурного моря.

И вот, проведя на Капри почти целый день, пытаемся разобраться в увиденном. Уже по возвращении в гостиницу. На всемирно известном острове для этого нет условий, поскольку нет ни одной мало-мальски приличной скамейки, где бы можно было минуточку передохнуть. Не то что разбираться в чувствах.

Мы вышли из катера и тотчас уперлись в длинную очередь жаждущих пробиться к кассам фуникулера. Берег Капри напомнил мне турецкий берег в городе Мармарисе. А с другой стороны — Тахану Мерказит — Центральную автобусную станцию в Тель-Авиве. А с третьей стороны центральный базар в Токио, где местные торговцы по дешевке сбывают кимоно туристам. Вот так и на Капри — все тут заняты благороднейшим занятием — весь остров от мала до велика торгует! Свободный рынок в действии. Повсюду облепленные людьми лавочки, киоски, магазинчики, шопинги, пицце-

рии, кофейни, куда вас пытаются затащить оружие на весь остров бесчисленные зазывалы-прилипалы.

Поднявшись на фуникулере на гору, мы видим все тот же милый пейзаж, что в Мармарисе, Тель-Авиве, Токио. А теперь вот и Капри... «Сеньоры вы что-то будете заказывать — кофе? Мороженое? Пиво?» «Да нет, мы просто посидеть». «Ах, просто посидеть? Ну тогда, прошу вас, сеньоры, освободите место. В нашем кафе просто не сидят. В нашем кафе заказывают...» Так вот, упомянутые сеньоры — это я и Алла, все-таки присели, падая с ног, за каким-то ничейным столиком... Впрочем, так и не дали приткнуться даже на краю острова Капри. Остров, где люди даже умирают стоя. Как объяснил ситуацию один старый зазывала, — хоть и жемчужина моря, да кто же станет подрывать собственный бизнес.

Я вспомнил о великом Горьком — и вслух рассмеялся, представив, как начну здесь разыскивать когдатошнюю обитель бессмертного основателя соцреализма. Говорят, что Сталин, когда Горький в тридцатых годах запросился на Капри снова, пустить его отказался. Сказал, пусть отдыхает в Ялте. У нас не хуже. Сталина я понимаю: явно боялся, чтобы престарелый пролетарский писатель не заразился идеями рыночного капитализма. Но не понимаю Горького — что его-то так тянуло на Капри. Или в те годы другой была эта жемчужина моря, такой, какой я рисовал ее себе в детстве, а потом взяла и запрдала душу дьяволу.

Варианты и ласточки

От Сорренто до Рима добирались почти пять часов. Рим — это не Капри, о котором я и услышал-то в детстве только потому, что там жил великий пролетарский писатель. Человек, въезжающий в Рим, будь у него даже рыба кровь, не может не испытывать волнения. Волнуют не только бесчисленные храмы, памятники, базилики и раскопки старины. Волнует сама захватывающая вас мысль: «Вот сейчас, в эти минуты, я еду по Риму, по

римским улицам и бульварам, вон там виднеются развалины Римского форума, а вон там Колизей, а напротив нашего Парко Дель Принципи Отеля — знаменитый бульвар и рядом музей Боргезов, бесценное хранилище произведений античной и мировой культуры.

Наш экскурсовод по Риму, пожилой итальянец по имени Леонардо, доктор археологии и в прошлом профессор Университета, признается, что без рассказов и лекций о Риме, без встреч с людьми он не в состоянии жить. Мне нравится Леонардо, он — пенсионер, довольно бедно одет, но человек творческий, влюблен в Рим и ненавидит штампы истории. Идеология его волнует меньше всего. Единственно, что его волнует, — это Рим. Своими продолжающимися раскопками Рим, по его словам, обязан Муссолини. «В Африке есть золото, — цитировал он слова Дуче, сказанные им, кажется, еще в 1922 году, — у арабов есть нефть, у Франции и Германии — руда. У Италии нет ни того, ни другого, ни третьего, зато в Италии есть раскопки. Они — наше богатство, они — наше золото, нефть и железо. Оглянитесь вокруг себя, продолжает Леонардо, — везде копают, гигантские подземные пласты поднимаются из-под земли. Это поднимается древний Рим, за что ратовал Муссолини и что пытался превратить в реальность. За это Италия вечно должна быть благодарна ему».

Выйдя из автобуса, густой вереницей мы идем по территории Форума, слева от нас Курия, где заседал Римский сенат, а вот здесь, именно в этом месте, продолжает Леонардо, Брут убил Цезаря. Помните фразу: «И ты Брут!» Брута считали предателем. Но убивая тирана, он защищал свободу и республику. Леонардо ведет нас в Колизей и указывает на ворота, через которые входили гладиаторы, которые перед каждым боем обращались к Цезарю с одними и теми же словами: «Ave Ceasar, morituri te salutant». «Здравствуй, Цезарь, идущие на смерть салютуют тебе». Затем Леонардо ведет нас к храму Юлия Цезаря. В углубленной части подиума сохранилась центральная часть круглого алтаря, вблизи которого Марк Антоний произ-

носит свою знаменательную надгробную речь. И Леонардо приводит нам самое сильное ее место: «Друзья! Римляне! Сограждане! слушайте меня, я пришел похоронить Цезаря, а не восхвалять его. Зло, которое совершают люди, часто продолжает жить и после их смерти в то время как добро хоронят вместе с их костями».

Уже вернувшись домой, я часто проигрываю приобретенную на площади Святого Петра видеокассету «Рим и Ватикан». Мои чувства — где-то сродни мазохизму, это радость и боль одновременно, радость от того, что Рим так велик и прекрасен, а переживания и боль от того, что я так ничтожно мало знаю этот лучший город мира. И теперь уже не узнаю никогда.

Я завидую своей старинной приятельнице, выдающейся итальянской переводчице Лие Вайнштейн, переведшей на итальянский «Былое и думы» Герцена — памятник культуры, который навеки войдет в итальянскую сокровищницу. Но я завидую ей еще и потому, что она всю жизнь прожила в Риме. В своем старинном доме, на улице Виа Пьемонте, 62.

Кстати, где-то неподалеку отсюда как раз и произошло мое приключение с этим уличным шалопаем Арриго, которого я встретил в Венеции четверть века спустя, да еще в каком амплу! Впрочем, в лучшем все-таки, чем тогда, когда он «устраивал» мое выступление перед евреями Рима. Не случайно мой сосед по олимповской гостинице «Бэйт Бродецкий» Марат Шатров, провожая меня в Рим, не уставал напутствовать: «Бойся итальянцев, смотри, разыграют тебя так, что не соберешь костей». Но что же все-таки произошло? Откровенно говоря, мне даже как-то неловко все это описывать, да ведь без этого не понять вам другой моей встречи, 25 лет спустя, все с тем же Арриго, теперь уже изрядно потрепанным и постаревшим. Впрочем, не буду пересказывать на память, а приведу отрывок из «Театра абсурда», который можно было бы назвать так: «Борьба за еврейскую свободу или как я открывал Италию». Итак, представляю вам его с тысячью извинений за мои

бесконечные отступления от протокола. И за легкомыслие. И более всего за молодость. Каждый из нас прорывался к свободе по-своему, а я вот так — как повествует этот мой рассказ в рассказе.

«Встретивший меня в аэропорту сотрудник Гидрона побратски обнял и сказал, что я могу быть совершенно спокоен: итальянский народ не бросит на произвол судьбы советских евреев.

То, куда привез меня Марио, отелем можно было назвать лишь при большой фантазии, но еще большую фантазию надо было иметь, чтобы закуток, куда меня поселили, назвать номером.

На другой день Марио сказал, что на уикенд уезжает к теще в Неаполь и не буду ли я возражать, если на пару вечеров он предоставит меня самому себе. На днях меня разыщет очень славный малый из еврейской общины, по имени Арриго, и устроит такое, что будут трубить все итальянские газеты. Я еще не знаю итальянцев. Это только кажется, что они легкомысленны. А на самом деле — ой-ей-ей, да они Брежневу глаза выцарапают за каждого отказника.

В понедельник Марио позвонил из Неаполя и сказал, что заболела теща и он задерживается. Кстати не заходил ли Арриго? Ах, если бы я знал, что это за парень! Ненавидит штампы! И у него есть для меня несколько вариантов: митинг в ресторане и даже бал в пользу советских евреев. А если еще выступит известный борец за алию Виктор Перельман...

Опережая события, я должен сказать, что никакого митинга так и не состоялось. Что же касается малого по имени Арриго, то, чтобы не лишать вас нескольких веселых минут, я скажу о нем ниже — ничуть, кстати, не отступив от последовательности событий.

День за днем я ожидал с ним встречи, пытаюсь угадать, где же мне придется выступить на митинге — в ресторане или на балу.

Итак, перед вами Рим. На его улицах веселыми стайками порхают очаровательные, в коротеньких юбках ласточки. Но я не замечаю ни Рима, ни мая, ни порхающих по тротуарам ласточек — до них ли известному борцу за алию и для этого ли я приехал в Рим?

В Бейт-Бродецком — после того как я вернулся в Израиль, еще долго потешались надо мной, и каждый раз в разгар застолья поднимался Шатров и произносил: «А сейчас мы заслушаем доклад господина Перельмана о том, как он пытался поставить римских блядей на службу мировому сионизму».

По-моему, это была виа Фраттина возле самого моего отеля, где по вечерам порхало особенно много ласточек, как я теперь понимаю, с целями, не имеющими ничего общего с еврейским национальным возрождением. Тут и произошел казус, который еще долго приводил в веселое настроение моих соседей по Бродецкому. Не спрашивайте, как и почему он произошел (все что мог, я вам уже объяснил). Но я действительно уверовал, что подозрительная чернявая личность в широкой клетчатой кепке, которая в одиннадцать вечера выросла из-под земли возле моего отеля, и есть легендарный и столь долгожданный мной Арриго. «Или вы хотите что-нибудь интересное?» — спросил он. Конечно же, это был он, Арриго, и потому я сразу же перешел к делу: да, я знаю, что он парень не промах, ненавидит штампы и лично знаком со многими журналистами. К тому же, у него есть варианты...

При слове «варианты» лицо его сразу же оживилось и он сказал: «Да я имею несколько очень неплохих вариантов». — «Вот и отлично! — воскликнул я. — Скажите только где и когда?» — «Да хоть сейчас, мы все к вашим услугам!» Он тихо свистнул и перед моим ошалелым взором выпорхнула стайка ласточек, мгновенно обступивших меня со всех сторон. (С этими ласточками Шатров меня буквально извел — чтобы я описал ему каждую, но как только я пытался это сделать, он тотчас прерывал меня: «Ну, даешь! Неужели тебе мало заниматься сионизмом на своей исторической родине?!»)

Впрочем, после появления птичек, особенно, когда одна из них повисла у меня на руке, я все понял и тут же подумал: «Этого еще мне не хватало!» И решительным жестом отцепив ласточку, отрезал: «I am very sorry. I am very busy».

Конец эпизода был таким, что я даже не рискнул рассказать о нем своим друзьям в Бродецком. Я решительно, огромными шажищами шел к отелю, а Арриго, мелко семеня, бежал за мною и на ходу, путая все языки мира, говорил, что если у меня есть «абисэлэ гелд», то у него есть и другие варианты. «Но, но», — отвечал я, — и, ударив по левому карману, почувствовал, как у меня сжалось сердце. Паспорт! Украли! Провокация! КГБ!

Из гордого сиониста я превратился в самое несчастное существо на свете. Мне казалось, что прошла целая вечность, пока я по темной, пахнущей кошками лестнице не вскарабкался в свой «люкс» и на всякий случай не приподнял подушку. О Боже! Под ней преспокойно лежал мой иностранный паспорт. Я снова был самым счастливым человеком на свете.

Наутро я получил телеграмму от Нехемии Гидрона. Ссылаясь на Марио, он благодарил меня за работу, которую я развернул среди римских евреев. Действуйте так, Виктор, и

дальше. Италия кишит авантюристами, поэтому следите, чтобы не выкрали Ваш иностранный паспорт, который нам с вами еще пригодится. Обнимаю. Ваш Нехемия Гидрон.

Флоренция, фрейдизм и филе миньон

Я искренне завидую людям, которые, где бы не появлялись, мгновенно становятся душой компании. Все от них без ума, девушки наперебой с ними кокетничают, их тостам весело аплодируют. Я давно махнул рукой на свои способности быть кумиром. Чего нет — того нет. Тем более, не гожусь для компаний американцев. Вот уж неделю мы все вместе — дружный коллектив Ньюджерсийского клуба Эй-би-си. Жена моя Алла со всеми давно перезнакомилась, почти всем рассказала о себе, и почти все знают, что она врач психиатрического госпиталя, расположенного в Моррис Плэйне.

В отличие от нее, я за нашим столом почти всегда молчу, не испытывая особой тяги сблизиться с коллективом. Алла говорит: «Ну это просто ужасно! Им кажется, что ты ими пренебрегаешь!» «Они» — это наши соседи по столу, с лиц которых не сходят счастливые улыбки.

В их глазах я и сам чувствую себя личностью подозрительной, особенно после того, как Алла сообщила, что я редактор журнала (не просто родного всем фармасютика), а, видите ли, русского литературного журнала под названием «Время и мы». Вряд ли кто-то из «них» представлял себе это заморское чудо. А когда о моем редакторстве услышал Боб, да еще из моих же уст (кажется, мое «оксфордское» произношение просто не давало ему покоя), то он испытующе взглянул на меня и, чему-то своему улыбнувшись, покачал головой. Это было еще в Сорренто за завтраком, и с этого часа я почувствовал, будто меж нами пробежала черная кошка. Что и почему, я не понимал и сам. Но дело дошло до того, что, когда однажды за завтраком я его весело поприветствовал: «How are you, Bob?» Он хоть и пробормотал «fine» но безо всякого подъема, даже как-то не по-американски, то есть как по обыкновению отвечал я сам.

«А за что ему, собственно, меня любить? — преисполнившись объективности, подумал я. — Кто он и кто я? Он настоящий американский еврей, в прошлом учитель, и, кажется, директор школы, в Израиле у него куча родственников, и к тому же, как сообщил он сидящим за столом, у него на днях день рождения — 74 года! А кто такой я? Редактор? Ах, редактор? Редактор чего? Даже не фармацевтика! А какого-то сомнительного русского журнала. Был в Израиле, да уехал и к тому же все время подозрительно молчу».

До фрейдизма мы пока еще не добрались, впрочем, как и до филе-миньона, после чего наступит уже окончательный разрыв с Бобом. И случится это на третий день нашей флорентийской жизни, в загородном ресторане, когда все прилично выпьют, и начнутся исповедальные тосты. И глухой толстяк Норман, забыв начисто про свою Кэролайн, полезет обниматься ко всем по очереди подружкам из Парамуса. И чуть позже как раз и проявится фрейдистское подсознание Боба. А пока, откушав во Флоренции первый свой ланч и сопровождаемые нашим железным директором Анной, мы прибываем на площадь Микельанджело.

Пiazza Микельанджело — одно из самых высоких мест Флоренции, куда автобусы со всех концов Италии привозят туристов полюбоваться панорамой города. Панорама величественна и великолепна. В руках у меня путеводитель, передо мной карта Флоренции, разделенной рекой Арно на две неравные части. Насколько хватает глаз, снова Храмы, Базилики, Соборы, город Леонардо, Данте, Макиавелли, Джотто, Боттичелли... Невозможно представить, что прямо под нами — рукой подать! — столько исторических мест и памятников, о которых я так много слышал, но никогда не мечтал увидеть: дворец и музей Медичи, Церковь святой Марии, Церковь святого духа, волшебные сады Боболи, музей святого Марка, Музей флорентийского серебра, коллекция Рафаэля, Церковь святого Лоренца... Ах, все это так и останется мечтой, до нее хоть и подать рукой, но она никогда не исполнится: просто жизни не хватит

все это увидеть и среди всего побродить. Ах, годы, годы... Впрочем, такой ужли бред переселиться из Нью-Йорка во Флоренцию, к веселым и симпатичным итальянцам — людей добрее еще не сотворил Бог — с их вечным треском мотоциклов (на 700 тысяч флорентийцев три миллиона мотоциклов), с их бесподобными винами, которые делают жизнь такой прекрасной и легкомысленной, с их послеобеденными сиестами, когда замирает вся Италия. В блаженные часы сиесты итальянцы предаются делу, ничуть не менее важному в их глазах, чем в глазах американцев работа. Они отдыхают! Ну так что, вперед? Аванте? — обращаюсь я к жене, сам не разобравшись всерьез это я или в шутку. «А как же внуки?» — смеется она, садясь на своего любимого конька. «И внуки тоже. И зять. И дочь. Всем кагалом!» Внимание мое отвлекает кого-то ищущая Анна. Глаза ее горят! На лице озабоченность, словно она кого-то или что-то важное потеряла, но тотчас находит, машет кому-то рукой, этот «кто-то» фотограф-итальянец, обливающийся потом и с большой кожаной сумкой через плечо. Слава Богу, нашелся! И в микрофон, на всю piazza Микельанджело Анна кричит: «Эй-би-си! Внимание! Кто хочет фотографироваться — сюда! Единственный шанс в жизни!» И едва слышно закругляет: «Плачу я, так что надеюсь, что никто не откажется».

Сейчас, когда я пишу эти заметки, фотография лежит прямо передо мной, рядом с компьютером. Наша группа в полном составе. Все безмерно счастливы, еще бы, позади, за нашими спинами, Флоренция! Многоопытный толстяк-фотограф, утирая со лба пот, командует, где кому расположиться, чтобы каждый попал в объектив, Анна ему изо всех сил помогает, женщины вперед, мужчины назад! Над всеми возвышается Норман, он в верхнем левом углу, бритоголовый, в золотых профессорских очках и с неизменным слуховым аппаратом. Как и все, он преисполнен восторга. Под ним, едва доставая ему до пояса, его подруга жизни маленькая Каролайн, она то и дело окидывает мощную фигуру Нормана, то ли с гордостью, то ли по привычке, своим хозяйским глазом.

— Виктор! А вы куда? — пресекает Анна мой тайный план дезертировать (с детства я не перевариваю этих групповых снимков).

— Я? Я никуда! — пытаюсь я исчезнуть из кадра.

— Двигайтесь, Виктор, ближе к Бобу, Боб у нас не кусается!

«Ну это еще неизвестно», — думаю я и громко восклицаю: «Да, мы с Бобом самые большие друзья!» Восклицая и не двигаясь с места, Боб, застыв и, напрягшись как струна, пялится сквозь очки в объектив....

Есть у фотографии и своя достопримечательность: имя ее автора, толстяка-фотографа.

Я думал, что это просто шутка. Так вот его имя — Микельанджело! — как знак высшего качества красуется прямо в центре снимка.

А в общем, на фотографии, за которую на утро Анна с каждого собрала по 6 долларов (бизнес есть бизнес), все получились великолепно — и лучше всех сама Анна, загадочно улыбаясь и выставив перед собой острые загорелые колени. Даже я каким-то образом выдавил из себя подобие улыбки. Единственно, кто сохранял серьезное выражение лица, был все тот же учитель Боб, который после съемки все-таки успел исподтишка окинуть меня взглядом.

Прощание с Флоренцией, как читатель уже знает, состоялось в загородном ресторане, куда Анна и Эдуардо привезли нас в этот майский вечер.

По словам Анны, которая была навеселе еще перед застольем, вечер был подарком клуба Эй-би-си своим членам, то есть входил в плату за путевку, к тому же (что выглядело совсем, как чудо) «входил» с вином, джазом, солистами, была даже приглашена из близлежащей деревни большая итальянская семья с коротышкой-папой, с великаншей мамой, с быстрой, как юла, бабушкой, с тремя толстоногими и совсем уж деревенскими дочками — всем им вменялось весь вечер петь, играть на своих инструментах, исполнять кружком народные танцы, словом, продемонстрировать американцам, как умеет веселиться народ Италии. И все это тоже «входило», все,

кроме чаевых! — не преминула напомнить Анна, нетвердой походкой обходящая столы своих питомцев.

Все были навеселе, и темы менялись с калейдоскопической быстротой. Рассказывали кто что хотел. Учитель Боб и его жена Марша перешли на свою коронную тему об Израиле — сколько там у них родственников и никто не собирается уезжать — преувеличенно громко заявил Боб, — ни один человек.

Я сохранял спокойствие, но Алла, ни для кого специально, а словно в воздух сказала, что когда мы тоже жили в Израиле, я служил в израильской армии, стоял на самом солнцепеке и проверял арабские машины. Гастроэнтеролог Милтон, сидевший по левую руку от нее, уважительно оглядев меня, сказал: «Но ведь это очень опасно!» «Да, он еще в Москве боролся, был известным активистом и отказником!» Боб тоже рвался взять слово, как он участвовал в войне. Но он плохо знал мою жену: если она начинает говорить о моем сионизме, остановить ее уже невозможно.

Она рассказывала притихшему столу, что я был знаком с самым Сахаровым, что участвовал в демонстрации у Верховного Совета и даже сидел в тюрьме. «О Виктор, оказывается, был очень известным!» — воскликнул гастроэнтеролог Милтон, словно все еще испытывал неловкость за свое нелепое предположение, что я, такой известный сионист и борец, являюсь редактором какого-то замшелого «фармасютика».

Алла закончила, замолчала, и учитель Боб ни с того ни с сего сказал, что и ему пришлось в жизни хлебнуть. Однажды после войны, в Германии, их капитан заметил, что на Бобе нет воротничка и приказал посадить его на гаупвахту. «Я хотел объяснить, как все получилось, а он даже слушать не стал, приказал взять под арест, — Боб достал из кармана носовой платок и прижал к глазам. — С детства мне никогда не везло!» «Он ведь у папы одиннадцатый ребенок», — неизвестно зачем вмешалась его жена Марша, которая уже смирилась с тем, что по глупости с собой ничего не взяла и всякий раз, когда Боб начинал о чем-то рассказывать, считала себя обя-

занной вмешаться. «Ну и что, если одиннадцатый? — обиженно сказал он. — А у твоего дяди, раввина из Бат Яма сколько было детей? Двадцать!» «Ну, во-первых, это у него от двух жен, а во-вторых, не двадцать, а семнадцать — если не знаешь, то нечего говорить!» «Да, да, семнадцать!» — поправился для всеобщего сведения Боб и, повернувшись к Марше, негромко сказал ей: «За неточность просим прощения!» Но и это была только прелюдия к эпизоду с фрейдизмом и филе-миньоном, который и эпизодом строго говоря назвать нельзя, так что, извините, если разжег ваш интерес, не будет ни страстей, ни намека на какую-то карамазовщину. Произойдет совсем другое, чего я и сам не знаю, к какой области жизни отнести.

...А еду, между тем несли и несли. За столом один за другим поднимались тосты за здоровье, за счастье, за детей, кто-то предложил выпить за день рождения Боба, все захлопали и именно в этот момент к столу подплыл филе-миньон. Кажется, ни разу в жизни я не видел таких гигантских порций, перед каждым на тарелке выросла гора аппетитного, жареного мяса. Боб даже разнервничался и стал с силой тереть салфеткой пальцы.

Я уже давно заметил, что он любил вкусно покушать и никогда не упускал случая подставить тарелку для добавки. Американцы, вообще, обожают мясо больше любых сладостей, больше вина и, как любил эпатировать окружение мой питерский приятель, даже больше женщин.

Периферическим зрением я видел, с каким блаженством мои соседи расправлялись с этим волшебным филе — в авангарде шли великан Норман и гастроэнтеролог Милтон и как ни странно, супруга Нормана маленькая Каролайн, которая так углубилась в тарелку, что перестала следить за мужем.

Но первым к финишу пришел Боб, вытер салфеткой губы и тотчас стал ищущим взглядом провожать плавающих меж столов официантов, незаметно подглядывая к ним в подносы — не ожидается ли добавка? К несчастью, официанты уже разносили сладкое. И тут я должен вве-

сти в действие еще один персонаж — автора этих строк, смертельно оскорбившего и без того комплексующего соседа Боба, нет, не словами и не действиями, какие могли быть оскорбления за таким счастливым столом! Все произошло из-за безделицы, а именно из-за того, что я, кажется, единственный за столом, не был в восторге от филе-миньона. Когда-то в молодости в достославные времена Аджубея, едал я не такую поджарку в подвале Дома журналиста, на Суворовском бульваре. Вот были времена, вот была поджарка! Под «Столичную», с селедочкой, с отварной картошечкой! — то, что принесли сейчас, даже отдаленно не напоминало подвалы Домжурра и я, углубившись в воспоминания, половину филе вообще не доел, и отставил в сторону, ах, если бы в сторону! По сторонам все было заставлено небранной посудой, и я просто подвинул недоеденное мясо на свободное место, которое оказалось рядом с Бобом.

Сделал я это, разумеется, без умысла, возможно за компанию тоже хватил лишнего. Надо же случиться казусу! Боб поначалу вообще ничего не понял и ошалело взглянул на подъехавшее к нему от меня мясо, а потом, видно, поняв даже то, чего на самом деле не было, посмотрел на меня таким удивленным и долгим взглядом, что я моментально протрезвел, и с этой именно минуты Боб вычеркнул меня из своей жизни. Начисто. И навсегда. Вот вам и вся история, к которой у меня нет комментариев. Я иногда думаю, может, фрейдизм — это лишь моя фантазия. Тем более, как я узнал позже, у Боба с Маршей была неизлечимо больная дочь. Может, из-за этого Боб и пребывал в вечных комплексах и депрессии, а я ни к селу, ни к городу приплел Фрейда с его подсознанием.

Из ресторана отчаливали поздно ночью. Эдуардо включил магнитофон, и мощный голос Паваротти понесся в открытые окна автобуса. Пьяная Анна велела шоферу осторожней ехать и стала неизвестно кому плакаться, какая у нее кошмарная жизнь: «Всем от меня что-то надо, всем я что-то должна, все от меня что-то хотят, а что я могу, одна в этой жизни, одна как перст, — абсо-

лютно ничего!» Она пьяно помахала над головой указательным пальцем и тяжело опустилась в кресло.

Или я хочу жить в Венеции!

На подступах к Венеции Анна воистину была в ударе — она расхаживала по автобусу и рассказывала нам, какой гордой и независимой была в прошлом Венецианская республика. И сами венецианцы совсем не такие, как прочие жители Италии, нет той доброты и открытости и не удивляйтесь, если столкнетесь с некоторой холодностью и даже высокомерием. Жить на воде — не так-то просто, как кажется непосвященным. Дома подвергаются коррозии, разрушаются фундаменты, первые этажи не заселены. У города на ремонтные работы не хватает средств. А у молодежи нет денег, чтобы снимать квартиры. Но все это не мешает Венеции оставаться самым поэтичным городом в мире. Через час-другой, когда наша группа, погрузившись на катер, двинется по многочисленным каналам в направлении центра, мы сами убедимся, что это так. Венеция — это не только город на воде. Все на воде — и храмы, и соборы, и дивные памятники — все на каналах, перерезающих во все стороны город. Мы расположились в нижнем отсеке катера и изнывали от духоты. От автобуса до пристани, вообще, плелись пешком — во Флоренции сделали отличный шопинг, и у каждого появилась дополнительная ручная кладь. А у Нормана и Каролайн по дополнительному чемодану. Оба чемодана тащит Норман, Каролайн время от времени останавливает его, чтобы напомнить, что в чемоданах посуда. Он плохо слышит, подставляет ей ухо со слуховым аппаратом. «Что ты сказала, дорогая!» Но она только машет рукой, говорить ему все равно бесполезно!

В последний день во Флоренции Норман вместе с еврейскими вдовами совершил экскурсию в синагогу. «Ну как было, интересно?» — спрашивает его перед ужином Алла — вопрос, который я никогда не задаю нашим спутникам, ибо заранее предвижу водопады во-

сторга, которые обрушатся на мою голову. Норман оригинал, и на вопрос Аллы, какой он нашел Флорентийскую синагогу, как-то странно и неопределенно развел руками. «Вообще-то я мог сидеть дома!» И пригнувшись к ее уху, добавляет: «Между нами говоря, я ведь даже не еврей».

Как раз в этот момент появляется Каролайн и, видно не разобравши, что к чему, спрашивает: «Ну, что он вам еще там рассказывает, сказал бы, дружок, Аллочке, что не расслышал, вот и все. У Нормана слуховой аппарат», — просвещает она нас уже который раз и ласково берет мужа под руку. Но все это происходило накануне, еще до приезда в Венецию.

А теперь, мы уже в другой жизни. На катере Норман, прильнув к окну, упорно рассматривает в бинокль берега Гранд-канала, по которому плывем в гостиницу «Европа» — перед взором, вместо улиц — каналы, вместо такси — бесчисленные катера и экзотические гондолы. Ах, венецианские гондолы — сбывшаяся мечта детства!

С борта катера видна Базилика Святого Марка, церкви Мозеса и Святой Марии, и даже крыша знаменитой на весь мир Академии искусств.

Про Венецию, еще в автобусе просвещала нас Анна, сложены бесконечные легенды, существует масса домыслов. Куда идти дальше, если выяснилось, что даже автор Ромео и Джульетты никогда не был в Венеции, и в его повествовании о венецианском мавре много ошибок и вымысла. Она переходит к гондолам и гондольерам, вокруг которых масса анекдотов. Девушка влюбляется в юного гондольера, услышав в его исполнении баркаролу, но когда примеряет подвенечное платье, то узнает, что у возлюбленного четверо детей.

Все, что говорит о Венеции Анна, мне кажется неинтересным и банальным. И оттого я ее почти не слушаю — мысли мои снова в далеком прошлом. Упорно хочу вспомнить, когда я впервые услышал о Венеции, пытаюсь, но не могу, не знаю даже в Москве или Томске, где мы с мамой были в эвакуации. Чувствую себя снова в

плену у проделок памяти, которая манипулирует мной, как ей вздумается.

Пока Анна заливается про гондолы и гондольеров, я вспоминаю школу и почему-то моего одноклассника по прозвищу «Малый с паяльником». У меня так всегда: чем больше вокруг поэзии, тем сильнее в голову лезет проза. То авантюрист Арриго, так занятно разыгравший меня с его римскими ласточками, а то никакой не Арриго, а другой авантюрист, на этот раз из 9 класса «Б» 170 московской школы Зяма Этингер.

Прозвищем «Малый с паяльником» он обязан своему неприлично длинному и горбатому еврейскому носу. «Малый» происходил из семьи подпольного миллионера — артельщика Вовы Этингера, который полжизни проводил в тюрьмах, а когда выходил на свободу, отдавался единственной страсти — скупал со всех уголков России пластинки Лещенко. Из песни слова не выкинешь: Лещенко, Вертинский и Сокольский были тогда нашими кумирами. А для «Малого» он стал еще любимым средством развлечения уличных зевак, проходивших под его окнами в Столешниковом переулке.

В первомайские праздники он распахивал окна и заводил Лещенко, он больше всего любил его «Баркаролу». «Пусть советские г-х-аждане немного послушают настоящую музыку...» — млел он от счастья, когда по всему Столешникову, собирая толпы зевак, несло: «Как хорошо плыть с тобой мне в гондоле и целовать всю тебя в баркароле».

Может быть, я и не запомнил бы этого произведения, если бы все не кончилось тем, что «Малого» исключили из школы и едва не посадили по доносу соседей, которые писали, что гражданин Залман Этингер целыми днями крутит из окна антисоветчину, да еще со всякой матерщиной, за которую давно пора дать ему срок. «Малый» реагировал на донос с олимпийским спокойствием: «Подумаешь, они мне соль на хвост насыпали, пусть слушают свои ма-х-ши веселых пионе-х-ов, если они им н-х-авятся...»

И вот наш катер-такси пришвартовывается, наконец,

к центральному входу отеля «Европа». Анна торжественно объявляет, что ланча не будет, а в семь вечера, как всегда, будет ужин. А перед ужином прогулка на гондолах по Гранд-каналу. «Кстати прямо за углом — великолепная пиццерия», — указывает она на узкую расселину между нашим и соседним отелем, миновав которую мы снова оказываемся на берегу узкого канала, тут же нырнувшего в другой переулок, где располагается крошечная пристань с несколькими гондолами. По обеим берегам каналов бесчисленные витрины, уставленные венецианской экзотикой. От кого-то я слышал, что Венеция — это город масок и манекенов. Пучеглазые маски, покрытые толстым слоем румян, с золотыми носами и еще бог весть с чем плятятся на нас со всех концов света и даже из чрева газетных киосков — сцены воистину фантастических театров. Но не европейских. А скорее приплывших откуда-то с Востока, дух которого ощущается даже в орнаментах и фресках базилики Святого Марка.

Венецианская классика — это Запад. Венецианская экзотика — это Восток, с его великолепными ансамблями и причудливым барокко. Искусство Запада и Востока переплетается в венецианских ансамблях, подобных которым вы не найдете в мире. И еще Венеция — это крупнейший морской и торговый Центр, он был и остается таким со времен средневековья, сообщая городу свой особый, дополнительный колорит. Не дух наживы и спекуляций, а волшебная смесь торговли и искусства, которая жива и поныне, и всякий пришелец не может не ощущать ее.

Выйдя из пиццерии, мы не спеша шагаем по узенькому переулку в направлении академии художеств. Вокруг вечерняя тишина. Внизу едва слышные всплески воды, и вдруг прямо перед нами вырастают три обнаженных мужчины, судя по всему, вся троица — геи, с вызывающе горящими взглядами, на телах их играют мускулы, от шока на миг замираем и, лишь завидев за их спинами вывеску «Секс-шоп», начинаем понимать, что это манекены, искусная проделка местных торговцев, готовых

пойти на все, что угодно, лишь бы зазвать покупателей. Такова уличная жизнь сегодняшней Венеции, которая совсем еще недавно была гордой и независимой республикой Доджей, славившаяся своими храмами искусства, и с другой стороны, как уже сказано, превращавшаяся в крупнейший центр торговли между Европой и Азией, испокон века приносившей Венецианской республике несметные богатства. Нет, она не запродала душу дьяволу. Она осталась той же прекрасной Венецией, хотя, может быть, и не совсем уже той, если вдуматься и приглядеться.

Как-то сам собой напрашивается разговор: Флоренция и Венеция.

Флоренция, быть может, самый богатый город мира, торгуя по всему свету самым изысканным флорентийским золотом и лучшими во вселенной кожами — это еще и город красоты, город искусства, прямая, не знающая себе равных, наследница Ренессанса. Особый флорентийский дух, для пришельцев неуловимый и не поддающийся описанию, пронизывает сам воздух Флоренции (куда сильнее, чем бензиновые пары трех миллионов мотоциклов). А Венеция? Со своим искусством, экзотикой и каналами она, кажется, не менее прекрасна, но как тут ни ряди, это все же торговый город, он дышит торговлей, он жил ею на протяжении истории, ею пронизана каждая пора Венеции и по одному этому, как мне (неспециалисту!), кажется, Венеция в чем-то, уступает Флоренции.

Приближается час прогулки на гондоле, назначенный на четыре дня, а с ним и встреча, которую я меньше всего ожидал — с кем хотите, с итальянским премьером, с великим Паваротти, с Папой Римским, но только не с выросшим из-под земли моим римским знакомцем Арриго, на которого я рассчитывал в своей борьбе за советских евреев. Если бы мы встретились в Риме — еще куда ни шло: город, в котором расстались. Но чтобы увидеть его в Венеции, поющим баркаролу, с веслами в руках! Интересно, что пока мы добирались до гондолы, мои поэтические ожидания стали мало-помалу улетучи-

ваться. Вода в канале была странного, ржавого цвета, к тому же выезд от нашей гостиницы в Гранд-канал был заперт другими гондолами. Гондольеры деловито перебрасывались фразами, как бы побыстрее выбраться из трафика. И заглушали своими голосами тоненький тенор, который с аккордеоном в руках пытался скрасить ожидание.

Наш гондольер с веслами расположился на корме, так что лица его не было видно и непонятно, на каком наречии он пытался из себя выжать все ту же Санту Лючию.

В соседней гондоле пьяная компания русских от скуки пыталась и вовсе затянуть «из-за острова на стрежень». «Эка, картинка, — не упустил я случая, — мы на лодочке катались!»

Сказал и тотчас понял, что гондольер услышал. Я обернулся. Был он не первой молодости, маленький, чернявый, с гигантским сомбреро на голове, которое делало его еще более щуплым. Наши взгляды скрестились, он подмигнул мне. Было в нем что-то очень знакомое, мне показалось, что я его видел и раньше. Но в какой из моих трех жизней, понять было невозможно. Тогда он пригнулся ко мне, чтобы я мог его расслышать, и сказал: «Русский человек? Балакаете, сеньор, аф идиш? Я тоже когда-то был русский человек. А теперь стал итальянцем...» Он взглянул на часы и снова заработал веслами. «Что гуд? — снова подмигнул он и кивнул на Собор Святого Марка. — Или вы хотите, чтобы я вас поклатил еще». Неужели это он? Римский Арриго? Я спросил, как его имя. «Романо!» — ответил он.

«Другой?! Или нет, все-таки нет!» «Послушайте, сеньор, по-моему вас зовут Арриго!» На этот раз его глаза полезли на лоб. «Шо вы говорите? Или вы меня когда-нибудь знали? Это раньше я был Арриго... в Риме, когда меня замели мусора. А теперь я сеньор Романо Андроотти! Ну хватит об этом, — снизил он голос, — если захочете, у меня есть неплохой для вас вариант». Он опасливо покосился в сторону Аллы и, вопросительно оглядев меня, в самое ухо ввернул: «Кругом-бегом сто

баксов! Или хотите, может, с гондолой?» — снова метнул он взгляд на жену, которая ему явно не давала покоя. «О чем это вы там, друзья, шепчетесь?», — теперь уже не выдержала она. Я их представил: «Знакомьтесь, Романо это моя жена Алла, а это Арриго, то есть бывший Арриго, мой старый римский знакомый, помнишь, я рассказывал?»

Услышав слово «жена», Арриго мгновенно скис и энергично заработал веслами в сторону гостиницы. Странная встреча, подумал я, к чему она мне? Да ни к чему! Просто так, для подтверждения простой истины, что жизнь — не такая скучная штука. Оно, конечно, не большая политика, но все же... Оттого, что последнее я проговорил почти вслух, Арриго обернулся, но на этот раз не молвил ни слова, точно окончательно потеряв ко мне интерес. Пришвартовавшись к берегу и все еще держа в руках весла, он обратился уже не ко мне, а к Алле: «Ну что скажете, сеньорита, хорошо? Или, может, хотите пожить в Венеции? Может, снимем квартиру для детишек?» Он вытащил из кармана огрызок карандаша, старый, замусоленный билетик и записал на нем свой телефон, затем подал его жене, чтобы спрятала в сумку.

...Наутро мы уезжали в Бовано, где перед отлетом провели еще два прекрасных дня. И даже успели съездить на знаменитый остров Изола Белла. Это были великолепные места, где мы и закончили свои римские каникулы, но писать о Бовано уже не хотелось, потому что все самое интересное осталось позади.

Сорренто — Рим — Флоренция — Венеция — Бовано



Леонид ВЛАДИМИРОВ

ЖИЗНЬ НОМЕР ДВА

Олег Туманов

В 1974 году Ризера перевели заведывать парижским бюро «Свободы», а меня сделали директором бюро в Лондоне. Но еще перед этим, как я уже упоминал, постоянно ездил в Мюнхен по делам: то на программное совещание, то на несколько недель — замещать кого-либо во время отпуска. В один из первых приездов, еще в 1967 году, меня пригласил к себе заместитель директора станции, американец Джин Сосин. На диване в его кабинете сидел молодой, ладно скроенный парень.

— Познакомьтесь, Леонид, — сказал Сосин. — Это Олег Туманов. Думает поступать к нам на работу.

Туманов рассказал свою невероятную историю (она, конечно, была проверена и подтверждена американцами). Военный моряк, он спрыгнул ночью с корабля во время стоянки на рейде у берегов Ливии. Долго шел по пустынному берегу, не встречая ни души, потом на-

Окончание. Начало см. в № 144

ткнулся на каких-то рыбаков. Те отвели его в полицию, а полицейские не захотели с ним возиться, отвезли к ближайшей границе и хотели перетолкнуть на египетскую территорию.

Президент Египта Насер был тогда «большим другом Советского Союза», он тут же выдал бы парня, что означало в лучшем случае долгий лагерный срок. Олег упал на колени и стал умолять всеми известными ему английскими словами (их было немного), чтобы его послали куда угодно, только не в Египет. Полицейские сжалились и наутро отдали его американцам, тогда, если помните, Ливия была еще королевством. Американцы отправили Туманова в свой европейский центр во Франкфурте на Майне, допросили, проверили показания и испросили для него право жительства в Германии. Он на время приткнулся к эмигрантской организации НТС — ее центр находился возле Франкфурта, — но там он мало что мог предложить, так как не умел ни писать, ни редактировать. Работал у них в типографии за гроши — и только.

Я заговорил с ним о российских текущих событиях, он отвечал довольно бойко. Парень буквально излучал симпатию и не рисовался, что де хочет работать на «Свободе» из каких-либо идеологических соображений. С корабля ушел из-за тяжелой службы, боится, что у родных могут быть неприятности, но его дядя — подполковник КГБ, он им поможет.

Мы попросили его написать заявление с краткой биографией, и я не нашел ошибок в тексте. Значит, действительно, окончил, как говорил, десятилетку. Когда Джин Сосин спросил позже, стоит ли его принимать, я сказал, что, пожалуй, да: он явно очень хочет работать, будет стараться, голос и выговор у него хорошие, пусть попробует диктором. Испытательный срок у нас шесть месяцев, так что мы ничем не рискуем: справится — хорошо, не справится — пусть едет обратно во Франкфурт.

Туманов не просто справился. Ко всему прочему он оказался очень способным и прилежным. Характер у него был прекрасный: со всеми жил в мире, не прере-

кался, не сплетничал. Выражаясь старомодно, я сказал бы так: «Олег был обаятельным молодым человеком». Много-много позже, когда я уже жил и работал в Мюнхене, у нас продолжались прекрасные отношения, и моя жена, не очень жаловавшая сотрудников «Свободы», когда угодно разрешала приглашать его к нам домой.

Вскоре Туманова перевели из дикторов в первичные редакторы — его задача была принимать сообщения наших корпунктов, держать с ними связь, задавать дополнительные вопросы. Два других первичных редактора были люди опытные, но Туманов очень быстро стал справляться не хуже их.

Прошло года два, и вот к нам в Лондон приходит депеша из Мюнхена: примите Туманова, он едет в университет Глазго на интенсивный курс английского языка. Приняли как следует, познакомили с русскими лондонцами — и тут же завязался у него бурный роман с девушкой, работавшей на Би-би-си. Я не называю ее имени, так как она работает там и по сей день.

Олег уехал в Глазго, она разок съездила к нему, потом он на несколько дней прикатил в Лондон, и дело стало принимать серьезный оборот. Пару недель о Туманове ничего не было слышно, я ее спросил и получил несколько странный ответ: Олег решил поехать в отпуск, в Испанию, недели на три. Во время интенсивного английского курса? Она пожала плечами. Я не стал сообщать в Мюнхен о странном отпуске, Туманов вернулся, окончив курс, и этот эпизод затмила маленькая сенсация. Некая дама, тоже работавшая на Би-би-си, сделала все, чтобы роман Олега прекратился. Дама была известная склочница и завистница, вокруг переживали, ахали, обсуждали, но девушка, действительно, с ним порвала.

Приезжая в Мюнхен, я неизменно общался с Тумановым. Он повздыхал о разрыве, но скоро утешился, так как сошелся с красавицей Ариадной — еще недавно любовницей Саши Перуанского. С самим Перуанским, вернувшимся после неудачной персидской эскапады, Олег сохранял превосходные отношения, как, впрочем,

решительно со всеми на станции. Над ним только подтрунивали из-за того, что он неисправимо «болел» за советских спортсменов. Стоило советской футбольной или другой из советских команд приехать на соревнование в Германию, как Олег брал отпуск и мчался туда, где выступали «наши». Во время мюнхенской трагедии он тоже без конца пропадал на стадионе.

Окружающая Германия для Туманова как бы не существовала. Он в конце концов стал сносно говорить по-английски — это было абсолютно необходимо для работы, — но немецкого так и не выучил. Не купил автомобиля и не сделал попытки научиться водить. Не приобрел также ни дома, ни квартиры, а жил в гостинице «Арабелла», кстати, довольно дорогой, так что к положенным ему квартирным добавлял из своих. Говорил, что так лучше: ни забот, ни хлопот, ни тебе уборки, ни ремонта, ни кухни. Питался большей частью в столовой радиостанции.

По службе Олег продвигался неплохо, начальство (в том числе и я, став главным редактором) относилось к нему прекрасно за спокойный нрав и исполнительность. С течением времени он стал заведывать отделом новостей.

В 1978 году, когда я уже работал в Мюнхене, он поехал по делам в Лондон. Командировка была на пять дней, но на четвертый день у меня раздался телефонный звонок. Виноватым голосом Олег попросил разрешения остаться в Лондоне еще на целую неделю. Я спросил о причине, и он честно ответил: новый роман, очень серьезный — возможно, в эту неделю женится. Господи! Я знал, конечно, что он незадолго до этого разошелся с Ариадной, но так вот, сразу... Кто такая?

— Ета Дриц...

От удивления я чуть не вскрикнул. Юная Ета — ей было, наверно, не больше двадцати — тоже работала на Би-би-си, и мне было известно, какой репутацией она там пользовалась. Но не мог же я вести себя так, как та склочница, которая когда-то отвадила его от хорошей невесты.

— Оставайся, конечно, — сказал я. — Но помни: женитьба шаг серьезный.

На этой гоголевской цитате разговор и окончился, а через неделю Туманов вернулся с молодой женой. Она уже была не Ета Дриц, а Света Туманова, так ей больше нравилось. Молодожены побывали у нас в гостях, Ета-Света демонстрировала глубочайшее декольте и всегдашнюю свою глупость. Жили они в той же «Арабелле», переезжать Туманов не захотел.

Скоро стали поговаривать, что Олег пьет. Он никогда не был трезвенником, но знал меру, а тут все пошло через край. На работе, однако, был как стеклышко, так что я не считал себя вправе делать замечания.

Наступил канун нового, 1979 года. Моя жена увезла десятилетнего сына в Лондон показать его директору Вестминстерской школы, куда он был давно записан и должен был поступить в возрасте тринадцати лет. До одиннадцати вечера (час ночи по московскому времени) я вел новогоднюю передачу, а потом прямо из студии поехал встречать Новый год к приятельнице и ее румынскому жениху. Поехал не один: моей дамой была Терри Уайли. Обо всем договорились заранее: Саша Перуанский не мог встречать Новый год вне дома, и, зная, что я остался в Мюнхене холостяком, попросил меня опекать бедняжку Терри. Эта миссия была бы только приятной, кабы не грустное настроение милой американки, по причине вполне понятной. Мы посидели, выпили шампанского и уже где-то около часа ночи Терри намекнула, что хотела бы вернуться домой. Я проводил ее и подумал: что же дальше? По российским понятиям, негоже ложиться спать в такую рань в новогоднюю ночь, да еще почти трезвому. И меня осенило: зайду-ка я к Тумановым, там, наверно, встреча еще в разгаре.

На мой тихий стук в дверь тумановского номера в «Арабелле» ответа не было. Постучал громче, опять не открыли. Туг бы мне и уйти, чего ж людей будить, но я все-таки был не совсем трезвый и еще раз забарабанил в дверь. Через несколько секунд услышал сдавленный, хриплый голос Олега:

— Кто?... Кто там?

Я назвал, и он с непонятым для меня вздохом облегчения распахнул дверь:

— А! Лень, это ты... Входи, входи...

Он был в халате и почему-то дрожал как от холода, хотя и в номере и в коридоре было очень тепло. Стал я было извиняться, что разбудил, попытался уйти, но Туманов прямо-таки втащил меня в комнату и крикнул:

— Света, это Леонид пришел! Вставай, собирай на стол!

Смущение мое было велико. Выпив с ними по рюмке, я еще раз извинился и откланялся. По дороге проклинал себя за пьяное хамство: надо же, вломился к спавшим людям. Они явно решили встречать без гостей, начали выпивать рано, к Новому году уже попиروвали и легли — а тут явился гость незванный! Ни на миг не мелькнуло у меня тогда какого-то подозрения...

...Через полгода я подал в отставку и уехал в Лондон. Олег Туманов продолжал работать и некоторое время даже исполнял мои обязанности главного редактора, хотя назначен на эту должность так и не был. В апреле 1986 года он бежал в СССР.

С ужасом смотрел я в Лондоне по телевидению пресс-конференцию Туманова. Рядом за столом сидели какие-то мрачные личности из КГБ — якобы журналисты — и задавали наводящие вопросы, а он нес нечто совершенно чудовищное.

По его ответам выходило, что радио «Свобода» была вовсе не радиостанцией, передававшей информацию, а шпионским центром, каким-то образом информацию только собиравшим, хотя даже он не говорил, что у «Свободы» были в СССР какие-либо агенты или вообще источники сведений. Он бормотал эти заученные ответы очень уныло, и я чувствовал, что у меня разрывалось сердце от жалости к нему.

Скоро выяснилось, что Олега завербовали в Глазго, когда он проходил курс английского языка, и увезли в Испанию для инструктажа. Потом ему регулярно платили, а он, выезжая на спортивные соревнования с учас-

тием «наших», передавал какую-то информацию — скорее всего о персонале «Свободы», о расположении помещений... О чем еще мог он говорить, если никаких секретов у радиостанции не было? Действительно, мы часто удивлялись, что в контрпропагандистских статьях о «Свободе», во множестве появлявшихся в советских газетах, чувствовалось знание внутренних отношений между сотрудниками, особенно плохих отношений.

Однажды в редакционных помещениях станции (в том числе в тех, что запирали на ночь) появились мерзкие листовки, якобы исходившие от какой-то группы сотрудников, недовольных «засильем евреев». От этого сочинения за версту несло авторством КГБ. Потом многие русские сотрудники получили нечто похожее по почте — все письма отправлялись с мюнхенского вокзала. Но ни осведомленность советских газет о наших внутренних распрях, ни листовки, ни письма не встревожили безмятежного американца, служившего на «Свободе» стражем безопасности. Помню, после появления листовок я пришел к нему и сказал, что можно ведь посмотреть, на какой машинке они печатались, кто брал ключи от разных комнат — вообще расследовать это дело. Он заверил, что непременно займется этим и, разумеется, не ударил пальцем о палец. Туманов оставался вне подозрений.

Бежал он, как выяснилось, по недоразумению. В Греции попросил политического убежища некий агент КГБ, который мог знать другого агента — «контролера» Туманова. Вспокоившись, КГБ дал Олегу условленный сигнал бежать. Бедняга Туманов не подумал, что бежать ему было совсем не обязательно: мог прийти и честно признаться во всем германским властям. Поскольку против Германии он не работал, его даже и не посадили бы. Ушел бы со «Свободы» и как-нибудь устроился на Западе; тем более, что в банке у него была солидная сумма, которую он успел перед бегством изъять. Американцы, конечно, ни в коем случае не потребовали бы его выдачи — он ведь и им не нанес сколько-нибудь заметного ущерба.

Туманов, однако, вернулся и... погиб. Кагешники написали за него «разоблачительную» книгу о «Свободе», и она даже вышла в Америке. Лживость и глупость этого сочинения немисливо себе представить. Например, говорилось о том, что Туманов де был специально заслан на «Свободу» после тщательной подготовки в СССР. («Заслан» путем высадки без гроша в Ливийской пустыне!?) Издательство «Эдишен Кью» обратилось ко мне с просьбой написать предисловие. Я написал примерно то, что вы только что прочитали, но это полностью подрывало книгу. Мне любезно уплатили гонорар, и сочинение Туманова вышло без предисловия.

После этой книги и пары несусветных статей в газетах (он однажды выступил против бывшего генерала госбезопасности Калугина, ушедшего из КГБ в годы «перестройки» и выдвинувшего свою кандидатуру на выборах, — якобы этот генерал в свое время срывал шпионские подвиги Туманова на «Свободе»). Остался он ни с чем. Скоро спился на свою небольшую пенсию и недавно умер, в возрасте всего пятидесяти лет.

Эва Хасова и другие

В лондонском корпункте «Свободы» я проработал десять лет. С самого начала почти каждый день выходил к микрофону. Год за годом обращался к белой стене крохотной студии, переделанной, быть может, из ванной комнаты. Я сидел за столиком, над которым висел микрофон, за дверью стояли магнитофоны. Но все равно, впечатление было такое, что говорю «в стену». Я далеко не был уверен, что хоть кто-нибудь в России меня слушает, хотя сам в Москве ловил «Свободу» по ночам. В те годы письма радиослушателей приходили на «Свободу» очень редко, да и то главным образом ругательные, сочиненные в КГБ.

Однажды, находясь в Испании, я посетил передатчик «Свободы» в Плайя де Пале на берегу Средиземного моря, к северу от Барселоны. Меня поразили громадные антенны, современное мощное оборудование. Ос-

матривая это сложное хозяйство, возглавляемое директором передающей станции американцем Нортон, я не мог отогнать мысль о том, что вот вложили американцы колоссальные средства, оплачивают большой штат, несут крупные эксплуатационные расходы — и все ради того, чтобы передавать под шум советских глушилок мои разглагольствования. Было, откровенно скажу, совестно и беспокоино.

Но вот летом 1970 года послали меня в Японию (в Осако) — освещать всемирную выставку ЭКСПО-70. Заодно я побывал и в Южной Корее, посетил «поселок перемирия» Паньмынчжон. Очень хотелось бы рассказать и о первом знакомстве с Японией (где я и позже бывал), и о Корее, но не хочу отвлекаться, разве только эпизод.

Ко всем павильонам выставки стояли длинные очереди, поэтому аккредитованные журналисты входили в каждый из них через особый вход. В пресс-центре нам выдали броские нагрудные знаки и даже нарукавные повязки, да еще возили по выставке на розовых (!) электрокарах с японскими водителями, специально обученными студентами, сопровождавшими нас по павильонам. Меня возила и водила прелестная Озу, не понимавшая ни слова по-английски, но все равно отлично помогавшая работать.

Так приехали мы в павильон Чехословакии. За конторкой у входа сидели девушки — гиды. Я не сказал, что говорю по-русски и попросил английскую сопровождающую. Встала рослая темноволосая словачка Эва и пошла по павильону со мной и Озу. По пути очень тихо спросила: «Вы американец?». Я осторожно ответил, что нет, я из Англии, и тут же добавил, что моя японская спутница не понимает по-английски.

— Спасите меня, — сказала вдруг Эва ровным голосом. — Я не хочу возвращаться в Чехословакию, и родители знают, что я не вернусь, они сами меня на это благословили. Но японцы нас выдают, с ними заключено тайное условие на время выставки. Пять чешских девушек попросили политического убежища, и их отправили на родину, да еще на советском торговом судне.

Я ответил, что сразу не могу ничего придумать, но сделаю все возможное. Предложил ей встретиться на следующий вечер на площади Пятницы (семь площадей выставки были названы по дням недели), где в конце каждого дня кормил Озу мороженым.

В тот же вечер я позвонил в Токио, где корреспондентом «Таймса» работал мой британский друг Генри. Едва я начал говорить, как он меня оборвал и потребовал, чтобы я срочно прибыл в столицу: на сверхскоростном поезде «Шинкансен» можно обернуться за один день.

На площади Пятницы, пока Озу управлялась с огромной вазой холодного угощения, я узнал, что Эва Хасова происходила из города Пьештани, что ее родители евреи и что она прошла подготовку к работе на выставке еще до советского вторжения — иначе ее, наверно, не послали бы.

Взяв с собой ее паспорт и отпустив на день Озу, я с утра пришел на станцию Шин-Осака, где между платформами возлежали огромные рыбины, серебристо-зеленые поезда. Над одним горел зеленый свет, в него и сядились. Отходили поезда «Шинкансен» каждые десять минут и через девятнадцать минут после отправления делали единственную остановку — в Киото. Прибыв в Токио, я тотчас встретился с Генри. Узнав, что Эва еврейка, мой англичанин прямо расцвел, взял у меня ее паспорт и сказал, чтобы она не беспокоилась: он в дружеских отношениях с послом Израиля, тот о ней позаботится.

Действительно, все прошло как по маслу. Эва, со слезами распрощавшись, ускользнула на том же «Шинкансене» в Токио, Генри отвел ее в израильское посольство, а там ей выдали израильский паспорт на другое имя, и она беспрепятственно улетела в Тель-Авив. Меня в это время уже не было в Японии, и Генри сообщил мне по телефону, что все о-кей. Детали я узнал от него позже. А еще позже, где-то через год, увидел заметку в британской еврейской газете «Джуиш кроникл» с фотографией: улыбающаяся Эва в подвенечном платье с женихом. Заметка с ее фотографией появилась в лон-

донской газете потому, что Эва рассказала, как ее спасли «английские журналисты». Ни мое имя, ни имя Генри, понятно, упомянуты не были...

Из Японии и Кореи я, естественно, вел репортаж, по возвращении написал еще несколько больших передач. А через месяц мне прислали из Мюнхена письмо: автор благодарил за корреспонденции из Японии и Кореи. Письмо было отправлено из Финляндии, а под ним стояла подпись: «Твой Слава». Слава Демидов!

Из жизни номер один

Вячеслав Демидов поступил на работу в журнал «Знание — сила» года через два после меня и почти немедленно стал общим любимцем. Молодой, отлично образованный — инженер и кандидат философских наук! — он так и светился дружелюбием. Слава готов был помочь каждому из нас, даже если для этого приходилось потратить массу времени. Он великолепно шутил с серьезным лицом, меня же в нем привлекала еще одна его черта: Слава не переносил советскую власть. Кроме того, была у нас и общая страсть — автомобили. Мы вели долгие автомобильные разговоры, и я, автоинженер по образованию, изумлялся глубине его познаний в этой области.

В один прекрасный день Слава приобрел, наконец, «Москвич», о котором давно мечтал. Приобрел, как он сказал, «путем систематического недоедания». Со своей драгоценной машины он буквально сдувал каждую пылинку, а когда к нему садился кто-нибудь из знакомых, он обычным для него псевдо-серьезным тоном предупреждал: «Если хлопнете дверью, наше знакомство окончится».

Бывало, идем мы по московской улице и видим у тротуара какую-нибудь, как теперь говорят, иномарку. Вокруг таких машин собиравались в те годы группы любопытных, обсуждали достоинства и недостатки. Слава подходил и говорил, насупившись: «Ну, ничего: скоро и у них этого не будет!»

Уехав в 1966 году, я, конечно, долгое время ничего не знал о Демидове. Оказалось, что он ушел из редакции «на вольные хлеба» — стал писать научно-популярные книги. Академик Газенко писал к его книгам предисловия, автора награждали дипломами общества «Знание». Книгу «Как мы видим то, что видим» кафедра офтальмологии Военно-медицинской академии рекомендовала в качестве пособия для адъюнктов. А автор думал только об одном: как бы уехать от советской власти. В

Финляндию он попал с коротким визитом без семьи, да и опасно было пытаться просить там убежища: финны выдавали советских граждан. Но он воспользовался случаем и написал мне на «Свободу»: тоже, конечно, слушал ночами.

Письмо Славы Демидова доставило мне огромную радость. Не только потому, что радовала весточка от друга, но потому еще, что это вообще было первое письмо от моего слушателя. После этого тесная клетушка-студия лондонского корпункта угнетала меня уже не так сильно.

А увиделись мы со Славой Демидовым еще через двадцать лет. Он выехал из СССР как только это стало возможно, поселился в Германии, мы списались и встретились. На подаренной мне книге надпись: «Дорогой Ленья! Как хорошо, что мы встретились, — ура! Слава».

«Континент»

Возвращаясь в семидесятые годы, расскажу о самых дорогих гостях, побывавших у меня в студии. В 1974 году, одновременно с высылкой Солженицына, «вытолкнули» из страны и другого известного писателя — Владимира Максимова. В самиздате ходила его книга «Семь дней творения», и власти предложили Максиму выбор: либо уезжай, либо посадим. Владимир Емельянович уехал, и попав во Францию, основал журнал российской эмиграции «Континент». Для этого он заручился помощью знаменитого Эжена Ионеско и немецкого издателя Акселя Шпрингера.

Пресс-конференция, посвященная выпуску нового журнала, была устроена в Лондоне. Это было событием всемирного значения: ведь первый номер журнала открывали напутствия Александра Солженицына, академик Андрея Сахарова и Эжена Ионеско, а среди авторов номера были и Солженицын, и Андрей Синявский, и Иосиф Бродский, и Милован Джилас и, конечно, сам Владимир Максимов со своей «колонкой редактора». А на пресс-конференции присутствовали еще и Галич, и

Виктор Некрасов, и художник Михаил Шемякин, незадолго до того выехавший.

Максимов говорил о принципах журнала, назвав четыре главных: «Безусловный религиозный идеализм, то есть, при главенствующей христианской тенденции, постоянный духовный союз с представителями других вероисповеданий. Безусловный антитоталитаризм, то есть борьба против любой разновидности тоталитаризма: марксистского, национального, религиозного. Безусловный демократизм, то есть принципиальная поддержка всех демократических институтов и тенденций в современном обществе. Безусловная беспартийность, то есть категорический отказ от выражения интересов какой-либо из существующих политических группировок».

Я понимал, что такое событие нужно отметить особой передачей. И во время пресс-конференции пригласил домой, в тогдашнюю мою довольно тесную квартиру Максимова, Галича, Некрасова, супругов Синявских и Шемякина. По телефонному звонку жена успела собрать кое-что к столу, и вечер прошел, что называется, на высокой ноте. Я сказал гостям, что не заманил их для интервью, а просто пригласил посидеть и выпить за успех журнала. Завтра утром соберемся у нас в студии и там уж поговорим у микрофона. Все согласилось, кроме Шемякина, которому нужно было наутро уезжать.

Уже в тот момент, когда я завел разговор о завтрашней передаче, одна неприятная мысль застучала в голове: как же я их втисну в студию, в каморку-то мою? Там и два стула с трудом умещались и микрофон был только один. Нельзя же приводить их в студию по очереди — будет механическая серия интервью, а нужна общая непринужденная беседа! Неужели меня ждет постыдный провал?

Я проводил гостей, обещал прислать за ними утром такси, берущее пять пассажиров, и бросился к телефону. Позвонил Виктору Ризеру, но тот ничего не мог придумать, кроме того, что будет угощать ожидающих хорошим вином. Тогда я набрал номер нашей американской секретарши Лоры Роу — умной, решительной и

практичной женщины. Извинился, что разбудил, изложил проблему.

— О-кей, — ответила Лора. — Я их сумею поместить в студии.

Приехав в корпункт чуть свет, я увидел Лору, тащившую два маленьких складных стульчика. Потом она принесла еще три, взяла их напрокат в мебельном магазине! Мы поставили их в студии небольшой дугой, убрав оттуда стол, а потом Лора еще оттянула к середине дуги микрофон и подвязала в таком положении веревкой к крючку, который тут же ввинтила в потолок. Так что, если хотите, чтобы у вас в учреждении быстро решались самые немислимые проблемы, — наймите американскую секретаршу...

Гости прибыли, уселись в студии, и вдруг я услышал:
— А мое где место?

В голосе чувствовался гнев и принадлежал он супруге Андрея Синявского, Марии Васильевне Розановой. Я пробормотал, что студия, видите, очень маленькая, вы уж посидите там с Виктором Ризером, он ведь здесь главный, а тоже не идет в студию... Но она меня оборвала: «Без меня Андрей говорить не будет». Я поднял глаза на Синявского — он весь как-то съезжился и промямлил, что надо бы что-нибудь придумать.

— Ничего, я постою! — решила вдруг Мария Васильевна, втискиваясь в студию. — Пусть вам, мужикам, стыдно будет.

Нам и правда было не по себе. Розанова, кстати, приняла в передаче участие и говорила очень дельно. У нас с ней по сей день неплохие отношения. Только страшно думать, что из всех, кто был тогда в студии, в живых остались лишь она да я...

Александр Галич

О Галиче написано очень много. У него была масса друзей, а после смерти, как это бывает, друзей стало еще больше. Но я оказался одним из не очень многих, друживших с ним до нелепой его кончины. И в тот

проклятый декабрьский день 1977 года, услышав телефонный звонок из Парижа, я прервал передачи «Свободы», кинулся к микрофону и полчаса говорил о Галиче, давая знак режиссеру пустить какую-нибудь его песню, когда хотел передохнуть от душивших слез.

Из жизни номер один

В 1948—53 годах в драматургии, да и во всей советской литературе свирепствовала так называемая теория бесконфликтности. Было сказано, что в обществе, идущем семимильными шагами к коммунизму, не может быть антагонистических противоречий, так что единственная допустимая драматическая коллизия — это борьба хорошего с лучшим. Появилась целая вереница произведений — от романов до частушек, — отражавших это мудрое партийное указание. Они, по-моему, еще ждут своего исследователя, эти натужные сочинения, потому что лучше любых научных работ свидетельствуют о нашей диковинной и страшноватой эпохе. На всякий случай назову несколько, а то совсем забудутся. Был, например, роман Попова «Сталь и шлак», роман Николаевой «Жатва», не помню чей роман «Новый профиль»; были пьесы Софронова «Московский характер», Корнейчука «Макар Дубрава», а еще более возмутительные поделки некоего Сурова шли в десятках театров — даже во МХАТе. На экран выпускались фильмы — «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки»...

Особенно тяжело приходилось сатирикам и юмористам. Сатира, понятно, допускалась только по адресу американских империалистов и боннских реваншистов (Погодин написал пьесу о президенте США Трумэне под названием «Бесноватый галантерейщик»). Но юмор? Вообразите, был! Бесконфликтный, светлый оптимистический юмор. Аркадий Райкин читал с эстрады фельетон «Ярмарка» — этакую буколическую картину колхозного изобилия, — развлекая зрителя своими знаменитыми перевоплощениями. И частушки бесконфликтные были — а как же! Вот одна, прямо-таки программная:

У колодца вода льется,
Подается по трубе;
Хорошо тебе живется —
Мне не хуже, чем тебе.

На таком-то идиллическом фоне была написана, залитована и рекомендована к исполнению комедия Галича и Исаева «Вас вызывает Таймыр». Главный герой по фамилии Дюжиков со-

вершает, конечно, только добрые дела, но он все же человечен, и в комедии есть даже где улыбнуться.

И в 1950 году я... — ах, не смейтесь, пожалуйста! — сыграл Дюжикова на сцене. Правда, сцена была несколько своеобразная, расположенная в грязной лагерной столовке ИТК №1 УИТЛИК УМВД МО. Для тех, кто уже не помнит эти дивные сокращения: Исправительно-трудовая колония №1 Управления исправительно-трудовых лагерей и колоний Управления МВД Московской области.

В гуманных сталинских лагерях была самодеятельность. В нашем лагере отбывал срок главный режиссер Смоленского драматического театра Алексей Шмонин — милый и умный человек. Он мне сказал: «Вот, чудом проскочила пьеса, которую даже можно играть. Давай ее сыграем и вырвемся душой отсюда, хоть на короткое время». Начальник КВЧ лагеря (культурно-воспитательная часть) молоденький и еще не скурвившийся лейтенант Веретенников долго рассматривал выходные данные сборника рекомендованного клубного репертуара, где появилась комедия, — и разрешил.

Режиссура спектакля была на высоте, чего не скажешь об актерах. Особенно об исполнителе главной роли. Я обнаружил, что ходить по сцене и изображать другого человека — это воистину адский труд, но Шмонин с грехом пополам меня натаскал, все время повторяя, что у Дюжикова есть внутренняя логика, а «ты ведь образованный, должен простую логику понимать». Это был мой сценический дебют, и я обязан признаться, что позже еще раз уступил сладким песням Алеши Шмониной. Я сыграл роль в пьесе братьев Тур «Особняк в переулке», но там никакой логики не было, и после спектакля я дал себе слово, что на театральные подмостки больше в жизни не выйду. Это слово свято держу.

Лет через десять после этих событий я впервые услышал, а потом и увидел Галича. Я всегда помнил, что играл «у него», и с особым чувством принимал каждую его новую песню.

Был я на его выступлении в России только один раз, в Центральном Доме работников искусств. Собралась громадная толпа, и я простоял весь вечер. Могучий, красивый человек в глухом, под подбородок, сером свитере под костюмом сказал извиняющимся тоном, что по профессии он драматург и потому все его песни — длинные, сюжетные, иначе у него не получается. Потом запел, мастерски аккомпанируя себе на гитаре, и толпа требовала еще и еще.

Когда Галича исключили — под грубое улюлюканье литераторов в штатском — из Союза писателей, я позво-

нил ему из Лондона. Сразу же сказал, что звоню со «Свободы» и прекрасно пойму, если он предпочтет не продолжать разговор.

— Да нет, пожалуйста, давайте поговорим, — спокойно и грустно ответил Галич. — Еще хуже мне от этого не будет.

Его интервью, в сопровождении согласованных с ним самим песен, передала «Свобода». А я еще написал о нем статью «Поет Галич, поэт Галич». Вновь извинившись, приведу концовку статьи, она показывает мое отношение к Александру Галичу еще до того, как мы познакомились (не считать же знакомством телефонное интервью). Вот: «Галич создает сегодня поэтическую летопись — как никто другой в стране — и делает это с огромным талантом и бесстрашием офицера, стоящего в рост под пулями. Должно быть, «бесстрашие офицера» — определение очень неточное. Храбрец тоже чувствует леденящий страх, но знает, что надо поднять солдат в атаку, и другим способом, кроме личного примера, это сделать невозможно...

Галич хорошо представляет свою роль — не хочется возвышенных слов, а то я сказал бы «миссию» — в теперешнем неправдоподобном, небывалом в истории русском обществе. В песне, которую не грех поставить рядом с пушкинским «Памятником», поэт бросает «признанным» литераторам такие строки:

Что ж, зовите небылицы былями,
Окликайте стражников по имени!
Бродят между ражими Добрынями
Тунеядцы — Несторы и Пимены.
Их имен с эстрад не рассиропили,
В супер их не тискают облаточный:
«Эрика» берет четыре копии,
Вот и все, и этого достаточно!
Пусть пока всего четыре копии —
Этого достаточно!

Видите: одна из копий, первоначально отстуканных Александром Галичем на его пишущей машинке «Эри-

ка», дошла и до вас, читатель. Взволнуйтесь же и подумайте, что, быть может, в эту самую минуту «Эрика» стучит опять. Галич, суровый поэт несчастного народа, стоит в рост под пулями и перебирает струны гитары».

Теперь представьте, пожалуйста, что я чувствовал, когда, переехав на пароме Ламанш, гнал по автостраде в Мюнхен знакомиться с Галичем. Это было в 1974 году.

Как был, с дороги — прямо на радио. Где Галич? Никто не видел с утра. Наконец, Перуанский как-то неохотно объясняет:

— Он вообще-то в двадцать второй студии. Но ты туда пока не ходи.

— Что так?

— Не понимаешь? Рояль же там стоит, вот он и пользуется, когда студия свободна...

Я, конечно, не прервал Галича, быть может, сочинявшего в тот момент свою знаменитую «Когда я вернусь». Позже он иногда садился за рояль и при нас — в той же огромной двадцать второй студии, — когда было свободное время. Начинал наигрывать, обрывал сам себя, начинал снова, что-то тихо пел... Мы сидели, не решаясь дышать, а когда подходило время записи или передачи, кто-нибудь делал ему знак, он вставал, говорил что-нибудь небрежное и закрывал клавиатуру. Оказывается, большинство песен он сочинил именно так — сидя за фортепиано, ища мелодию и одновременно какие-то первые слова. Гитару он брал в руки потом, когда песня была готова.

Наша встреча в тот вечер была какой-то незначительной. Его и меня привели в открытое кафе, за столиком сидел Туманов, подходили знакомые. Лишь постепенно, встречаясь на работе и у нас дома, я сдружился с ним, он навсегда стал для меня Саша, я для него Леня, хотя и остались на «вы». Иногда он приходил на радио не очень здоровым, двигался медленно, казался более грузным, чем был на самом деле. Я при первой возможности отсылал его домой: он же перенес инфаркт еще в России, но по-прежнему выпивал — увы, вместе с женой Нюшей.

О его пристрастии к выпивке я узнал не сразу. В октябре 1975 года я впервые попал в Израиль, пришел к редактору журнала «Время и мы» Виктору Перельману — и увидел Галича, прилетевшего в тот же день из Мюнхена. Гостеприимная Алла Перельман собрала прекрасный стол. Увидев это великолепие, Саша явно обрадовался и сказал:

— Ну, давай за хозяйку!

Он проглотил большую стопку водки и тут же налил следующую.

— За землю Ханаанскую!

— Погодите, Саша, зачем же одну за другой? Вам завтра петь...

— А, снова живем! Поехали...

Тут я и понял, что смутные слухи о пьянстве Галича имели основание. В дальнейшем они подтверждались вновь и вновь.

В 1977 году, переехав в Мюнхен, я стал свидетелем еще одной печальной истории в Сашиной жизни. Новая дама его сердца была очень хороша собой — стройная молодая блондинка, недавно приехавшая из России, немногословная и, я бы сказал, победоносная. На радио «Свобода» в Мюнхене удержать что-либо в секрете было невозможно, и о романе Галича знали буквально все — в том числе, боюсь, и Нюша. Жены сотрудников за глаза перемывали косточки Сашиной семейной жизни и запрещали мужьям приглашать его с новой возлюбленной. Нечего и говорить, что моя Кира сразу же сказала «конечно, пригласи».

Этот ужин вчетвером оказался не самым удачным. Была какая-то напряженность, мы с Сашей всюду пытались развеселить наших дам, было это не очень естественно. Его Мира молчала или едва улыбалась из вежливости. Моя супруга, чувствуя обычно фальшь за версту, тоже не очень веселилась. Они ушли раньше обычного.

А через несколько дней разразился чудовищный скандал. На радиостанцию явилась некая личность, бежавшая из Советского Союза под предлогом еврейства его

бабушки. Выяснилось, что в России он был известен под кличкой «Толик-менингит». Он потребовал свидания с директором и на вопросы секретаря ответил, что, мол, здесь один ваш хмырь увел у меня жену, и я с ним посчитаюсь.

Администрация, понятно, была в ужасе. Галич слег с сердечным приступом. Мною был предложен простой выход: перевести Сашу на работу в парижский корпункт «Свободы». После тяжелых перипетий, о которых писать не стоит, так и было сделано. Ну кто же, кто мог предположить, что Галич, сразу начавший присылать великолепные передачи о Париже, найдет там столь скорую и глупую гибель. Он купил радиокомбайн и по незнанию воткнул штекер антенны в гнездо привода проигрывателя. От удара током сразу упал, и Нюша с Максимовым нашли его в таком положении лишь через некоторое время. Больное сердце не выдержало...

Сколько было потом подозрений, сколько разговоров о возможном убийстве Галича! «Свобода» обратилась к прокурору Франции с просьбой о тщательном расследовании. Оно было проведено, и прокурор лично подтвердил, что произошла роковая случайность. А какая-то московская газетенка написала даже, что Галича убили в Париже по приказу директора «Свободы», — он, дескать, чем-то не потрафил начальству. Поистине, ложь советской пропаганды не знала границ.

Александр Аркадьевич Галич прожил на свете 59 лет. Он остался бессмертным, рядом с Булатом Окуджавой и Владимиром Высоцким, — ни на одного из них не похожий и так же, как они, блистательно талантливый.

Отставка

Через два года работы главным редактором Русской службы «Свободы» я подал в отставку, вернулся в Лондон и поступил — рядовым сотрудником на Всемирную службу Би-би-си. Еще хорошо, что меня взяли: Би-би-си, как правило, принимает в штат только людей не старше пятидесяти, а мне было за пятьдесят пять.

О моем уходе со «Свободы» тоже было много толков. Людям не верилось, что первый «новый» эмигрант, получивший такой пост и такие блага (американская радиостанция обеспечивала сотрудников по-американски), может сам взять и уйти. что-то, наверно, было не так!

Должен разочаровать любителей слухов: все было именно «так» — просто и печально. Но вначале немного истории.

Радиостанция «Освобождение», вскоре переименованная, менее агрессивно, в «Свободу», вышла в эфир 1 марта 1953 года — в тот самый день, когда Сталина сразил инсульт. Один из «отцов» радиостанции, позже ее директор Фрэнсис Рональдс как-то опубликовал статью, коротко и ясно объяснившую цели и важность «Свободы». По его словам, не борьба с коммунизмом и не альтруистические желания принести советским гражданам демократию заставили тратить деньги американского налогоплательщика на дорогостоящее радио. Нет, все дело было в том, что Советский Союз располагал ядерным оружием и мог уничтожить человечество. В изоляции от мира советские граждане, возможно, поверили бы, что Америка хочет на них напасть, и позволили бы Сталину (он тогда еще был жив) или другому диктатору развязать войну. Чтобы этого не случилось, нужно честно и объективно информировать население СССР о том, что происходит в мире, в том числе и в их родной стране. Радио «Свобода» стало суррогатом свободного органа информации в России и других союзных республиках — станция вещала на шестнадцать языках.

Замысел был настолько точен, что «Свобода» быстро стала самой популярной в стране станцией, несмотря на мощное глушение. Но у нее была одна слабость, одна ахиллесова пята — это, как ни странно, американская администрация. Я еще никогда не писал об этом — что проку, но сейчас попытаюсь объяснить.

С самого начала возникло кричащее противоречие, о котором никто не подумал, — а в 1971 году оно чуть не убило радиостанцию. Почетными президентами «Сво-

боды» согласились стать два бывших президента Соединенных Штатов — Гарри Трумэн и Дуайт Эйзенхауэр. Их имена гордо красовались на служебных бланках радиостанции. А финансирование «Свободы» шло через Центральное разведывательное управление — ЦРУ (?), словно она была каким-то тайным или шпионским предприятием!

Мои первые четыре года на радиостанции «Свобода» прошли, так сказать, под эгидой ЦРУ. Но, готов свидетельствовать под присягой, что этой «эгиды» никто и никогда из нас не чувствовал.

В Мюнхене работали три так называемых «политических координатора». Один — Эдвард Ван дер Рор — был довольно известным американским литератором, он, в частности, написал книгу «Мастер-шпион» о судьбе пресловутого Сиднея Рейли. Второй, Алексей Малышев, тоже американец по рождению, пришел из университета штата Аризона, где преподавал русскую литературу. Третий, поступивший на радиостанцию уже при мне, молодой дипломат Джон Лодизен, уволился из Госдепартамента после того, как отработал культурным атташе американского посольства в Москве. Не думаю, что в Госдепартаменте о его уходе особенно жалели: звезд с неба Лодизен не хватал.

Были ли они представителями ЦРУ? Не знаю. Но зато знаю две вещи. Первая: за все четыре года моей работы под указанной «эгидой» Эд Ван дер Рор не пропустил в эфир одну-единственную мою передачу. Он написал мне об этом длинное извинительное письмо, объяснив, что передача показалась ему... излишне антисоветской. Вторая: после того, как радиостанция перешла в ведение Совета по международному радиовещанию (об этом чуть позже) наши «цензоры» остались на своих местах. С течением времени Алексея Малышева сменил Серафим Милорадович — тоже американец, потомок прославленного генерала Отечественной войны, — а ему на смену пришел Герд фон Дёмминг, позже ушедший на «Голос Америки». Так или иначе «политические координаторы» вряд ли осуществляли какой-либо контроль со

стороны ЦРУ. Скорее всего ЦРУ вообще не интересовалось «Свободой» — по той простейшей причине, что не было ему от радиостанции ни малейшей пользы: она ведь передавала, а не собирала информацию. Обязали когда-то ЦРУ перечислять «Свободе» средства — оно и перечисляло, а на содержание передач если кто-то и обращал внимание, так только Госдепартамент. Я знаю два-три случая, когда оттуда слышалось некое ворчание — и опять только из-за того, что какие-то передачи «Свободы» казались вашингтонским дипломатам излишне резкими по тону.

Но в 1971 году внезапно разразился скандал. Сенатор Клиффорд Кейс вдруг объявил во всеуслышание, что «Свобода», представьте, финансируется ЦРУ! Будто раньше никто об этом не знал. И пошло-поехало: могучий председатель Комиссии сената по иностранным делам Уильям Фулбрайт заявил, что станцию нужно «выбросить на свалку холодной войны». Ему вторил сенатор Саймингтон. Я воздержусь от оценки их высказываний, но сообщу все же, как называл почтенного сенатора Фулбрайта президент Трумэн. Он прозвал Фулбрайта «Хафбрайт», что означает «полоумный». Действительно, сенатор от Арканзаса и наставник будущего президента Клинтона был, с одной стороны, большим меценатом в области высшего образования — в Оксфордском университете до сих пор есть его стипендии, с другой стороны, голосовал за все расистские резолюции и соблюдал сегрегацию в Арканзасе до последней возможности; с третьей стороны, был автором печально знаменитой «резолюции Тонкинского залива», по которой началась высадка американских войск во Вьетнаме. А четвертая сторона этого многостороннего деятеля состояла в том, что был он «большим другом Советского Союза» и обильно цитировался «Правдой» по разным поводам (разумеется, его пожелание отправить «Свободу» на свалку холодной войны не прошло мимо внимания центрального органа ЦК КПСС).

И вот, Фулбрайт в роли председателя комиссии по иностранным делам распорядился прекратить финан-

сирование радиостанции — перекрыть ей кислород. Представляете? Семьдесят первый год, идет война во Вьетнаме, советская пропаганда гремит на весь свет об американской агрессии. Девяти лет не прошло после кубинского кризиса. Трех лет не прошло после вторжения в Чехословакию. А Уильям Фулбрайт предлагает «Свободу» закрыть.

В этот момент директор «Свободы» Фрэнсис Рональдс вызвал меня в Мюнхен и мы вдвоем полетели в Вашингтон — объяснять, уговаривать, просить разобраться. Мы ходили по всяким высоким кабинетам, где я, так сказать, представлял точку зрения российского радиослушателя. Говорил, разумеется, больше Рональдс. Нас везде встречали сочувственно, нас понимали или делали вид, что понимали, а потом соглашались, что да, решение неразумное, даже чудовищное, но сильней Фулбрайта зверя нет, отменить его решение не может и сам президент. Мы вернулись ни с чем, и Рональдс начал подготовку к свертыванию.

Но тут помог счастливый случай — и этим случаем сразу воспользовался один замечательный человек. Два вашингтонских обозревателя — Роулэнд Эванс и Роберт Новак — напали на сенсацию: польский дипломат, попросивший в Америке политубежища, рассказал им, в числе прочего, что польское посольство в Вашингтоне получило от Москвы крупные средства на кампанию против «Свободы». «Создана секретная группа с заданием систематически раздувать оппозицию против радио... — писали Эванс и Новак 23 апреля 1972 года в газете «Вашингтон пост». — Группа располагает фондом в 3 миллиона долларов, переправленным в Вашингтон через посольство ПНР». Группа эта и сумела подбросить сенатору Кейсу (отнюдь не «другу Советского Союза» и не противнику «Свободы») свидетельство того, что радиостанция находится на содержании ЦРУ. И Кейс, невинная душа, громыхнул об этом в сенате. Он и в мыслях не держал, чтобы закрыть станцию, а лишь недоумевал, пожалуй, даже справедливо, почему «Свободу» должны содержать разведчики?

Разоблачение, опубликованное Эвансом и Новаком, Фулбрайта не смутило, он решения не отменил. Даже говорили, что отобедал с послом СССР Добрыниным, с которым был довольно близок, и заверил, что газетные выдумки роли не играют. Но нашелся человек, оценивший важность газетной сенсации и ринувшийся спасти «Свободу», хотя не имел к ней отношения. Назову его с благодарностью и огромным уважением: Дэвид Эбшайр. В то время он был директором Центра стратегических исследований в Вашингтоне. Эбшайр обратился к спикеру Палаты представителей с просьбой, чтобы «Свободе» предоставили чрезвычайное финансирование на три месяца, ибо нужно разобраться в конфликтной ситуации. И предоставили. Дэвид тут же пробился к президенту Никсону и предложил создать межпартийную комиссию для обследования всей деятельности «Свободы». Комиссия должна была решить, нужна ли станция, и если нужна, то как ее финансировать.

Снова вызывают меня в Мюнхен. За неделю до приезда комиссии — во главе ее поставили Милтона Эйзенхауэра, брата бывшего президента, — всех нас начали готовить к даче показаний. К чести Фрэнсиса Рональда--, он не распределял ролей и не указывал нам, что говорить. Он лишь требовал соблюдения формы. Девять минут на выступление — ни минутой больше! — потом краткие ответы на вопросы, если таковые будут заданы. Никаких общих соображений, только конкретные сведения о своей работе. Говорить спокойно, не стараться убедить, не жаловаться на решение Фулбрайта, не раздражаться, если какой-нибудь вопрос придется не по вкусу. Входя, называть свое имя и должность. При уходе не прощаться, но можно в ответ на благодарность тоже сказать «теэнк ю».

Все англо-говорящие сотрудники два раза репетировали эту процедуру. Чувствовали мы себя при этом неловко, хотя само высказывание излагать было не нужно. Лишь настойчиво просили не выходить за пределы девяти минут (в комнате были настенные часы).

Семеро членов комиссии — если правильно помню, пять мужчин и две дамы — сразу решили, что беседовать будут неформально, хотя президентская комиссия имела право приводить нас к присяге. Это была приятная новость.

Меня пригласили где-то в середине первого дня. Я рассказал о работе лондонского корпункта, о содержании наших передач. Пошли вопросы. Отвечать старался кратко, но все-таки не односложно. Время от времени бросал взгляд на часы и с ужасом видел, что сижу тут уже двадцать... двадцать пять... тридцать минут, а они все спрашивают. Милтон Эйзенхауэр поинтересовался моим советским прошлым — пришлось отвечать. Рассказал, что сидел в лагерях, потом доучивался в институте, работал на заводе, затем в газете, в одном журнале, в другом. Объяснил, как слушал «Свободу» из-под глушения. Когда одна дама стала спрашивать о моих семейных делах, Эйзенхауэр прекратил истязание и отпустил меня на сорок шестой минуте.

Комиссия представила президенту триумфальный отчет. Рекомендация была твердой: работу «Свободы» продолжать, изыскать возможность прямого финансирования ее Конгрессом. На основании этой рекомендации в Вашингтоне был создан Совет по международному радиовещанию, назначаемый президентом. Его председателем был одно время Дэвид Эбшайр, потом он стал представителем США в НАТО.

Но когда я говорил, что ахиллесовой пятой радиостанции была американская администрация, я имел в виду не только изначальную ошибку, которая могла прикончить «Свободу» в самый разгар холодной войны. Дело было еще в том, кого посылали руководить вещанием.

После первых лет работы радиостанции, примерно в то время, когда я поступил в штат, в середине шестидесятых, зачинатели «Свободы», всей душой преданные делу и понимавшие сложность задач, начали понемногу уходить от прямого руководства. Несколько человек еще оставались — в частности, Фрэнсис Рональдс, Макс

Ралис, Питер Дорнан, англичанин Кит Буш. Но остальные... Остальные приходили просто «на должность», часто из-за того, что предыдущая их карьера не сложилась, и чиновный Вашингтон хотел их куда-нибудь прикнуть. Они понятия не имели, что такое Россия, они в лучшем случае старались только администрировать, не вмешиваясь в содержание передач. Но только в лучшем случае! Большей частью случаи были отнюдь не лучшие, и это больно било по радиостанции. Тот же Лодизен, бывший дипломат, никак не проявивший себя в Госдепартаменте, он ведь не только был «политическим координатором», он потом несколько лет директорствовал в Русской службе, и от его распоряжений, что называется, вяли уши.

Были и совершенно анекдотические персонажи. Нью-Йоркским отделением «Свободы» — это уж был не корпункт, а солидный филиал — одно время руководил некто Кратч, понятия не имевший о русском языке, но уверенно судивший о передачах и их авторах. Он гордо сообщал, что имеет опыт в радиовещании: был «специалистом по исследованию аудитории» на провинциальной американской радиостанции и проверял ее популярность, обходя стоянки машин у пригородных супермаркетов и заглядывая через окна на шкалы радиоприемников — настроены ли они на его станцию. Другой американец, прибывший в Мюнхен руководить, увидел перечень языков, на которых вещала станция, и поинтересовался, почему в списке пропущен английский.

Некоторые просто не понимали разницы между хорошими и плохими передачами, им часто нравились сотрудники только за то, что умели бойко объясняться по-английски — с другими-то у них общего языка не было, так что не было к ним и доверия. И уж тем более не могли эти люди отбирать персонал, не умели вводить что-либо новое на пользу делу. Между тем мы как-то научились приспосабливаться к американским администраторам. Быстро относили каждого новичка к одной из трех групп — полезной, безвредной или опас-

ной — и соответственно поступали: с полезными вместе работали, с безвредными ладили, опасных старались избегать. Но в американских чиновных кругах созрело к середине семидесятых годов решение, против которого мы оказались бессильны: слить радиостанцию «Свобода» с другой — со «Свободной Европой», вещавшей по-польски, по-чешски, по-венгерски, по-румынски и по-болгарски.

Решение, представленное в Вашингтоне как экономически выгодное, было абсурдным и убийственным для «Свободы». «Свободная Европа», созданная за два года до «Свободы», работала на совершенно иных принципах. Там, естественно, коренным языком был английский: на нем составлял последние известия отдел новостей, а потом их переводили на пять восточно-европейских языков. «Свобода» работала по-русски. Ее служба новостей отбирала только то, что могло интересовать советскую аудиторию — совсем иную, чем слушатели Венгрии или Польши. Восточные европейцы справедливо считали себя советскими полуколониями — как можно было передавать одно и то же для них и для колонизаторов? Ведь само определение советских граждан как колонизаторов (его ежедневно употребляла «Свободная Европа») звучало для россиян смертельной и незаслуженной обидой. Тем не менее, службу новостей «Свободы» уравнили с болгарской, чешской или польской: получайте английский комплект новостей и переводите на русский!

Несуразностей такого рода было не счесть. Скажем, пятнадцать национальных редакций «Свободы» просто не могли писать новости: там, у азербайджанцев, узбеков или грузин, работали люди, прекрасно знавшие русский язык — но не английский! Им приходилось теперь ждать русского перевода с английского, а потом уж переводить на свои.

Любопытно, что комиссия Милтона Эйзенхауэра рассматривала предложение о слиянии — оно исходило от американских чиновников «Свободной Европы», ущемленных тем, что их станция, более крупная и богатая,

вещает только на страны-сателлиты, а на «хозяина», Советский Союз, вещает эта маленькая «Свобода», где сотрудники и по-английски-то не умеют. Комиссия четко высказалась против слияния. Но бюрократические игры за кулисами продолжались. Фрэнсис Рональдс писал бесконечные объяснения, обивал вашингтонские пороги — не помогло. В 1976 году «Свобода» стала одной из служб конгломерата «Свободная Европа — Свобода» (сперва хотели вторую половину названия вообще исключить, потом вспомнили, что ведь «Свобода» говорит и с жителями Азии).

Очень скоро после этого я и принял дела главного редактора Русской службы. Раздосадованный Рональдс подал в отставку и уехал в Америку, но мне повезло: директором службы стал бывший московский корреспондент «Чикаго трибюн», профессиональный журналист высокого класса Франк Старр. Вместе с ним мы принялись залечивать раны. Особенно важно было то, что с американским начальством разговаривал главным образом он, а я имел возможность сосредоточиться на содержании передач «Свободы». И за первые год-полтора кое-что удалось наладить.

Но, хотя Фрэнк Старр был американцем, соотечественники-начальники его возненавидели. Дело в том, что он, единственный среди них, был профессиональным журналистом, и спорить с ним на равных они не могли. Все ошутимее срабатывал комплекс неполноценности: Старра стали выживать. В один прекрасный день он пришел ко мне и грустно сказал:

— Уеду. Получил место в «Балтимор сан». В этом зверинце больше не могу.

Я молчал, оглушенный новостью.

— Да, — сумрачно продолжил Франк. — Теперь холодный ветер будет дуть прямо на тебя. Хочешь, переведу тебя директором вашингтонского бюро...

Поблагодарив, я отказался, хотя вскоре выяснилось, что предложение следовало принять. В отсутствие Старра «политические координаторы» Лодизен и фон Дёмминг стали сочинять на меня доносы непосредственно

Ральфу Уолтеру — бывшему директору «Свободной Европы», а ныне хозяину всего конгломерата, не понимавшему, понятно, по-русски. Они, собственно, писали и раньше — надо же было чем-то занять себя за такую зарплату, — но удары принимал на себя Старр, и меня Уолтер не трогал. Теперь, после каждого доноса, он вызывал меня на ковер или требовал письменного объяснения. У меня стояли две пишущих машинки: на одной, русской, я работал, на другой по-английски объяснялся.

Вот один только пример. В Советском Союзе состоялся очередной космический запуск. Поскольку я когда-то выпустил книгу о советской космонавтике, пишу комментарий. Объективно и спокойно сопоставляю ход космических исследований в СССР и США. Вызывает меня Уолтер и наставительно объясняет: советские граждане законно гордятся своими космическими успехами, эти успехи нельзя критиковать даже косвенно, а то слушатели обидятся.

Как объяснить ему причины, по которым «гордость космическими успехами» давно в России испарилась? Беру дома свою книгу, копирую суперобложку с незаслуженно хвалебным отзывом главного американского ракетчика Вернера фон Брауна и отправляю Уолтеру без единого слова от себя. Конец истории. О передаче Уолтер больше ни слова. Но его расположение ко мне, увы, не укрепляется.

Кончилось тем, что я предупредил начальство: нельзя нести ответственность без свободы принимать решения (по-английски есть для этого устоявшаяся формула: «No responsibility without authority»). Если меня и дальше будут заставлять оправдываться за каждую передачу — уйду со станции.

Ральф Уолтер мне не поверил. Куда это уйдет эмигрант с хорошей работы на радио? Старр американец, у него на родине кругом связи, а эмигранты — держатся за место. Но я все-таки положил ему на стол заявление об отставке, и 30 июня 1979 года моя двенадцатилетняя служба на «Свободе» закончилась.

Снова Би-би-си

Жену с сыном я отправил в Лондон самолетом, а сам поехал на машине. По дороге стали меня одолевать страхи. Я словно бы опомнился и стал думать, что ж это я натворил? В Лондоне у меня ни кола ни двора — при переезде в Мюнхен я, по неудачному совету, продал с убытком дом. Перспектив на работу особых не было: теплилась надежда на Би-би-си, но там уже набрали новых эмигрантов, мест может не быть (не знал я еще о главном препятствии для поступления на Би-би-си — о возрастном цензе). Денег мне дали ровно столько, сколько было положено — по две недели зарплаты за каждый отработанный год, никакого «золотого рукопожатия» от Уолтера я, разумеется, не получил. Год на эти деньги проживем, а дальше...

Мчался я по автостраде, и в ритме дорожного шума не сходило с языка какое-то дурацкое присловье. Я повторял и повторял: «Ну дела, ну дела — закусил я удила». Даже подумалось в какой-то момент: а не повернуть ли, не сказать «извините, мол, погорячился». Но тут же взял себя в руки.

В Лондоне дела поначалу пошли даже хуже, чем я воображал. Директор Русской службы Би-би-си, покойный Барри Холланд, милый человек и старый знакомый, сказал очень просто: не надейся, тебе за 55, а мы берем в штат только до пятидесяти. Впрочем, добавил, что вне штата я смогу время от времени писать, но тут же и пошутил насчет гонораров: в 1924 году, когда Би-би-си вышла в эфир, внештатникам платили гинею (фунт стерлингов плюс один шиллинг) за минуту звучания — и сейчас платят примерно столько же. С трудом я нашел в себе силы вымучить улыбку.

Жили мы первые месяцы в тесной квартире моей тещи — женщины прямо-таки святой, но все равно наше вторжение к ней не могло длиться долго. Меня по старой памяти пригласили на три недели в Америку с лекциями (я больше десяти лет регулярно их читал в университетах, по две-три недели в год за счет отпуска,

которого меньше пяти недель на «Свободе» не набега-ло). Я тут же решил взять с собой жену и одиннадцатилетнего сына, чего раньше не случилось, чтобы дать теще хоть немного передохнуть. Вернувшись, начал искать сразу и жилье и работу.

Да, Би-би-си заказывала кое-что, даже иногда длинные, полчасовые передачи. Но в шутке Барри Холланда была большая доля правды. Жить на эти гонорары было нельзя.

И тут я вспомнил мои планы пятнадцатилетней давности.

Из жизни номер один

После пяти с половиной лет тюрем и лагерей я кое-как доучился в институте — не в авиационном, где окончил четвертый курс до ареста, а в автомеханическом, — и меня «распределили» мастером цеха моторов Московского завода малолитражных автомобилей (он потом назывался именем «Ленинского комсомола», а как сейчас именуется, даже не знаю). Работа была тяжелая, жил в однокомнатной у матери и отчима, на раскладушке. Ненавидел все советское настоящее, что и воздух советский казался мне ядовитым газом. Я был воспитан на любви к России, к языку, к великой ее литературе — и это оставалось в душе, соседствуя с яростью к режиму, истязавшему родину.

До середины 1955 года ни на полсекунды не подумалось о загранице. Этой земли — заграницы — как бы и не существовало. То есть, конечно, была она, и туда ездили какие-то особенные люди — выездные: дипломаты, журналисты, некоторые писатели; они по возвращении рассказывали о жутких социальных контрастах, о безработных и бездомных, спящих под мостами, о нищете рабочего класса и тому подобным вещам. Этим рассказам я нисколько не верил — просто потому, что они исходили от слуг режима и, значит, заведомо были ложью. Но, хороша ли была заграница, плоха ли, путь туда мне навеки закрыт — так чего ж размышлять о несбыточном.

Как вдруг, в «Правде» нахожу махонькую заметку: «Первая группа советских туристов выехала на неделю в Польшу». В это трудно было поверить. Общество «Интурист» существовало в СССР только для того, чтобы иностранцы могли приезжать к нам — и с ними общаться было всегда опасно. Но если началось обратное движение, если сама «Правда» об этом пишет, то, значит, туризм из России высочайше одобрен и будет

развиваться. Сперва в Польшу да Венгрию, а там может быть начнут пускать и в «капстраны».

С тех пор мысль о бегстве из страны стала моей навязчивой идеей. Я решил, что все мои дальнейшие поступки должны быть подчинены только ей. Работая в цехе, стал я писать в ежедневную заводскую газету с анекдотическим названием «За советскую малолитражку». Делать это умел с детства: в тридцатые годы был «юнкором» газетенки «Пионер Трехгорки», потом «Пионерской правды».

Простите, я немного отвлекусь. Тогда, в тридцатые, был я, конечно, пионером. Жили мы за Краснопресненской заставой, недалеко от большой ткацкой фабрики «Трехгорная мануфактура», и к нам в школу приходила газетка «Пионер Трехгорки» на одном листке. Внезапно я увидел в ней стишок Игоря Геевского — парня на класс старше меня. Я спросил его, как это он сумел напечататься. Игорь с гордостью ответил, что надо иметь способности. Если думаешь, что они у тебя есть, иди в Дом культуры имени Павлика Морозова в Ваганьковском переулке, там редакция. Но отбор очень строгий!

Через какие-то недели я тоже сочинил стих. Он назывался «Паровоз» и первые строчки помню: «Несется он, пары клубя, несется он стрелой». Очень робая — мне ведь не было и одиннадцати — пошел по адресу. «Дом культуры» имени Павлика Морозова, находился в бывшей церкви Св. Николы на Ваганьках. Под холодноватыми и темноватыми сводами сидела очень юная и приветливая комсомолка Нина — много позже станет она Ниной Абрамовной Ивантер, известной детской писательницей. Она взяла мой «Паровоз» и долго расспрашивала, есть ли у меня еще что-нибудь, есть ли желание сочинять. Вот так началась моя журналистская карьера. После нескольких публикаций, в стихах и прозе, Нина отвезла меня в новое тогда здание «Правды», где на пятом этаже помещалась «Пионерская правда». Ее редактором был шумный лохматый Саша Строев. Он немедленно велел мне написать про визит в нашу школу знатной сборщицы хлопка пионерки Мамлакат Наханговой, которую обнимал сам Сталин. Мамлакат приехала на машине, пробыла у нас пять минут, прошла с какими-то взрослыми по классам, отдавая пионерский салют, и молча удалилась. Я и написал, что мы все читали о ее трудовых подвигах на хлопковых полях, но она, к сожалению, торопилась и не успела нам рассказать, как в Узбекистане школьникам дают возможность отличиться. У нас в Москве, увы, хлопок не растет, а на «Трехгорке» детей к работе не допускают. А то бы и мы показали, на что способны.

Саша Строев громко хохотал, читая мое сочинение, потом сказал:

— А что ж, пустим. Иди сейчас же в третью комнату по коридору, найди там художника Юру Узбякова, и пусть он все это нарисует.

... Однажды, придя в «Пионерскую правду» с каким-то новым опусом, я узнал, что Саши нет и больше не будет. На его место назначен другой редактор, но ему сейчас некогда. Художник Юра шепнул мне в коридоре, что Сашу Строева арестовали как врага народа, и лучше сюда до поры до времени не приходить.

Миновало двадцать пять лет. Я зашел в издательство «Молодая гвардия», где готовилась к печати моя первая научно-популярная книжка о прямых преобразованиях энергии. В комнате, беседуя с редактором, стоял маленький старичок с серебряным венчиком на голове. Он вдруг прервал разговор и посмотрел на меня, морща лоб.

— Вы... Леша? Нет-нет... Леня, да?

— Да, я Леонид. Но, простите, не припомню...

— А я, вот видите, узнал. Меня зовут Саша Строев.

Саша освободился примерно тогда же, когда и я, но встретиться пришлось только теперь, в шестьдесят втором. Он работал, можно сказать, по специальности — в журнале «Вожатый».

... Мои научно-популярные книжки — а я написал их три — предназначались для Главной Цели: для возможного выезда за границу. С той же целью я перешел из заводской газеты в журнал «Семья и школа», а через два года — в журнал «Знание — сила», где проработал шесть последних лет перед побегом. Дело в том, что заводская газета была, как ни говорили, газетой партийной, и меня все время «втягивали» в партию. А это была единственная жертва, которую я не мог принести. Отказываться от предложений вступить в партию надо было очень осторожно: в «личном деле» могли появиться нежелательные записи. Я говорил то же, что многие в моем положении: пока не могу, мол, не считаю себя достаточно подготовленным, надо еще поработать в коллективе, поучиться партийной журналистике... Но становилось ясно, что в газете от меня не отстанут. И когда знакомый сказал, что журнал «Семья и школа» ищет журналиста с инженерным дипломом для нового отдела политехнизации (была тогда начата Хрущевым такая кампания), я сразу туда поступил.

Журнал был скучный, но я смиренно прослужил там два года. А потом Аркадий Ваксберг познакомил меня с заместителем главного редактора журнала «Знание — сила» Львом Жигаревым. Тот предложил мне писать для журнала, а через некоторое время меня пригласили в штат. Было там интересно, даже увлекательно, однако Главная Цель оставалась на первом месте. И в 1963 году я впервые выехал за границу — в Болга-

рию, где был задуман совместный номер «Знание — сила» и болгарского журнала «Наука и техника за младежта». Ехал я на машине через Румынию.

Еще раньше я одним из первых вступил во вновь созданный Союз журналистов и вскоре стал вице-председателем секции научной журналистики. Главная Цель приближалась, а с нею вопрос: если удастся мне выехать, что буду делать в чужой стране? На какую-либо работу с русским языком — при ничтожном знании английского и немецкого — я не рассчитывал. И тут вспомнил про мою автомобильную специальность. Вот кем надо устраиваться — автослесарем (шофером, думал я, без языка трудно). И когда началось «оформление» для выезда в Англию, я даже составил некую фразу о том, что я квалифицированный автослесарь, разрешите мне спуститься в смотровую яму и показать, что я умею. Я не знал, конечно, что смотровые ямы в английских гаражах давно не существуют, а есть только подъемники.

Тогда, в шестьдесят шестом, поступать в автослесари мне в Англии не понадобилось. Но по возвращении из Мюнхена в семьдесят девятом я вспомнил о моих тогдашних планах и решил, что, зная английский, смогу устроиться шофером. И устроился: меня взяли на фирму так называемых «мини-кэбов», и я развозил пассажиров на моей собственной машине, оборудованной радиосвязью с диспетчером. Лишь около года спустя Русская служба Би-би-си сумела принять меня в штат, невзирая на возраст.

...В дни, когда пишутся эти заметки, я еще работаю на Би-би-си, скоро двадцать лет. Формально-то я, конечно, пенсионер, как-никак 75, но вспоминаю слова, якобы сказанные знаменитым русским летчиком Чкаловым: «Буду летать пока руки держат штурвал, а глаза видят землю». Я езжу время от времени в Россию, впервые попал туда после 26-летнего перерыва, но, страшно молвить, домом моим ощущаю только Англию. Здесь счастливо идет к концу жизнь номер два, а жизнь номер один становится все более далеким воспоминанием. Впрочем, те мои российские друзья, что еще живут на свете, остаются друзьями: мы встречаемся, то в России, то у меня в Лондоне, мы переписываемся, говорим по телефону. И это единственная живая связь, еще оставшаяся у меня со страной, где родился и прожил сорок два года.

* * *

То, что вы сейчас прочли, я писал долго, урывками. Прочитав, вижу, как многое осталось нерасказанным. Вот, обещал же я, например, написать о Татьяне Сергеевне Франк, вдове Семена Людвиговича Франка. Она жила много лет в Лондоне, потом переехала в Мюнхен и снова вернулась в Лондон. У нас была прямо-таки любовь. Когда она летела из Лондона в Мюнхен, я ее сопровождал.

Татьяна Сергеевна в свои восемьдесят с лишним задалась целью обратить меня в православие, сама она была очень верующей. Возможно, ее вдохновлял тот факт, что покойный С.Л. Франк был крещеным евреем, и она хотела спасти еще одну душу. Беседы со мной на эту тему она строила не только умно, но даже научно — недаром много лет прожила с выдающимся ученым.

— Леонид, — говорила Татьяна Сергеевна, — вы же современный молодой человек. Вы интересуетесь новыми достижениями, новыми идеями, верите в прогресс. Так ведь?

Я соглашался. Молодой так молодой — с ее точки зрения.

— Вам свойственно двигаться вперед, от старого к более новому. Так почему же вы по-прежнему исповедуете Ветхий Завет? Переходите к Новому Завету, это же совершенно естественно!

... Интересных людей, интересных эпизодов за бортом этих мемуаров осталось много. Почему? Мне трудно ответить на такой вопрос. Возможно, действовал некий подсознательный «естественный отбор», а, может быть, просто память что-то не сохранила. Я не вел дневников, некогда было: вся жизнь номер два проскочила в работе. Но уж о чем — о чем, а об этом не жалею, да и пока все еще нет времени предаваться грустным размышлениям: надо готовиться к очередной передаче.

Героем предлагаемого рассказа Криса Адриана является великий американский поэт Уолт Уитмен (1819—1892). В рассказе использовано подлинное письмо поэта, написанное им во время Гражданской войны, в 1863 году.

Крис АДРИАН

«ТЫСЯЧУ ЛЕТ, ВО ВСЯКУЮ НОЧЬ»

Перевод с английского Лии Левиной-Бродской

Ему снилась смерть брата во Фредериксберге. В обличье ангела у его постели явился генерал Бернсайд и объявил ему о трагедии: «Армия с прискорбием сообщает, что ваш брат Джордж Уитмен убит подлцом из Чарльстона выстрелом в голову». Генерал присел на спинку кровати и плотно обхватил свое тело темными крыльями, будто стараясь утешить самого себя. Лунный свет окрашивал белым его бакенбарды и волосы на голове. Он продолжил дрожащим голосом: «Такой прекрасный юноша! Я держал его, истекающего кровью, в своих руках. Видите? Это след от его крови». Он показал себе на грудь, где на синей ткани мундира темнело пятно, напоминающее силуэт птицы. «Мне так жаль его», — с трудом выговорил он, едва сдерживая рыдание. Струящиеся из его глаз потоки слез соединялись в

ручей, бегущий поперек кровати в окно и там, за окном, вливающийся в реку Раппаханнок, которая каким-то образом текла теперь на север, через Бруклин, неся на себе тела всех убитых в этой битве.

Утром, читая в «Геральд» список раненых, он увидел: «Старший лейтенант Д. В. Уитмор». Из писем брата он знал, что офицера по фамилии Уитмор в полку брата не было. Поняв, что это опечатка, он отправился в дом матери. «Я разыщу его», — сказал он матери, сестре и братьям. И с этими словами уехал.

Вашингтон, как он быстро обнаружил, был городом госпиталей. Он обыскал уже половину из них, когда один писарь с обескровленным лицом сказал ему, что разумнее искать в Фалмуте, где в полевых госпиталях все еще находится большинство раненых при Фредериксберге. В Фалмуте, бродя вокруг госпитальных палаток, боясь войти внутрь и обнаружить своего искалеченного брата, он увидел груды ампутированных конечностей, руки и ноги разной длины, почерневшие, посиневшие, оставленные разлагаться в холодном воздухе. Часть их была запорошена тонким слоем снега. Он обошел груды, думая, что, если бы увидел, узнал бы руку брата. Закрыв глаза, он вообразил ампутацию: его брат кричит, проснувшись после хлороформа, ему представилось будущее брата, сжавшееся до чего-то печально-горького и маленького.

Но его брат Джордж отделался лишь сквозной раной в щеке. Осколок снаряда проткнул ему под курчавой бородкой щеку и оцарапал зуб. Выплюнув с кровью горячий металл себе в руку, Джордж положил осколок в карман и позже показал своему взволнованному брату, разразившемуся рыданием и сжавшему его в неуклюжем объятии, после их встречи в палатке капитана Фрэнсиса, где Джордж сидел, упиравшись вытянутыми ногами в походный сундук, и с сигарой, торчавшей из забинтованного лица.

«Нет причины волноваться», — сказал ему Джордж. Но даже сейчас, уже зная, что брат жив и ранен не опасно, он ничего не мог с собой поделать. Он слышал

непрестанный гул у себя в голове от вида груды конечностей, запаха крови в воздухе и руин Фредериксберга на другой стороне реки — всех этих обвалившихся печных труб и разрушенных стен. Он остался с Джорджем в его палатке, и вид спящего брата приносил ему глубокое умиротворение. Он бродил по лагерю, подсаживался к огню часовых, рассказывавших ему вызывающие ужас истории о том, как гибли их друзья.

Прошло десять дней, и он все еще не мог покинуть Фалмут. Даже после того как в Рождество Джордж уехал со здоровыми солдатами, он оставался помогать: менял бинты, звал медсестер или просто сидел у постелей раненых, с тем же чувством внутреннего умиротворения, какое испытывал, глядя на спящего брата. До приезда сюда, еще в Бруклине, он был охвачен глубокой, черной меланхолией. Последние шесть месяцев он бродил по улицам с ощущением, что жизненные силы готовы оставить его и вот-вот окончательно иссякнут. Теперь, в госпитале, эта меланхолия исчезла, спугнутая, вероятно, всеми увиденными несчастьями и замененная чем-то бесконечно более серьезным и реальным.

В конце концов он вернулся в Вашингтон санитарным транспортом. С каждым толчком и встряской поезда хор жутких стонов разносился по вагонам. Он думал, что сойдет с ума. Что его спасло, так это пение раненого в ногу молодого солдата, почти еще мальчика. Весь путь мальчик пел резким голосом, свидетельствующим о полном отсутствии слуха. Его имя было Генри Смит, окружающие его звали Ханк. Он прошел весь путь от штата Миссури, разделившегося на две враждующие стороны, и сказал, что куча его кузенов воюет под командованием генерала Борегарда*. Он пел «О! Сузанна» снова и снова, и никто не просил его замолчать.

Особенно тяжело раненных отправляли в ближайший от железнодорожной станции госпиталь на Юнион-сквер. Уолт Уитмен поехал с ними и продолжил начатую им в Фалмуте службу — сидел, разговаривал, читал, звал медсестер и помогал, чем мог. Прошли месяцы.

* Генерал армии конфедератов.

Уолт ходил и в другие госпитали. Там их было достаточно, чтобы держать его занятым («Финли», «Кэм-белл», «Карвер», «Хервуд», «Маунт-Плезант», «Джуди-шиэри-сквер»), а также заполненные ранеными церкви и общественные здания. Даже в здании Патентного бюро были раненые, лежавшие на раскладушках, поставленных на мраморном полу в Зале Моделей. Он принес мятных конфет восемнадцатилетнему солдату из Айовы без одной руки и с воспалением горла, лежавшему перед стеклянным ящиком с печатным станком. Перед походными вещами генерала Вашингтона лежали на койках двое парней из Бруклина. Уолт читал им из присланного матерью номера «Игл»*, время от времени поглядывая на аккуратно скатанные вокруг подпор палатки генерала, складные стулья, походный столовый набор, саблю, трость, умывальник, полевой компас и в нескольких футах от всего этого, в отдельной витрине «Декларацию о Независимости». Другие раненые лежали перед мотками трансатлантического кабеля, хитроумными игрушками, крысоловками, бритвой капитана Кука.

За один день Уолт не мог посетить все места, хотя поначалу пытался. Со временем, выбрав несколько из них, он ходил уже только туда. Но более всего времени он проводил в «Юнион-сквер», где лежал Ханк Смит.

«У меня был папин пистолет», — сказал Ханк. «Вот почему я все еще со своей ногой». О том, как он спас свою собственную ногу от «мясников» в полевом госпитале, Ханк рассказывал Уолту не в первый раз. Но Уолт не имел ничего против выслушать эту историю опять. Пришла весна. Нога все еще была плоха, хотя не так плоха, как раньше. По крайней мере, такое впечатление создавал сам Ханк. Он никогда не жаловался на свою ногу. Ханк переболел еще и сыпным тифом, полученным уже в госпитале. «Я хочу обратно мой пистолет».

* «Дейли игл» — бруклинская демократическая газета, под редакцией У. Уитмена (здесь и далее примеч. переводчика).

«Посмотрим, что я могу сделать». Уолт постоянно говорил это, но оба знали, что никто не отдаст Ханку пистолета, которым он грозился выбить мозги хирургу, пытавшемуся отнять его ногу. Его оставили тогда в покое, и позже другой доктор сказал, что в ампутации не было никакой необходимости. Они будут наблюдать за его раной. «Пока съешь апельсин». Уитмен вытащил апельсин из кармана своего пальто и начал очищать его. Головы лежавших солдат стали поворачиваться на распространяющийся по палате запах. Некоторые спрашивали, есть ли у него апельсины и для них. «А то нет», — сказал Ханк. Действительно, карманы Уолта были набиты апельсинами. Он купил их туманным, сырым утром на Сентр-маркет и затем, перейдя на другую сторону грязного канала и пройдя через загаженный Молл*, по которому со стороны неоконченного монумента навстречу ему двигались мычащие коровы, направился в госпиталь. Ему хотелось съесть один апельсин, но он не позволил себе, боясь, что может не хватить на всех в палате. Деньги на апельсины, сладости, книги, табак поступали от бруклинских, Нью-йоркских и разных других благотворительных обществ. И Уитмен имел немного своих, получаемых за работу — три часа в день переписки бумаг в Казначействе. Из окна, у которого стоял письменный стол, за которым он работал, открывался великолепный вид на реку и торчащие из реки три камня, про которые говорили, что они отмечают место гибели трех индейских сестер, проклявших это место, и кто бы ни пытался переплыть тут реку, неминуемо должен был утонуть. Сидя за столом и уставившись на эти камни, Уолт воображал себя скинувшим на берегу рубашку и туфли, пытающимся переплыть здесь реку. Ему начинало казаться, что он тонет, и он ощущал давящую на него огромную тяжесть воды. Его грезы неизбежно прерывались глухими звуками «бамп-бамп» одноногих солдат на костылях, поднимающихся по лестнице в кассу, тупоумно расположенную на верхнем этаже.

* Центральный парк в Вашингтоне перед Капитолием.

«Юнион-сквер» госпиталь был под начальством пьяницы, но незаурядной личности, главного врача, по имени Каннинг Вудхалл. Со стаканом виски в руках Вудхалл излагал свою радикальную линию поведения, включавшую мытье рук и инструментов, вышвыривание использованных губок, протирку едко пахнущим раствором Лабаррака всего, что попадалось на глаза, и абсолютное неверие в существование доброкачественного гноя.

«Доброкачественного гноя не бывает», — сказал он, — «белый или зеленый, гной есть гной, тот или другой плох ребятам. В ранах живут твари — носители зла. Они эмиссары Ада, посланные на землю увеличивать наше страдание, увеличивать количество смертей, увеличивать горе. Их нельзя увидеть, можно видеть только их действие». Чокнувшись стаканами, Вудхалл с Уитменом выпили, и Уолт скривился — виски был медицинский, с привкусом хинина, что для Вудхалла, по всей видимости, не имело значения.

«Эта информация у меня от жены, обладающей огромным тайным знанием», — сказал Вудхалл. «Она разговаривает с духами. Большинство из того, что она слышит, конечно, мусор. Но это-то как раз правда». Наверное, так оно и было. Его госпиталь получал наиболее тяжело раненных, но у него оставалось в живых больше, чем в любом другом госпитале в городе, включая и те госпитали, которые получали случаи вдвое легче. Вудхалл держался в начальниках несмотря на репутацию распутника, пьяницы и отчасти безумца. Однажды, благодаря стараниям коллег, его сместили, но он был немедленно восстановлен Начальником Медицинской службы доктором Леттерманом, неоднократно выразившим одобрение главному врачу. «Генерал Грант тоже пьяница», — отмахивался Леттерман от недругов доктора Вудхалла.

«Они боятся молитвы, бромина, виски и Лабаррака. К счастью для нас». Вудхалл опрокинул другой стакан. «Ты знаешь, некоторые медсестры жалуются. Во вторник я был в палате «5» с этой страшилой миссис Холи.

Мы увидели, как тыходишь в дверь в другом конце палаты, и она сказала: «Вот идет этот ненавистный мне Уолт Уитмен сеять зло и неверие в моих мальчиках. Я предпочла бы увидеть в своей палате самого дьявола, с рогами и копытами. Я его выгоню!» И она побежала исполнить свое намеренье. Ей не удалось, конечно». Он налил еще.

«Может, мне перестать приходить?» «Господи, нет, конечно. Пока лошадиная морда-холи жалуется, я знаю, что ты делаешь добро. Бог не допустит, чтобы эта высохшая старая карга тебя выгнала».

Двое хирургов вошли в отгороженный тремя полковыми знаменами временно оборудованный кабинет главного врача Вудхалла в углу палаты.

«Младший хирург Уокер намерена убить капитана Картера», — сказал доктор Блисс, уроженец Балтимора, человек с мрачными черными глазами. «Она дала ему от поноса опий и, по-моему очень глупо, не дала ни рвотного корня, ни каломели». Доктор Мэри Уокер спокойно стояла рядом с ним, сложив руки на груди. Она была в том же звании, что и брат Уитмена Джордж. Их формы имели одинаковые золотые полоски и тот же самый золотой галун на фуражках.

«Доктор Уокер делала то, что я просил», — сказал Вудхалл, — «во всех случаях поноса и диареи прекратить давать рвотный корень и каломель».

«Ради бога, почему же?» — воскликнул, краснея, доктор Блисс. Он был новичком в «Юнион-сквер» госпитале. Этим утром Вудхалл обрушился на него за то, что он не промыл у одного из солдат гноящуюся грудную рану.

«Потому что так надо», — сказал главный врач. «Потому что, если так делать, больной не умрет. Потому что, если так делать, не будет еще одного разбитого сердца матери».

Доктор Блисс сделался еще краснее, потом побелел, словно его раж в последний раз вспыхнул и угас. Он бросил мрачный взгляд на доктора Уокер, резко повернулся на каблуках и вышел. Доктор Уокер села.

«Фигляр», — сказала она. Вудхалл налил ей виски.

Всему госпиталю была известна тайна, что Вудхалл и Уокер — любовники.

«Доктор Уокер», — сказал Вудхалл, — «расскажите мистеру Уитмену о своем недавнем аресте». Потягивая виски, она стала рассказывать, как на улице, около дома, где она снимала квартиру, ее арестовали за то, что она была переодета мужчиной. Уитмен слушал ее в пол-уха. Он думал о диарее. Он считал, что это почти самое худшее. Он видел, что диарея унесла на тот свет больше солдат, чем все пули, и шрапнель, и сыпняк, и воспаление легких, — больше, чем все другие несчастья вместе взятые. Он писал матери: «Я думаю, что мы должны любыми средствами остановить эту войну. Просто остановить. Война — это на девятьсот девяносто девять частей — диарея, и на одну часть — слава. Тех, кто одобряет войны, надо заставить самих в них участвовать».

«Я сопротивлялась, как могла», — говорила доктор Мэри Уокер. «Я кричала: «Брюки носить мне даровал право Конгресс!» Но это не возымело действия». Она умолкла на мгновение, и затем все трое разразились смехом.

Летом почти каждый день Уолт видел Президента, благодаря тому, что жил на дороге, по которой Президент ежедневно проезжал в свою летнюю резиденцию, находившуюся к северу от города. Утром, идя по улице, обычно еще не успев далеко отойти от дома, он слышал приближение кавалькады. Он всегда останавливался, дожидаясь, пока не проедет Президент. Мистер Линкольн, одетый в черное, ехал верхом на серой лошади в окружении двадцати пяти — тридцати всадников с саблями наголо. Уолт и Президент обменивались поклонами, Уолт, дотрагиваясь до своей широкой, с отвислыми полями фетровой шляпы, Линкольн, дотрагиваясь до своей — высокой, твердой, черной, и немного наклоняясь в седле. И каждый раз в момент, когда они раскланивались, одна и та же мысль возникала в голове Уолта Уитмена: «Печальный человек».

С наступлением жаркой погоды главврач Вудхалл удвоил усилия по уничтожению зловонных миазмов. Все окна открывались настежь, и в маленьких бронзовых курильницах, поставленных по четырем углам в каждой палате, сжигались эвкалиптовые листья. Эвкалипт вместе с постоянно присутствующим запахом раствора Лабаррака вызывал у некоторых раненых головную боль. Доктор Вудхалл прописывал виски.

«Я хочу птицу», — сказал однажды в конце июля Ханк Смит. Погода была жаркая и сухая. Ханк уже неделю боролся с высокой температурой. Уолт помог ему снять мокрую рубашку, затем протер его смоченным в прохладной воде полотенцем. Мокрую рубашку Уолт отнес к окну, выжал из нее пот, наблюдая, как капли пота, падая, оставляют черные следы на земле. Он положил рубашку сохнуть на подоконнике и посмотрел на свои мокрые в соли руки. Вдалеке ему виден был купол Капитолия, великолепно сияющий в послеполуденном солнце.

«Я хочу птицу», — опять сказал Ханк. «Когда я был маленьким, моя сестра подарила мне птицу. Я назвал ее, как зовут мою сестру, Оливия. Ты можешь мне достать?» Уолт отошел от окна и сел на стул у кровати. Солнце, осветившее волосы на груди Ханка, навело Уитмена на мысль о золотящемся пшеничном поле.

«Я достану тебе птицу», — сказал он. «Не знаю, где, но я достану».

«Я знаю, где», — сказал Ханк, пока Уитмен помогал ему надеть чистую рубашку. Кивком головы Ханк показал на окно. «Там во дворе полно птиц. Ты только принеси камень и веревку. И потом мы поймем птичку».

На следующий день Уолт принес с собой камень и бечевку, и они усыпали подоконник хлебными крошками. Скорчившись под окном, Уитмен пытался схватить какую-нибудь птицу, севшую на подоконник. Он упустил двух соек и одного дрозда, но поймал за ногу прекрасного кардинала. Кардинал неистово чирикал и клевал его руку; трепыхание крыльев птицы об его запястье

напоминало ему странную дрожь, все еще сотрясавшую его душу, когда он находился в палатах. Он дал птицу Ханку, Ханк привязал к ноге птицы бечевку и к бечевке — камень и затем положил камень на пол около кровати. Кардинал пытался подлететь к окну, но на полпути останавливался в воздухе; отчаянное биение его крыльев создавало маленький ветер, и стоявший на коленях Уолт чувствовал его на своем лице. Ханк хлопал в ладоши и смеялся.

Они назвали птицу Оливия. Она сделалась любимицей палаты. Другие раненые просили, чтобы ее подносили и к их кроватям. У нее не заняло много времени одомашниться. Скоро она ела из руки Ханка и ночью спала под его койкой. Ее держали в секрете от медсестер и докторов, пока в одно утро Ханк не проявил беззаботность. Он уснул, оставив ее гулять без присмотра во время обхода палат Вудхаллом. Уитмен с полными пакетами конфет, фруктов и книг как раз вошел в палату.

«Кто принес эту грязную птицу в мой госпиталь?» — закричал Вудхалл. Мгновенно склонившись, он схватил камень и вышвырнул его в окно. Оливия беспомощно последовала за камнем. Бросив пакеты, Уолт побежал на улицу, и там на земле нашел бьющуюся птицу, с поломанным крылом. Он положил ее за пазуху и отнес к себе домой, но через три дня с ней расправилась хозяйская кошка. Уолт сказал Ханку, что птица улетела. «Ничего не дают иметь человеку», — сказал Ханк. Он негодовал по этому поводу еще неделю.

К Рождеству медсестра миссис Холи и ее подручные украшали палаты; на простенках были повешены вечнозеленые венки, через все палаты протянулись гирлянды. В ногах каждой кровати висело по маленькому чулку, связанных вашингтонскими дамами высшего общества. Уолт ходил от одного чулка к другому, наполняя их грецкими орехами, лимонами и лакрицей. Нога Ханка делалась то лучше, то хуже, то лучше, то хуже. Уолт нагнал в коридоре доктора Вудхалла и сказал, что

его беспокоит состояние Ханка. Вудхалл заверил его, что Ханк поправится, что волнение Уолта безосновательно.

Температура Ханка тоже то поднималась, то падала. Однажды Уитмен вошел в палату с бушевавшей метели, его борода была вся в снегу — Ханк настоял на том, чтобы прижать свое лицо к бороде Уолта, уверяя потом, что это облегчило его жар больше любого лекарства, за исключением, может быть, только камфорной настойки опия, по его словам, очень приятной на вкус и дававшей ощущение, будто летаешь в кровати.

Уолт читал ему из Евангелия, о том, как не нашлось им места в гостинице*.

«Ты верующий?» — спросил его Ханк.

«В том смысле, в каком ты думаешь, мой дорогой, вероятно, нет». Хотя он сказал Ханку, что, бывая здесь, заходит в часовню. Госпитальная часовня, маленькое здание с причудливой лукообразной главкой, стояла во дворе госпиталя. Обычно Уолт садился сзади и слушал службу по умершим солдатам, которых навещал все это время почти каждый день. Он записывал их имена в хранившемся у него в кармане маленьком кожаном блокноте. К Рождеству у него были исписаны многие страницы именами умерших. Иногда, сидя в своей комнате ночью, при свете единственной свечи он тихо читал вслух их имена.

Вошла доктор Уокер и попросила взаймы у него Библию. Она сказала, что у нее новости из Военного ведомства.

«Какие новости?» — спросил он.

«Ничего хорошего», — сказала она. «Мрак, везде мрак». Она хотела почитать из «Книги Иова», ободрить себя.

Ночами, когда он не мог уснуть, что бывало часто, он отправлялся бродить по городу. Он шел мимо безмолвных особняков на Лафайет-сквере, проходя мимо дома Президента, останавливался, стараясь угадать, означают ли свет в одном из окон, что мистер Линкольн не спит,

* Евангелие от Луки, 2:7.

предаваясь отчаянию. Однажды он увидел в доме Президента женскую фигуру в длинном черном траурном покрывале, проходящую мимо ряда окон с лампой в руке, и он представил себе, что это миссис Линкольн, обезумев от горя, ищет своего маленького мальчика, умершего в позапрошлую зиму. Он шел мимо пустых рыночных прилавков, расположенных вдоль вонючего канала. Он останавливался, глядел в грязную воду, следя за плывущими мимо разнообразнейшими предметами: сапоги и береты, огрызки, мертвые животные. Однажды он увидел дохлую кошку, проплывшую на небольшом куске льдины.

Гуляя ночами по городу, он забредал в Мердер-Бей, где его озирали проститутки, но чаще всего ему никто не досаждал. Издали он не выглядел приманкой, будучи большим и внушительным, но вблизи у него был настолько невинный, располагающий вид, что на него не поднялась бы рука даже у самого бессердечного преступника. Он заглядывал в аллеи, где обитали целыми семьями беглые рабы с Юга. Иногда из какой-нибудь холодной лачуги выбегал грязный ребенок и обращался к нему на непонятном наречии. На такие случаи он держал в карманах конфеты для этих детей. Возвращаясь домой, он обычно шел вдоль канала, потом переходил по мосту, иногда при свете луны, освещавшей башни Смитсоновского замка и белые крыши «Юнион-сквер» госпиталя. Он бродил среди кустов и деревьев Молла, временами теряя дорогу среди заросших тропинок, и потом снова пересекал канал и шел к Капитолию. Там стояла вызвавшая всеобщие насмешки огромная статуя генерала Вашингтона, одетого в тогу. Говорили, что Вашингтон поднял меч, угрожая принести вред стране, если ему не вернут его одежду.

Уитмену нравилась статуя. Он взбирался к Вашингтону на колени и растягивался, как в «Пьете», или обнимал его обеими руками за толстую мраморную шею и давал волю слезам. На рассвете Уолт останавливался у Капитолия и чертил ногой на снегу свое имя. До него доносился запах хлеба, пекущегося в подвале. В пекарне у

него был друг, нагружавший его огромным количеством горячих булок. Уолт отправлялся назад, на Юнион-сквер, согретый спрятанным под пальто горячим хлебом. Иногда у него хватало на всех в палате, кому не была предписана диета, и тогда, проснувшись, они находили у себя на груди все еще теплую булку.

«Они хотят отнять у меня ногу», — сказал ему Ханк. Было начало мая и все еще холодно. «Я не собираюсь им позволить. Ты должен раздобыть мне карабин».

«Перестань», — сказал Уолт. «Они не отнимут твою ногу». Хотя на самом деле было похоже на то, что им придется. Как раз, когда казалось, что Ханк уже вот-вот поправится, как раз, когда он выздоровел от тифа, нога опять воспалилась и начала быстро ухудшаться. Доктор Вудхалл почистил рану, произнес над ней молитву, протер обмоченным в виски тампоном, но ничего не помогло. Ужасная, вонючая инфекция пустила корни и стала расти.

Уолт пошел обсудить положение Ханка с доктором Вудхаллом. В кабинете Вудхалла никого не было. Над всеми палатами пеленой висело мрачное молчание. Новости об ужасных потерях, понесенных армией генерала Гранта, достигли госпиталя. Доктор Блисс и медсестра миссис Холи громко обсуждали события, пока она перебинтовывала раненого. «Пьянице наплевать на жизни наших парней», — сказал доктор Блисс. «Эта война задумана алкоголиками, шарлатанами и дураками». Он с неприязнью посмотрел на Уолта. Уолт спросил, не видел ли кто из них доктора Вудхалла. Ни тот, ни другая не ответили, тогда молодой солдат, которому делали перевязку, сказал ему, что Вудхалл пошел в морг.

Уолт нашел его там, стоявшим среди мертвых тел. Покойников в морге было немного, только те, что умерли за последние несколько дней. Вудхалл плакал над кем-то покрытым простыней. Позади Вудхалла стояла доктор Уокер, положив руку ему на плечо.

«Каннинг», — сказала она Вудхаллу. — «Вам надо идти. К нам везут раненых из Спотсильвании».

«Ох, дорогая», — проговорил Вудхалл. «Я этого не могу больше вынести». Он согнулся над покрытым телом, капая слезами на лицо покойника. Под промокшей материей Уитмен различил лицо умершего, с тонкой полоской усов и родинкой на щеке. «Столько пролитой крови! Для чего-то ведь она пролита. За великое дело. Разве не должно выйти из всего этого что-то великое?»

Доктор Уокер заметила стоявшего у двери Уолта. «Не поможете ли мне, мистер Уитмен?» — сказала она. Он обхватил обеими руками доктора Вудхалла и, поддерживая его, отвел от мертвого тела, и затем вывел из морга. Они положили Вудхалла в полупустой палате на свободную койку.

«Ох, дорогая», — сказал Вудхалл. «Я не хочу даже думать об этом». Он повернулся к стене и забылся сном. От него стал подниматься запах мочи.

Доктор Уокер вынула из своего кармана часы, взглянула на них. «Мы получили депешу», — сказала она. «Из полевых госпиталей везут тысячу раненых». Затем она низко склонилась к сопящему Вудхаллу и сказала: «Через пять часов вам надо быть на ногах, сэр».

«Я останусь и буду делать все, что могу», — сказал Уитмен.

«Рада это слышать». Она поправила фуражку на голове и громко вздохнула. «Убит генерал Стюарт»*, — сказала она. «Вы знали об этом? Застрелен простым солдатом-пехотинцем. Мне снилось однажды, что он приехал ко мне верхом, с броскими перьями на шляпе. «Поехали со мной, Мэри», — сказал он, — «уедем от всего этого». «Провались ты со своей рыжей бородой, генерал Сатана», — сказала я, — «прочь с моих глаз». «Как по-вашему, правильно я сделала? Поехали бы вы с ним?»

Уолт задумался. Он вообразил себя и генерала Стюарта, скачущими на запад, туда, где их не могла бы коснуться война.

Он чувствовал в носу щекотание от перьев на шляпе генерал Стюарта, мчась с ним на другой конец контин-

нента. И он представил себе, как они едут, скинув рубашки, по солнечной Калифорнии и тянутся руками к гроздьям налитого винограда.

«Мне надо выбраться отсюда», — сказал Ханк. Прошло несколько дней, и «Юнион-сквер» госпиталь был переполнен новыми ранеными. Ампутация ноги Ханка была назначена на конец недели. Груда ампутированных конечностей в морге достигала головы Уолта.

«Успокойся», — сказал Уитмен. «Перестань волноваться». «Я не дамся. Ты должен помочь мне выбраться отсюда. Я не поправлюсь, если у меня отнимут ногу. Я знаю, что не поправлюсь». У него был жар, и от этого он был немного в бреду.

«Доктор Мэри Уокер, говорят, самый умелый хирург в армии. Ты будешь спать. Ты ничего не почувствуешь».

«Ха!» — сказал Ханк. Он посмотрел на Уолта долгим, безумным взглядом. «Ха!» — и, зарыв лицо в подушку, он больше не разговаривал. Уолт ходил по палатам, знакомясь с новыми ранеными. Он зашел в часовню. В морге росла гора конечностей, многим из них предстояло вскорости соединиться здесь со своими бывшими владельцами.

В эту же ночь, не в состоянии спать, совершая свое обычное турне по городу, он надолго остановился перед «Юнион-сквер» госпиталем. Он сам не заметил, как оказался сначала под окном Ханка и затем у его постели. Ханк спал, раскинув руки над головой, с сорванной с себя простыней и сбившейся выше живота рубашкой. Уитмен протянул руку и тронул его за плечо.

«Ну, — сказал Уолт, — идем!» Побег был не труден. Самым тяжелым было натянуть на Ханка штаны. От боли Ханк не мог согнуть колено, и он весь горел и плохо соображал. На своем пути из госпиталя они не встретили никого; ночные дежурные находились в другой палате. Уолт украл для Ханка костыль. На Моллу Ханк упал, и костыль под ним сломался. Зарыв лицо в траве, Ханк тихо плакал. Уолт поднял его и на спине потащил к каналу, потом через мост и потом в Мердер-Бей. Ханк

* Генерал армии конфедератов (1833-1864).

просил положить его на землю. Они отдыхали на мусорной куче, кишевшей маленькими ползающими существами, не определимыми в темноте.

«Мне кажется, я хочу поспать», — сказал Ханк. «Я так устал».

«Идем, мой дорогой», — сказал Уолт. «Я позабочусь о тебе».

«Я бы хотел домой». Он положил голову на плечо Уитмена. «Повези меня в Холлоу Вейл. Я хочу увидеть сестру». Он стал медленно погружаться в сон, продолжая бормотать что-то. Они посидели там еще немного. Мимо прошли какие-то люди, но не обратили на них внимания. «Если бы эта помойная куча была лошадь», — подумал Уитмен, — «мы могли бы поехать на ней в Калифорнию». «К черту генерала Стюарта», — сказал он вслух самому себе, беря мокрую руку Ханка в свою. «В Калифорнии нет болезней. И там нет смерти. Каждый ребенок, когда ему исполняется пять лет, на свой день рождения получает в подарок пони». Уолт взглянул на искаженное лицо Ханка, жутко блестящее в лунном свете, и сказал: «В Калифорнии, если зарыть мертвого мальчика под дубом, на другой день из земли появится живая рука. И если схватить эту руку и потащить ее изо всех сил, со всей душой верного друга, из земли выйдет живой мальчик. Там, в Калифорнии, смерть никогда не разделяет верных друзей». Он посмотрел долгим взглядом в лицо Ханка. Глаза Ханка дико метались под опущенными веками. Уолт сказал: «Ну, если мы хотим попасть туда поскорее, нам лучше двинуться без промедления». И взвалив его на спину, он принес его назад в госпиталь.

«Ты вымоешь бороду, перед тем как войдешь в мою операционную», — сказал главврач Вудхалл. От Уолта несло помойкой. Он пошел к раковине, и доктор Уокер помогла ему промыть бороду креозотом, марганцовкой и раствором Лабаррака. Уолт держал намоченную хлороформом губку под носом у Ханка, хотя тот не просыпался с тех пор, как уснул на мусорной куче. Другую руку Уолт

все время держал у Ханка на голове, но сам не хотел смотреть, как доктор Уокер врезала нож в тело, а главврач Вудхалл сжимает артерии. Уолт смотрел вниз и видел кровь, текущую по полу в насыпи опилок. Поглядывая вверх, он старался удержать взор на висевшей на противоположной стене литографии. Она была вырвана из какой-то книги по античности — изображение полулежащего больного и врачующих его жрецов Асклепия, чья статуя возвышалась тут же в храме. Асклепий держал в руках извивающегося змея, и у его ног сидела высеченная из камня дружелюбного вида собака. Большая надпись под картинкой гласила: «Тысячу лет, во всякую ночь больные находят убежище и сон в храме Асклепия». Услышав звук пилы по кости Ханка, Уолт закрыл глаза.

Ханк ненадолго пришел в себя перед смертью. «Они отняли мою ногу», — сказал он. «Ты позволил им взять ее».

«Нет», — сказал Уолт. «Она здесь, у меня». И правда, нога была здесь. Завернутая в две чистые простыни, она лежала у него на коленях. Этот сверток мог бы быть чем угодно. Уолт не дал им взять ее в морг. Он переложил ее на кровать. Ханк крепко прижал ее к груди.

«Я не хочу умирать», — сказал он.

Уитмен сидел на станции на своем вещевом мешке, дожидаясь поезда, который повезет его обратно в Бруклин. Поезд пришел и ушел; Уолт оставался сидеть на мешке. Потом он встал и пошел обратно в «Юнионсквер» госпиталь. Была ночь. Кровать Ханка все еще была пустой. Он сел на нее и стал впотьмах нащупывать перо с чернильницей и бумагу. Найдя, он начал писать в темноте:

*«Дорогие друзья,
я подумал, что для вас будет облегчением получить несколько строк о последних днях вашего сына, Генри Смита, — я пишу второпях, но не сомневаюсь, что вы хотели бы получить хоть что-нибудь о Ханке.»*

Со времени его прибытия почти не было дня, когда бы я не был с ним хоть какое-то время — если не днем, то ночью — (я просто друг, навещавший раненых и больных солдат). Почти сразу же я как-то почувствовал, что Ханк в опасности, или, по меньшей мере, гораздо в худшем состоянии, чем полагали в госпитале. Поскольку он не жаловался, его считали не таким плохим. Я говорил палатному врачу снова и снова, что Ханк очень болен, но он относился к этому легко и говорил, что Ханк наверняка поправится; он сказал: «Я знаю больше тебя о случаях с высокой температурой — тебе кажется, что он опасно болен, но я его вылечу», — очень может быть, что доктор сделал все возможное — во всяком случае, за неделю, перед тем как Ханк умер, доктор по-настоящему встревожился, и после этого и все другие доктора пытались помочь, но было уже слишком поздно. Вполне вероятно, что в любом случае разницы бы не было.

Обычно я сидел у его кровати, большей частью молча, он был в жару, ему тяжело было дышать, и я обмахивал его веером — время от времени он хотел пить — в некоторые дни он почти все время дремал — иногда, когда я входил, он просыпался, и я наклонялся поцеловать его. Когда я садился к нему на кровать, он протягивал руку и гладил меня по голове и бороде, — больно было видеть, с каким трудом он дышал.

Иногда я просиживал у его койки до глубокой ночи, свет везде был погашен, и я молча сидел там час за часом, — он, казалось, был рад, что я сидел с ним — я никогда не забуду те ночи в темном госпитале, это была необыкновенная, возвышающая душу сцена — вокруг меня больные и раненые, и рядом со мной этот прекрасный юноша, как оказалось, на своем смертном одре. Я не знал его прошлой жизни, но то, что я видел и знаю — он вел себя как благородный человек. Прощай, дорогой мальчик, мне дана была возможность находиться с тобой в твои последние дни. У меня не было шанса сделать для тебя многое; ничего нельзя было сделать — единственно, что ты не лежал там один среди чужих, и рядом с тобой был тот, кто горячо полюбил тебя и кого ты мог поцеловать на прощанье.

Мистер и миссис Смит, я писал быстро, все, что приходило на ум о Ханке, и должен сейчас кончать. Хотя мы не знакомы и, по всей вероятности, никогда не увидим друг друга, я шлю вам и всем братьям и сестрам Ханка мою любовь. Я живу, когда дома, в Бруклине, Нью-Йорк, на Портланд-авеню, на четвертом этаже, северный угол от Миртл».

Он сложил письмо и положил в карман рубашки, затем лег на бок на кровать. Через какое-то время вошла со свежими простынями медсестра. Она хотела было отругать его и велеть покинуть палату, но взглянув ему в лицо, повернулась и поспешила уйти. Слушая стоны лежавших вокруг раненых и больных, он смотрел на взошедшую в окне луну. Глядя на нее, сияющую на куполе Капитолия, он думал, что война никогда не кончится. Он сказал себе: «Утром я встану и уеду отсюда». И затем подумал: «Я никогда не уеду отсюда». Он уснул ненадолго, и ему приснилось, что он протянул руку и шарит во тьме могилы Ханка Смита, страхась и надеясь быть схваченным за свою ищущую руку. Он проснулся под все еще светящей в лицо лунной. В глубине палаты всхлипнул какой-то солдат.



СТАЛИН И СЕГОДНЯ ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ...

Только, ради Бога, не смейтесь, дорогой читатель. Все это очень серьезно. Да и художник Вагрич Бахчанян, предлагающий нам свой вернисаж о Сталине, человек тоже очень серьезный. И к тому же творческий, на дух не переваривает штампы. Поэтому к теме Сталина, которой он посвятил едва ли не полжизни, относится как к очень важному исследованию, помогающему понять все величие нашей эпохи. Предмет его интереса можно было бы сформулировать и так: «Сталин и его окрестности» — и, повторяю, без единого штампа. Например, темы «Сталин и борьба за мир во всем мире» или «Сталин — наша юность и полет» или «Сталин — организатор всех наших побед» — с точки зрения Вагрича Бахчаняна — просто пошлость, которой не должно быть места в нашей действительности.

По Сталину, как считает художник, мы тестируем жизнь, Сталиным мы проверяем все — от самого выдающегося до самого обыденного, от Уинстона Черчилля до Мэрилин Монро и Марселя Дюшана. Да что там Черчилль или Дюшан! Просто милые дети и столь же милые, хоть и сексуально озабоченные девушки, и те расцветают под лучами сталинского солнца и, расцветая, проверяют, в том ли сексуальном направлении

действуют, не предадут ли великое дело, как его некогда бессовестно предал проститутка-Троцкий.

Но не будем углубляться в политику — это нас слишком далеко занесет, вспомнится, например, небезызвестная Ева Браун, которая по определенным причинам не тестировала себя с помощью Сталина — на этот случай у нее был припасен другой рыцарь. Зато, если применительно к теме «Секс и политика» возьмем прекрасную и чистую, как слеза ребенка, девственницу Надежду Константиновну Крупскую, то ее появление было бы очень кстати. Она тоже ведь из тех же окрестностей.

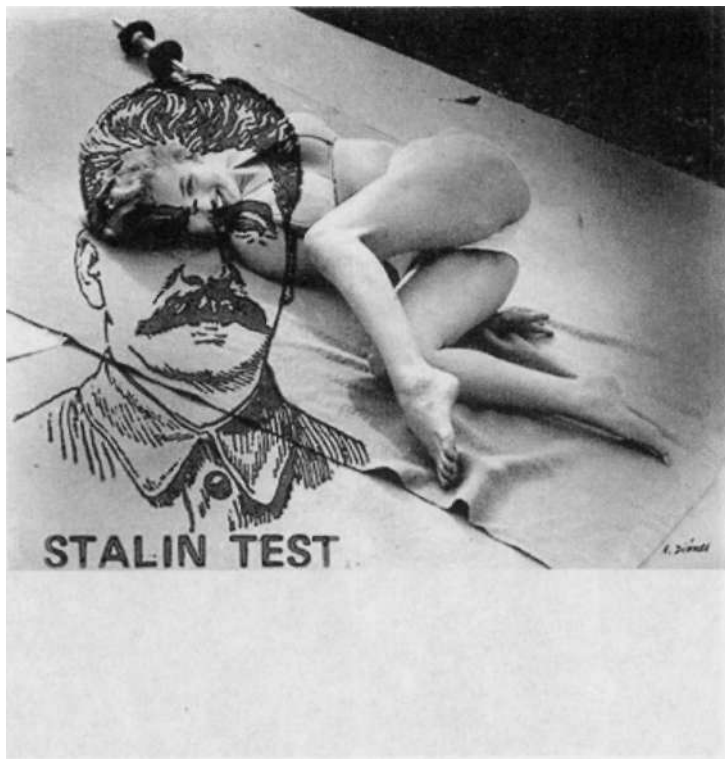
Правда, у Надежды Константиновны иногда портились отношения с великим вождем. Но уж это вовсе не имеет никакого значения в предлагаемом процессе тестирования (будто Черчилль был первым корешем Сталина!). Хоть не первый друг, а эпоха та же, все в нашем мире взаимосвязано, если воспользоваться гениальной сталинской диалектикой. Какой отсюда напрашивается вывод? Да ровным счетом никакого! Просто надо думать больше, когда живете, а не просто хлопать глазами на тему где что выбросили (родная Россия) и почему нынче на бирже доллар и евро (родной Запад).

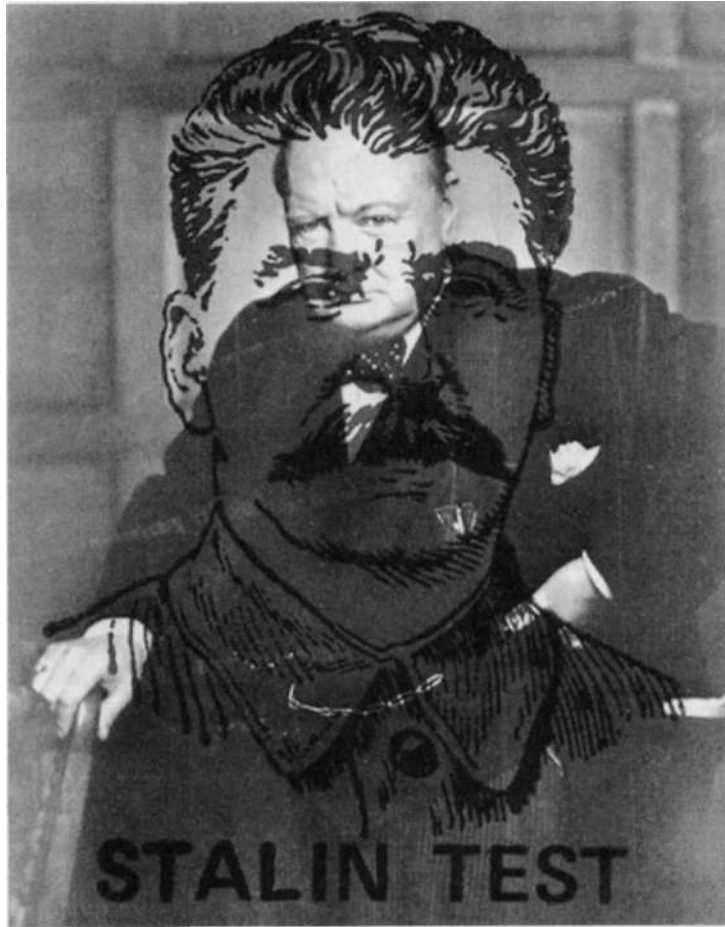
Так вот, согласимся же, что весь наш прекрасный, прекрасный мир — весь он вроде как окрестности Сталина и, не проверяя на нем свое неповторимое величие, он кажется просто не сможет существовать. Иными словами, Сталин и сегодня живее всех живых. Как не крути, а вот так-то получается, уважаемый читатель.

В. ПЕТРОВСКИЙ









КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Зиновий ЗИНИК. Родился в Москве. С 1976 года постоянно живет в Лондоне. Как критик и эссеист сотрудничает с радиостанцией Би-би-си и лондонским журналом «The Times Literary Supplements». Его проза, переведенная на ряд европейских языков, регулярно публикуется журналами «Время и мы», «Синтаксис» и другими периодическими изданиями. Один из его пяти романов «Русофобка и фунгофил» экранизирован в 1993 году телевидением Би-би-си. Сборник его новелл «Русская служба и другие истории» и недавний роман «Лорд и егерь» опубликованы в Москве издательством «Слово».

Василий АГАФОНОВ. Родился в Москве в 1942 году. Получил биологическое и математическое образование в Московском университете. Писатель и журналист. Опубликовал несколько романов и книгу рассказов. Печатался в журналах «Континент», «Стрелец» и других периодических изданиях эмиграции.

Товий ХАРХУР. Родился в городе Мытищи, в 1972 году. В 1989 году закончил среднюю школу и поступил в Московский институт химических материалов, где проучился до 1992 года. В настоящее время живет в Голландии, в городе Наймеген, где заканчивает начатое десять лет назад образование. С 1994 года изучает психолингвистику в Наймегенском университете, а с 1997 года начал изучение филологии в Амстердамском университете.

Ной РУДОЙ, 1921 года рождения, инвалид Второй мировой войны, автор 4 поэтических книг, «Современник» (Утоление боли, 1981), «Советский писатель» (Возраст, 1985), «Военное издательство» (РУБЕЖ, 1986), «Прометей» (Короли, короли, 1990). Его стихи неоднократно публиковались в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Юность», и переводились на иностранные языки.

Ной Рудой — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, автор около 300 научных работ, в том числе 5 монографий. В настоящее время живет в США.

Владимир ШЛЯПЕНТОХ. Один из основателей советской социологии в 60-е годы в России. Стал известным в стране

своими национальными опросами общественного мнения в 60—70-е годы. В эти годы он опубликовал около 10 книг и множество статей, в частности, в «Литературной газете». В 1972 году эмигрировал в США, где стал одним из ведущих экспертов по России. В частности, на протяжении многих лет он консультирует американское правительство по проблемам России. Работая по вопросам социологии в Мичиганском государственном университете, он опубликовал за время деятельности в Америке 12 книг и десятки статей. Его статьи печатались в «New York Times», «Washington Post» и других ведущих американских газетах.

Валентин ЛЮБАРСКИЙ. Родился в 1939 году в Ленинграде. В 1963 году окончил Первый ленинградский медицинский институт. Служил корабельным врачом на Северном и Балтийском флоте, закончил службу на Тихом океане. С 1970 по 1979 годы работал врачом в Ленинграде, в 1979 году эмигрировал, в настоящее время живет в Нью-Йорке, работает врачом. В 1986 году опубликовал книги «Из Америки с познанием и сомнением», «Без иллюзий, но с надеждой», систематически выступает в американской периодике. Один из ведущих авторов журнала «Время и мы».

Юрий ДРУЖНИКОВ. Писатель и журналист, член редколлегии журнала «Время и мы». Родился в 1933 году в Москве, окончил историко-филологический факультет Педагогического института. Работал зав. отделом науки газеты «Московский комсомолец», в СССР был членом Союза писателей СССР, автор нескольких книг прозы и двух педагогических монографий. Эмигрировал в США в 1988 году. На Западе вышли книги Юрия Дружникова — «Вознесение Павлика Морозова», «Ангелы на кончике иглы», «Микророманы», «Пушкин». В настоящее время профессор русской литературы Калифорнийского университета в Дэвисе.

Игорь АЧИЛЬДИЕВ, 1931 года рождения, публицист и философ; закончил Санкт-Петербургский университет в 1953 году, специальность — юрист. Работал в газетах «Московский комсомолец» и «Литературная газета», в журнале «Наука и религия». Последнее место работы до эмиграции — заместитель главного редактора международной газеты демократического направления «Мегаполис-экспресс» (1990—1995 гг.) Выпустил две книги по философии: «Власть предыстории» (1990 г.), «В рабстве у систем» (1993 г.) Печатался в журналах «Юность», «Знамя» и многих других газетах и журналах России, Израиля, США. В журнале «Время и мы» впервые опубликовался в 1988

году под псевдонимом Илья Лекин, статья «Королевский гамбит Андропова».

Виктор ПЕРЕЛЬМАН. Журналист и писатель, с 1975 года главный редактор журнала «Время и мы». Родился и вырос в Москве. Окончил Московский Юридический институт и одновременно отделение журналистики Московского полиграфического института. Был корреспондентом Московского радио, фельетонистом газеты «Труд», заведующим отделом информации и корреспондентом «Литературной газеты». В 1973 году выехал в Израиль, там основал журнал «Время и мы». В 1980 году переехал в Соединенные Штаты, где и живет в настоящее время. На Западе выступал в газетах «Нью-Йорк Таймс», «Стампа», «Фиера Литтерариа», «Давар», «Русская мысль» и других. Автор книг «Покинутая Россия», удостоенной второй премии Иерусалимского университета, «Театр абсурда» и романа «Грехопадение Цезаря».

Леонид ВЛАДИМИРОВ, по образованию инженер, провел пять с половиной лет в сталинских лагерях. После реабилитации до 1966 года был журналистом в Москве (последние шесть лет заведовал отделом в журнале «Знание — сила»). В июне 1966 года, впервые выехав в страну Запада, попросил политического убежища в Англии. Двенадцать лет работал на радио «Свобода» — в 1977—79 годах главным редактором русского вещания. С 1980 года и по сей день — сотрудник Русской службы Би-би-си в Лондоне и член правления Кестонского института в Оксфорде. Автор книг «Россия без прикрас и умолчания» и «Космический блеф».

Крис АДРИАН. Молодой американский писатель, окончил курсы писательского мастерства в Айове. В настоящее время работает над романом. Рассказ «Тысячу лет, во всякую ночь» был напечатан в 1997 году в журнале «Нью-Йоркер».

Лия ЛЕВИНА-БРОДСКАЯ. Переводчица, родилась в Москве, окончила МГУ. Автор нескольких книг по искусству. В ее переводах повесть Джозефа Митчелла «Секрет Джо Гульда» и Страницы из дневников Сильвии Плат напечатаны в журнале «Время и мы», роман Джэмэйки Кинкейт «Автобиография моей матери» в журнале «Звезда, №7, 1999».

ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» — 1999

Установлены следующие условия подписки:

Стоимость годовой подписки — 63 доллара, с целью экономической поддержки редакции — 69 долларов; для библиотек — 94 доллара.

Цена в розничной продаже — 19 долларов.

Подписка на Западе оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США. Чеки высылаются в корпорацию «Время и мы» по следующему адресу:

409 Highwood Ave, Leonia, New Jersey 07605, USA
Тел.: (201) 592—61—55

Подписной талон

Фамилия.....

Имя.....

Адрес.....

Подписной период.....

Прошу оформить подписку на журнал «Время и мы» нагод. Высылать с номера..... Журнал высы-
лать обычной (авиа) почтой по адресу:

Подпись.....

*Редакция оставляет за собой право давать
в отдельных случаях скидки в размере до 50 %
от стоимости подписки.*

НОВАЯ КНИГА СТИХОВ

Ирины Машинской

ПОСЛЕ ЭПИГРАФА

«...Музыка «после музыки» - после звука и после тишины. Не «лучшие ноты на лучших местах», не «лучшие слова на лучших нотах»—музыка неровного дыхания, на которую и зазвучит отголоску читателя стихов, т.е. по определению не спортсмена и не любителя бега трусцой, а человека тоже с неровным дыханием...»

«...Это как подслушанные трамвайно-вагонные разговоры: без начала, без конца, а ух как интересно!..»

Наталья Горбачевская

Заказы можно направлять по адресу:
«Слово-Word» 139 E. 33 rd Street #9M
New York, NY 10016
tel. (212)684—2356
тел. в Москве 705—38—06
в С.Петербурге 235—47—98
цена \$10

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

ПОКИНУТАЯ РОССИЯ. ЖУРНАЛИСТ В ЗАКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ

Второе издание книги Виктора Перельмана, которая в 1976 году вышла очень маленьким тиражом в Израиле, полностью раскуплена и уже давно исчезла с книжного рынка. Книга выходит в новой редакции, с предисловием Ефима Эткинда и послесловием автора. Автор книги, главный редактор журнала «Время и мы» и в прошлом известный советский журналист, рассказывает о своей жизни в СССР. Бывший корреспондент Московского радио, фельетонист газеты «Труд», спецкор и заведующий отделом информации «Литературной газеты» пишет о нравах советской печати, раскрывает малоизвестную широкому читателю кухню советских газет и руководящего ими партийного аппарата.

Значительная часть книги посвящается жизни советских писателей и «Литературной газеты», которую автор называет «Гайд—парком при социализме». Он рисует образы известных советских писателей и журналистов — Александра Чаковского, Константина Федина, Сергея Михалкова, Леонида Соболева, Федора Абрамова, Алексея Аджубея и многих других. В книге рассказывается о нравах высшего суда партии — Комитета партийного контроля, — через который в годы молодости лично прошел автор книги. Он раскрывает процветавший там антисемитизм, рисует образ одного из тогдашних вождей страны, председателя КПК Н. М. Шверника, показывает обстановку ненависти и лжи, царившую в высшем суде партии.

По существу — это исповедь бывшего советского журналиста, который много лет служил, как он сам пишет, идолам лжи и который прошел долгий путь мучительного раздвоения и внутренней борьбы, прежде чем окончательно порвал с советским режимом.

В книге 320 страниц, цена книги — \$16.

Заказы и чеки направлять по адресу:
Time and We, 409 Highwood Avenue, Leonia, N.J. 07605

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

MAIN OFFICE

117415 Moscow, Udaltzova str., 16/19

(095) 131-6245

На первой и четвертой страницах обложки:
работы Вагрича Бахчаняна

Отпечатано в ППП «Типография «Наука»

121099, Москва, Шубинский пер., 6.

Заказ № 954

